

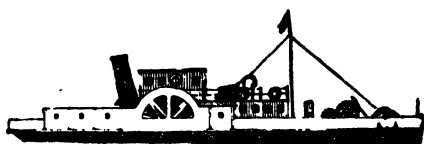
Р. ШТИЛЬМАРК

**ПАССАЖИР
ПОСЛЕДНЕГО
РЕЙСА**



Р. ШТИЛЬМАРК

**ПАССАЖИР
ПОСЛЕДНЕГО
РЕЙСА**



**МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1974**

**Р2
Ш91**



Штильмарк Р. А.

Ш91 Пассажир последнего рейса. Роман. М.,
«Молодая гвардия», 1974.

240 с. с ил. 100 000 экз.

Роман Р. Штильмарка рассказывает о революционных событиях на Волге в 1918 году. Автор выбирает наиболее острый момент — эсеровский мятеж, возглавляемый Борисом Савинковым. Книга построена на историческом материале, имеющем немалое познавательное и воспитательное значение. Быт волжан в предреволюционные и революционные годы, монастырские обычаи и отношения, история эсеровского мятежа на Волге, кровавые акции белогвардейцев, мстящих крестьянам, которые засевают конфискованные у помещиков земли, — во всем этом читатель найдет немало нового для себя и важного для правильного осмысления событий революции.

Р2

Ш $\frac{70803-115}{078(02)-74}$ 155-74

ВСТУПЛЕНИЕ

1

Старый пассажирский пароход «Лассаль», заканчивая навигацию, шел вне расписания из Рыбинска вниз. В Городецком затоне начальство должно было решить судьбу парохода: капитальный ремонт или списание.

Октябрьским вечером в Кинешме «Лассаль» стал под погрузку. Метеопрогноз подгонял — ожидались туманы и заморозки. А груз оказался самый невыгодный, легкий и громоздкий: корзины с пивом, хлопок в кипах, тюки ваты, ящики с парфюмерией и галантереей. Грузили всей командой, вплоть до судовых стажеров из речного техникума. Даже помощники капитана — «пом», «пом-пом» и «пом-пом-пом», как их прозвали стажеры, — скинули шинели, надели телогрейки и «козы» — ременные наплечники с упором на уровне поясницы, и, вместе со всей командой — давай вверх-вниз по трапам, то с ящиком, то с кипой на спине. Ночная погрузка, начатая вяло, пошла вдруг с таким веселым и злым азартом, что и пассажиры, мерзнувшие на пристани в ожидании посадки, не смогли остаться сторонними зрителями и тоже взялись помогать.

Руководил погрузкой капитан «Лассаля», рослый волгарь с поседелой бородой. Он держал в руке пачку документов на грузы и неторопливо ходил от трюма к трюму. И каждому грузчику хотелось быстрее и молодцеватее пробежать с поклажей мимо капитана.

Больше всех старался долговязый, болезненного вида гражданин в мятой шляпе и дешевом заграничном пальто. На первый взгляд от него было трудно ждать сноровки грузчика, но, видимо, бегать с ношей по трапам приходилось ему не впервой.

После полуночи капитан приказал радисту транслировать спортивные марши. Под эту задорную музыку темп работы еще ускорился. Всей артелью погрузку закончили к утру.

Даже пустую верхнюю палубу сплошь оставили ящиками, корзинами и тюками — прогуливаться здесь

сейчас было некому. Из паровой трубы повалил черный угольный дым, капитан взшел на мостик, дал в машинное команду «Готовсь!» и потянул рукоять гудка. Из медного остывшего зева сначала долго рвалась шипящая струя пара и брызг, потом протяжный рев отдался эхом от высокого берега: «Лассаль» извещал пристань Кинешму, что закончил погрузку, произвел посадку пассажиров и готовится отвалить, по всей вероятности, навсегда!

2

Кинешемская касса продала на «Лассалья» всего одно-единственное верхнее классное место. Купил его тот самый долговязый гражданин в заграничном пальто, что так усердствовал на погрузке. С чемоданчиком в руке пассажир остановился наверху, посреди полутемного коридора. Потолочная лампа в матовом плафоне еле освещала одинаковые двери кают, красную ковровую дорожку поверх протертого маслом линолеума и в дальнем конце — зеркальные стекла салона, запертого на ключ.

Из каюты с надписью «Проводники» выглянула пожилая женщина в синей телогрейке с меховым воротником. За ее спиной высились горы одеял и простынь, до самого потолка.

— Мне бы местечко, — робко попросил гражданин. — Каюту бы...

Женщина так удивилась, будто впервые в жизни увидела перед собой всамделишного пассажира.

— Как это каюту? Нешто они там, в Кинешме, с ума посходили, классный билет продали? Весь этаж нетоплен, система спущена... Сами-то вы соображаете, какие сейчас могут быть каюты?

— Да мне бы только пока руки вымыть да примоститься как-нибудь. Просто не верится даже, что опять берега эти вижу.

Пароход выходил на фарватер. Ветром распахнуло дверь на палубу. Снаружи донесло сочную дробь паровых плиц, шелест волны у бортов. Из-под лестницы, снизу, тянуло смолеными канатами и остывающим паром. Пол в коридоре содрогался от работы машины. Ее мерный, спокойный гул то и дело перебивался неровной стукотней паровой лебедки и скрежетом рулевой цепи. Проводница не замечала, что пас-

сажир взволнован этими будничными для нее звуками и запахами. Сверху спустился капитан. Несколько нерастаявших снежинок блестело в его бороде. Проводница пожаловалась на кинешемскую кассу.

— Не беда, Ньюра, — сказал капитан. — Пристроим пассажира. Далеко едете, товарищ?

— Билет у меня до Нижнего, то есть до Горького, но я знаю, вы, кажется, только до Городца? Я там пересесть могу, мне ведь не к спеху. Хочу родные места увидеть, Кинешму, Яшму, Юрьеvec. Давно я эти места покинул.

— В Яшме у нас будет стоянка часа на три. Успеваете погулять, даже родных навестить. А покамест, если желаете, можете в рубку к нам подняться, от туда все как на ладони разглядите.

— Идти мне в Яшме давно не к кому. А вот из рубки полюбоваться — за это спасибо от души!

— Надевайте тогда бушлат и шапку; чемоданчик свой и пальто оставьте у проводницы, внизу. Зима — не вата, не греет нашего брата!

Наверху таяла утренняя сизо-сиреневая мгла, разбавленная медленным приливом рассвета. Фабричные огни Кинешмы погасли. Город отдалялся и выглядел очень красивым с широкого речного плеса. Старинные арочные складские здания, соборная колокольня, береговые откосы, бульвар с беседкой, крутые лестницы и съезды к пристаням — все это, чуть присыпанное легкой осенней порошей, повторилось в оловянном зеркале стылой Волги.

— Вот, земляка-волжанина негаданно встретил! — пошутил капитан, представляя пассажира обоим рулевым, лоцману и стажеру. — Хочет гражданин отсюда рекой полюбоваться... А у тебя, Юрка, пароход носом рыскал, пока я внизу был. Ведь ты вел?

— Я, товарищ капитан, — смутился стажер. — Ветер здоровый.

— Почему же у Егорыча не рыскнет? Ни при какой погоде! Применяться надо к любому нажиму, и колесом рулевым так подгадывать, чтобы пароход твой не сдувало. Думаешь, Волга широкая стала, так не беда и с курса сойти?

— Действительно, какая стала ширь! — сказал пассажир. — Неузнаваемо все. Почти сорок пять лет здесь не бывал. Целый век человеческий!

— Это вы, значит, в самую революцию здесь жили? — заинтересовался стажер.

— Да. Пережил ее здесь, но, к несчастью, не сумел верно оценить то, чему был свидетелем. Стал жертвой ошибок, чужих и своих. И вот — жизнь прошла впустую. Это вам нелегко понять, у вас путь ясный.

В рубке замолчали. Стажеру очень хотелось спросить странного пассажира подробнее, но в присутствии старших он стеснялся.

— Теперь первая стоянка в Яшме, — сказал капитан и вложил в переговорную трубку деревянную затычку. — Тверже веди судно, Юрка, смелее.

3

За поворотом Волги исчез высокий кинешемский элеватор. Впереди, от горизонта до зенита, поднималось облако с белыми краями, похожее на косматый парус ушкуйников, наполненный ветром. Там, где облако сливалось с густо-васильковой ширью Волги, возникло белое пятно на воде. Оно быстро увеличивалось и приобрело очертания трехъярусного пассажирского теплохода.

— «Добрыня Никитич», — прочитал пассажир. — Былинный герой... А скорость-то, скорость! Кто бы прежде мог мечтать о таких судах на Верхней Волге!

— Какая же это скорость! — рассмеялся стажер. — Вот погодите, встретим «Ракету» или «Метеор» на подводных крылышках. Те, верно, скоростенку дают. Купальщикам теперь зевать у нас не приходится.

Левобережные дуга и поля усиливали ощущение простора. От глубокой осенней синевы неба чуть отделилась кромка леса на низком левом берегу. «Лассаль» держался правого берега. Желтые кусты и почерневшие оголенные березки клонились над самой водой, и волны от пароходного колеса, набегавшие на берег, колыхали на воде облетевшую листву, мутились от маленьких оползней. Кое-где река подмыла корни деревьев, и рухнувшие сосны купали в Волге свои густо-зеленые кроны. Видно было, что вода подступила к лесной опушке недавно, затопив полоску береговой гальки. Течение медленно тащило вдоль берега желто-зеленую гирлянду из опавших листьев.

Впереди опять появилось встречное судно, буксир с баржами. Капитан протянул пассажиру бинокль.

— Спасибо вам! — пассажиру давалось теперь каждое слово с трудом. От волнения он не смог даже поднести бинокль к глазам. — Вы так добры ко мне... Хочу вас предупредить... Ведь это может вам не понравится!.. Я в прошлом белый эмигрант. Лишь недавно позволили вернуться на родину. Старуха мать долго хлопотала, и вот, представьте, поспел.. на похороны. Конечно, любить Россию я никогда не переставал, но жизнь прошла там, вдалеке от родины.

— Вы что же, в белых войсках служили? — хмурясь, спросил старший рулевой, Иван Егорович.

— Нет, от этого бог уберег. Оружие против собратьев не поднимал, чужих жизней не губил.

— А чем занимались там, на том берегу?

— В двух словах не скажешь. И в хоре пел, в церкви на Рю Да-рю. Дело хоть и добродетельное, но иных певчих регент поддерживал несколько... И на заводах служил, и по ресторанам. Неловок и нерасторопен оказался, быстро из кельнеров выгоняли. Грузы таскать приходилось в Турции и Румынии, при старой власти. Переводчиком-толмачом был в Южной Америке, во время одной войны.

— Какой войны?

— Была такая война в тридцатых годах между Парагваем и Боливией за нефтеносный район. С обеих сторон там и русские эмигранты, белогвардейцы, участвовали. Такая, знаете ли, оперетка была, кровавая и смешная. Понимаете положение наше: одни за батюшку Парагвай против злокозненной Боливии. Другие — за единую неделимую Боливию против супостата ее, злодейского Парагвая. Так и стреляли друг в дружку: поручик Иванов в есаула Петрова — за Боливию, а есаул Петров в поручика Иванова — за Парагвай. И смех и грех! А потом еще писанием увлекался, воспоминания о России печатал и так вообще, рассказы. В особенности во время войны с немцами для подпольного радио и свободных листков. Во французском Сопротивлении участвовал, в партизанах был. Поваром, правда, но с вашими встречался, с советскими, кто из фашистских лагерей бежал и в партизаны шел, в Арденнские горы. Партизан этих вся Франция и сейчас помнит.

— А семьей не обзавелись там?

— Нет, как-то, знаете, не сумел. Холодная у меня

старость и бесплодная, что осенняя пора. Оба мы, и этот ваш «Лассаль», и я, российский реэмигрант Макарий Владимирцев, нынче в последнем рейсе.

Капитан «Лассаля» пристально взгляделся в лицо говорящему, многозначительно перемигнулся с рулевым Иваном Егоровичем, хотел было сказать что-то, но, видимо, пока передумал. Встречный буксир подал в следующий миг продолжительный сигнал гудком. Капитан взял у пассажира свой бинокль.

— Старинный буксир! Нынче баржи так не тянут, метода устарелая. Баржа теперь впереди, а буксир ее сзади толкает: быстрее так и легче. Смотри-ка, Егорыч, караван-то нескладный какой. Растянул буксирные тросы на полкилометра и дороги требует.

— Похоже, камский. Тоже, видать, старик уже. Думается, либо «Гряда», либо «Батрак».

— Да, наверное, один из них, — согласился капитан. — Кто это на мостик жалует? Никак я смены дождался? Сам старший помощник изволил появиться? Не рановато ли?

— Сам же меня спать прогнал, Васильич!

— Ладно уж, коли пришел — принимай команду. Ебавь-ка ход да посигналь тому — сносит у него баржи ветром, буксиры длинные. А мы с земляком чайком внизу погреемся и о старине потолкуем. Если не ослышался, вас Макарием Владимирцевым зовут?

В капитанской каюте проводница Нюра кончала уборку. Она сходила на кухню с чайником и уже приготовилась было разлить заварку в стаканы, как вдруг чайник в ее руках описал дугу, стулья сползли к стене, упала настольная лампа. Послышался скрежет под днищем. Пароход коротко, судорожно затрясло. Машина стала, только шипел спускаемый пар.

Капитан в два прыжка взлетел на мостик. Слева совсем близко шла тяжелая баржа встречного каравана. Помощник орал в мегафон: «Слева по борту кранцы готовить!» Баржу несло ветром на пароход, застрявший на мели. Судьбу «Лассаля» решали секунды. Все зависело от скорости каравана.

И «камский» не подвел. Рванулся вперед самым полным и утащил свою баржу, чуть-чуть не чиркнув борт застрявшего парохода. Сняться с мели своими силами, с помощью якоря и паровой лебедки, так и не удалось. По радио капитан сообщил в пароходство,

что «Лассаль» при встрече с караваном покинул фарватер и отклонился вправо, чтобы пройти затопленными лугами. Глубина там по лодии была бы достаточной, но пароход наскочил на песчаный холмик, скрытый под водой: река занесла илом и песком остов старой баржи, валявшейся здесь издавна и случайно не убранной со дна при подготовке нового русла Волги. Сев на мель, пароход не дал течи, машина и груз в порядке, требуется только помощь для снятия с мели.

После переговоров по радио капитан позвал в рубку стажеров и разобрал с ними происшествие. Юркуштурвальный сидел на разборе ни жив, ни мертв: судно-то у него опять рыскнуло, когда он один оставался у штурвала, пока старший рулевой давал на мостике отмашку встречному. Против курса, заданного Егорычем, судно отклонилось под ветром всего чуть-чуть и все-таки наскочило...

Но капитан ничего не сказал на разборе о Юрке.

— За нынешнее происшествие, — говорил он, хмурая брови и покашливая, — в ответе должны быть трое. С меня, капитана, надлежит спросить, почему, предвидя сложную встречу, я доверился опыту старшего помощника и, сдавши ему вахту, ушел с мостика. Вахтенный помощник не должен был рисковать при сильном ветре в трудном месте: следовало сработать назад и расходиться на просторе. А лоцман у штурвала должен был помнить, что когда-то здесь баржу занесло, значит, место рискованное. Оставил штурвал растерявшемуся стажеру! Нам едва не раздало борт, никакие кранцы не помогли бы.

Отпустив стажеров, капитан оставил Юркуштурвального и с глазу на глаз... вложил ему в память несколько веских слов насчет пароходного носа, рыскающего по ветру из-за нерасторопности рулевого.

Берег был в нескольких десятках метров. Ветер доносил до парохода березовые сережки и сухие листья. Под недвижным пароходным колесом проплывали сосновые шишки. Далеко впереди виднелись в бинокль остроконечные шатры яшемских монастырских церквей. Тем временем в рубку поднялся и судовой ревизор. Капитан указал ему место среди вахтенных.

— Что ж, как говорится, садись, закуривай, спешишь покамест некуда. Самое бы время теперь послушать что-нибудь. Может быть, — обратился капи-

тан к пассажиру, — если настроение есть, рассказали бы вы нам, что с вами тут в революцию произошло. А там кто-нибудь, возможно, и дополнил бы ваш рассказ. Народ-то у нас на «Лассале» бывалый...

— Извольте, — с готовностью согласился пассажир. — У меня в чемодане даже несколько старых фотографий найдется. Если разрешите — принесу.

Пока пассажир ходил за фотографиями, капитан сказал:

— Прошу вас всех, ребята, а особенно тебя, Иван Егорыч, до времени не называйте ни имени моего, ни фамилии. Нам с тобой, Егорыч, этот пассажир должен кое-что знакомое напомнить. Да вот он и воротился! Кладите сюда фотографии, их после рассказа поглядим.

Полуденное солнце вышло из-за облаков и так озарило все кругом, будто в огромном панорамном кинотеатре серый фильм вдруг сменился цветным. Осенние дали еще раздвинулись, яшемские колокольни стало видно простым глазом...

...Долго звучал в рубке голос пассажира. И пока он вел свою повесть, слушателям чудилось, будто менялась сама местность за высокими смотровыми стеклами.

Песчаные мели и перекаты перегородили вдруг обезводневшую Волгу. Словно и не проходили здесь трехъярусные теплоходы-громады. Пузатые купеческие пароходики зашлепали плечами колес вверх-вниз по волжскому стрежню мимо белых и красных бакенов с тусклыми керосиновыми фонариками.

Жестоким ветром прошлого смахнуло антенны с деревенских кровель. Лишь маковки церквей и часо-вен золотели в лиловых зорях над Волгой.

Но двое из тех, что сидели в рубке — капитан и старший штурвальный, — слушали рассказ по-иному, чем оба стажера! Для Юрки и его сменщика история пассажира была всего лишь страничкой из незнакомой книги о стародавнем! Те же двое слушали быль о том, что пережили сами.

Перед их мысленным взором возникали картины далекой молодости, почти позабытые в суете и сутолоке будней. Они вставали в памяти так явственно и реально, словно бежала перед ними на невидимом экране кинолента прожитых дней...



глава первая

МАКАРКА-ПОПОВИЧ В КОРПУСЕ И ДОМА

1

В Ярославском кадетском корпусе его звали макакой за имя Макар или попovichем за то, что отец его, Гавриил Антонович Владимирцев, был в российской армии полковым священником. Весной 1917 года тринадцатилетний Макар перешел в четвертый класс.

До февральских умопомрачительных событий — отречения царя и создания Временного правительства России — начальство корпуса кое-как справлялось с брожением в классах; после же февраля машина корпусной жизни стала понемногу разлаживаться.

Одноклассники Макара встретили февральскую революцию по-разному. Сыновья потомственных дворян, владельцев костромских и ярославских поместий, сговаривались не допустить снятия царского портрета в актовом зале. Вместе с верноподданными старшими воспитанниками-монархистами группа Макаровых одноклассников-дворян участвовала в устройстве тайных патрулей, избивавших всякого, кто смел не откозырять портрету обожаемого государя, принужденного бунтовщиками, жидами и студентами к отречению от престола. А когда портрет был все-таки снят и сам директор корпуса появился на общем собрании в парадной форме с орденами на груди и алой ленточкой в знак верности революционному правительству князя Львова и господина Родзянко, кадеты-монархисты эскортировали выносимый портрет до дверей, а через несколько дней выкрали его из кладовой, чтобы впоследствии вернуть в зал. Недавно появившийся в корпусе политический комиссар из местных эсеров немно-

го пошумел по поводу истории с портретом, но не слишком усердствовал. Виновники похищения обнаружены не были, на том дело и кончилось.

В одном классе с Макаром сидели за партами также дети купцов-мукомолов, текстильных фабрикантов, инженеров, учителей, владельцев парходных компаний. Многие из этих воспитанников радовались революции, носили красные бантики и пели «Марсельезу». Среди всех этих интернов, то есть живущих в корпусе воспитанников-кадетов, оказался один попович — Макарий Гаврилович Владимирцев, угловатый и застенчивый мальчик. Политических воззрений он покамест не обрел, учился на казенном коште, редко выходил из училищных стен, потому что мать жила в Кинешме, а летом снимала две комнатки в Яшме, у своей двоюродной сестры, попадьи Серафимы Петровны.

Макару было велено звать ее тетенькой. Домик, окруженный яблонями и малиной, стоял почти на самом волжском откосе. Мимо крыльца спускалась с обрыва узкая крутая лесенка-стремянка, похожая на парходную сходню. Под глинистым обрывом, заросшим мать-мачехой и иван-чаем, валялись дырявые рассохшиеся лодки и ржавые якоря всяких размеров. До них старались доплеснуть мелкие речные волны.

Село Яшма было богомольное и торговое, известное по всей Верхней Волге благодаря местной летней ярмарке. Бывало, раскидывала она свои ларьки, палатки и карусели под стенами древнего яшемского назарьевского монастыря. Торговали здесь яйцами и маслом, кустарными сукнами местной выделки, деревянными ложками, глиняной посудой, конскими сбруями, а более всего — кожаными и валяными сапогами, будто бы не знавшими износу ни зимой, ни летом. Еще гордились яшемцы завидными покосами в своей округе, знаменитым медом монастырских пасек и обильными уловами рыбы, которую ловцы держали живой в деревянных решетчатых садках, прикрепленных якорями к речному дну.

Сельская улица Яшмы, постепенно вытягиваясь вдоль Волги, с годами добралась до глубокого овражка, перешагнула его, соединив берега бревенчатым мостом, и рассыпалась уже за овражком на кучки домиков: из них-то и образовалась потом кривая Рыбачья слободка.

Вместе с рыбаками жили здесь волгари-водники. Хозяева слободских домиков или квартир наведывались сюда только по праздникам. Летом они ходили по реке, зимой по-холостячки квартировали около затонов, где велся ремонт пароходов и барж. Иные домики в яшемской Рыбачьей слободе были любовно украшены самодельными образцами волжских судов. Хозяева пристраивали их на особые полочки под застрехами кровель, а ребяташки с завистью смотрели на эти игрушки взрослых людей, тая в душе несбыточную надежду заполучить в руки эдакий пароходик, чтобы запустить по речке Яшемке.

Макару Владимирцеву запомнился случай в Рыбачьей слободе. Кучка ребяташек глазела на модель самолетского парохода «Князь Василий Шуйский» на доме одного капитана. Шел мимо деревенский парень по имени Сашка, прочитал тоску в детских взорах, вскочил на крыльцо, достал модельку и дал детворе пустить пароход «Василий Шуйский» по ручью в овражке, от верховьев до устья, водным путем в сто сажений. Потом вытер модельку и полез водрузить ее на прежнее место. Тут-то и застигла его жена капитана, учительница Елена Кондратьевна.

Бранить она Сашку не стала, но глянула с упреком и сказала сухо: «Как раз от тебя, бывшего ученика моего, я бы этого не ожидала». Повернулась и ушла. Макару долго страдал за Сашку — ведь получилось-то у него, можно сказать, в чужом пиру похмелье!

По веснам, чуть полая вода спадала, забывая на обсыхающих пригорках льдины и бревна, раздавался под яшемским обрывом первый гудок после зимнего безмолвия. Это буксирный пароход из Городца, одолевая внешнее течение, тащил на канате нарядный плавучий дебаркадер — пристань пароходного общества «Самолет». В тот же день другой буксиришко волок под яшемский обрыв еще одну пристань, поскромнее отделкой, компании «Кавказ и Меркурий». Пониже «Кавказа и Меркурия» ставило на реке свой дебаркадер пароходство «Русь», и уже после паводка появлялась под обрывом и четвертая пристань, пароходства «Унжак».

Пароходное общество «Самолет» заключило довольно своеобразный и весьма выгодный для обеих сторон договор с женским яшемским назарьевским

монастырем: когда изящные, комфортабельные самолетские пароходы приближались к Яшме, на пристанском флагштоке поднимался вымпел, а с монастырской колокольни раздавался звон большого, многопудового колокола. Распахивались тяжелые монастырские ворота, и на верху большой лестницы появлялся священник в облачении, за ними дьякон, мать-казначей и целый монашеский хор, человек до двадцати. Шествие замыкала монашенка-просвирия. Натужно дыша, тащила она огромную корзину просфор, выпеченных из крутого теста весьма искусно, со сложным божественным узором на бледной верхней корочке. Они долго не черствели, пассажиры брали их прямо нарасхват.

Нарядная публика с парохода набивалась в часовню, и священник служил молебен о плавающих и путешествующих. Смолистый дух речной пристани, запах копченой рыбы и мокрого дерева перемешивался тогда с легким дымком росного церковного ладана. Тем временем простой народ покупал у крестьян на пристанских мостках топленое молоко, огурцы и ягоды. Когда деловитый гудок покрывал многоголосицу на пристани, простой народ исчезал в темном пароходном чреве, а важная публика поднималась на свою чисто вымытую верхнюю палубу. Отсюда было видно, как торопливо семенит вверх по откосу монастырский причт. Слава о богомольном яшемском обычае шла далеко, и сколько благочестивых купчих отдавали свои рубли в кассы пароходного общества «Самолет»!

Но какой новый, скорбный и жуткий смысл получили эти коммерческие молебны в те страшные годы, когда монаршая рука одним мановением послала российского солдата под германскую шрапнель!

Макарий Владимирцев видел, как отправлял уездный воинский начальник новобранцев в действующую армию. Уезжали они почти с каждым пароходом. Ладные, рослые, не тронутые никакой хворью, как березки в яшемской роще, шли новобранцы по трапу в пароходное нутро, а с пристани провожал их многоголосый стон. Там оставались матери, жены, сестры, малые ребяташки. Кое-кого из провожающих народ еле удерживал от прыжка через пристанские перила! Вот тогда запах ладана и голоса монахинь, дьяконский бас и колокольный звон наверху, последний возглас священника и последний гудок парохода сливались в

зловещую отходную, прижизненные проводы к братской могиле!

Лишь немногим ящемцам и кинешемцам довелось потом воротиться с полей смерти к семьям. Приходили поодиночке, без молебствий и звона, кто без пальцев, кто с обвязанной головой. Молча входили в крестьянские избы и рабочие каморки. И встречали их в этих жилищах нужда, убожество, голод и стужа...

Летом Макар любил забираться в пустую лодку на берегу, ложиться на сухое, прогретое солнцем дно и прислушиваться к невнятному лепету и шелесту струй, осторожно вползающих на ракушки и галечник. Ветер приносил упоительный речной запах — смоленых снастей, сырости, рыбы. На сердце у Макара становилось легче, таяли в памяти корпусные обиды, и казалось ему, что сверху, из-за сияющих облаков, ласково глядят ему в самые очи добрый бог-отец, его сын — Христос-спаситель и горестная мать-богородица. Если на облачном полотне возникали белые голуби, вспугнутые местными голубятниками, мальчику чудилось воплощение духа святого в пронизанном солнцем сияющем куполе. Эти Макаровы божества не имели ничего общего со строгим царем небесным, который ежеутренне принимал молитву, хором возносимую к нему корпусными кадетиками. Их молитва, в строгом строю, по голосам и по ранжиру, походила на рапорт небесному начальству. Никаких сердечных излияний небесное начальство, как и земное, в молитве кадетов не допускало!

К сентябрю 1917 года Макарку отвезли назад, в корпус, переименованный в военную гимназию. Переименование не принесло перемен, воспитанники по-прежнему называли корпус корпусом, а самих себя — кадетами. Начальство не поправляло их.

Но провожала Макара в Ярославль в эту осень не мать, а лицо совсем новое, некий щеголеватый офицер. Представляясь корпусному начальству, он отрекомендовался так: «Подпоручик Стельцов, адъютант полковника Зурова». Инспектор корпуса и воспитатель Макаркиного класса с чувством трясли адъютанту руку, затянутую в лайковую перчатку. Пока адъютант, простившись с Макаром, спускался по парадной лестнице мимо училищного знамени, встречные

кадеты замирали восхищенно и, отдавая честь, старались привлечь внимание офицера. Он же со снисходительной улыбкой кивал юнцам, и пальцы, обтянутые лайкой, изящно и небрежно взлетали на миг к лакированному козырьку его фуражки.

В ту осень Макар впервые услышал от матери, что богатый помещик, жандармский полковник Зуров, приходится троюродным братом Макарову отцу. И вот неожиданно, впервые за много лет, полковник вдруг вспомнил о троюродном племяннике Макаре и даже послал Стельцова проводить мальчика из Яшмы в Ярославль. С той поры сверстники и наставники выказывали по отношению к Макару меньше пренебрежения, ибо стало ясно, что влиятельный полковник как-то заинтересован в судьбе дальнего родственника.

Этот интерес и родственное благоволение Зурова приняло совершенно неожиданную для Макара форму!

2

Дождливым сентябрьским утром 1917 года воспитанника Макария Владимирцева сам инспектор вызвал к... директору! Это было событием чрезвычайным.

Всемогущий восседал у большого письменного стола. Макар посещал кабинет вторично, первый раз он был здесь в день приема. В этот раз мальчик не увидел на прежнем месте бронзового бюста императора Александра Второго. Среди находящихся в кабинете военных и гражданских лиц Макар узнал и франтоватого зуровского адъютанта.

— Воспитанник Владимирцев по вашему приказанию явился! — пролепетал вызванный.

Директор кисло-вато усмехнулся.

— Воспитаннику Владимирцеву пора бы усвоить, — заговорил он, растягивая слоги, — что являются нам лишь чудотворные иконы, а господа воспитанники имеют честь при б ы в а т ь по нашему вызову. Повторите ваш доклад!

Макар кое-как справился с докладом, и директор окинул его оценивающим взглядом с головы до ног.

— Итак, молодой человек, приятной, но немногобещающей наружности, вас пригласили для свершения неких юридических актов ради интересов ваших и вашего высокого, так сказать, доверителя.

Чуть успокоившись, Макар повел глазами в угол и

теперь заметил знакомый бюст Александра Второго. Бронзовый Царь-Освободитель, задвинутый глубоко за стенку шкафа, был задрапирован оконной шторой и, казалось, тайно подслушивал беседу.

— Главное, — веско говорил директор, — чтобы указанная юридическая операция не отразилась неблагоприятным образом на ваших учебных занятиях. В нынешнее трагическое время будущий офицер русской армии, я хочу, разумеется, сказать, революционной армии, верной союзническому долгу в войне с германским супостатом, должен готовить себя к служению свободе, то есть к поддержанию устоев новой государственной власти. Надеюсь, вам это понятно?

Макар счел за благо шаркнуть ножкой и поклониться. У директора обозначилось подобие улыбки.

— Уверен, молодой человек, что вы не заставите моего старого друга и вашего благодетеля полковника Зурова раскаяться в доверии к вашим нравственным достоинствам и не посрамите моей рекомендации... Иль э абсолюман стюпид, мсье Стельцофф, не с па? * Но это именно то, что требуется в данной ситуации. До свидания, господа!

После этой беседы воспитанник Макарий Гаврилович Владимирцев отправился в юридическую контору подписывать серию документов о своем вступлении в... законное владение приволжским поместьем Солнцево, прежде принадлежавшим полковнику и помещику Георгию Павловичу Зурову.

Это ярославское поместье насчитывало две с половиной тысячи десятин пахотной земли и лесных угодий. Стоимость его с инвентарем, капитальными строениями и большой господской усадьбой определялась ныне в четверть миллиона рублей. Опекуном над несовершеннолетним владельцем назначен был управляющий поместьем Борис Сергеевич Коновальцев, отставной обер-офицер.

Как ни растерян был новоиспеченный помещик Макар, он все же посмел обратиться к подпоручику Стельцову с вопросом, зачем в этом непонятном деле понадобился еще и чужой опекун, коли имеются у Макара родные мать и отец.

* «Он абсолютно туп, господин Стельцов, не так ли?» (франц.). Здесь и далее примечания автора.

— А разве мамаша не сказала тебе, что батюшка твой серьезно ранен? — удивился подпоручик. Юристы и Коновальцев молча при этом потупились...

По окончании процедур, которыми Макарий Владимирцев был формально введен во владение солнцевским поместьем, юному владельцу как-то мимоходом дали подписать еще один документик, которым помещик Макар Гаврилович Владимирцев и его опекун поручали юридической конторе господина Розеггера в Ярославле продать владение и перевести вырученные средства в Банк дю Женев на имя мьсе Цурофф Георгий Пафлович, колонель русс... В личное, собственное пользование нового солнцевского владельца предоставлялся по свершению всей операции хутор Константиновский в 15 десятин земли, по луговой речке Шиголости, верстах в десяти от Волги.

Макарий Владимирцев не слишком утруждал свои мыслительные способности по поводу свалившегося на него с неба богатства и не принял во внимание мимолетные реплики юристов насчет угрозы конфискации недвижимостей, принадлежащих крупным жандармским чинам. В классе гимназии Макар помалкивал насчет своего четвертьмиллионного богатства, смысла всей операции не понимал и писал матери в Кинешму письма под диктовку Бориса Сергеевича Коновальцева, своего опекуна, причем письма посылались не почтой.

Вот в таких-то, не совсем обычных для тринадцатилетнего кадета занятиях Макарий Владимирцев провел целый месяц, и в конце этого месяца в жизни Макара произошли два новых события.

24 октября 1917 года инспектор пришел на занятия четвертого класса с журналом «Нива» в руках. После команды «Встать!» инспектор не разрешил ученикам сесть, а вызвал вперед воспитанника Макария Владимирцева и объявил ему весть: благочинный отец Гавриил Владимирцев, раненный в августе при обстреле немецкой артиллерией города Риги, скончался в полевом госпитале. В журнале был напечатан его поясной портрет в пенсне, черной рясе и с крестом на груди.

Макар расстался с отцом еще в 1914 году, с тех пор ни разу его не видел, помнил смутно, но просил бога сохранить отца невредимым среди опасностей передовой линии и ко всем праздникам получал на свое имя

письма, проверенные военной цензурой и содержавшие отцовские наставления и благословения. Макар как-то вдруг понял, что приходить они больше не будут, представил себе осунувшееся лицо матери, а ночью в дортуаре с какой-то страшной остротой почувствовал боль от врезавшегося в тело стального осколка, что мучила отца перед смертным часом.

Поэтому весть о следующем событии, дошедшую до ярославской военной гимназии вечером 26 октября, Макар воспринял приглушенно, потому что касалась она всех, а не одного Макара, и он считал, что начальство разберется во всем и без него и скажет, что теперь надлежит делать воспитаннику Владимирцеву.

Первую весть об этом событии принес в корпус почтальон, подавший дневальному телеграмму на имя директора.

Дежурный офицер-воспитатель в досаде отшвырнул телеграмму прочь, потому что буквы и знаки ее отпечатались в перевернутом виде. Кто-то из воспитанников догадался поднести брошенную телеграмму к зеркалу. Он вслух прочитал отраженные зеркалом строчки о новом перевороте в Петрограде и перестрелке в Москве.

Кто послал телеграмму, что надлежало делать, почему телеграфный шрифт получился перевернутым, гадать было некогда. Из штаба округа полетели противоречивые приказы. Кто-то командовал старшеклассникам вооружаться, кто-то визгливо требовал: «Отставить!» Занятия в классах вскоре пошли кое-как, иные воспитанники потихоньку стали разбредаться по домам, началась сумятица и самовольщина.

И в разгар этой сумятицы, когда кому-то были розданы винтовки, а у кого-то винтовки отбирали, снова появился в здании ярославской военной гимназии адъютант полковника Зурова. Но был этот красивый подпоручик Стельцов уже не в офицерском мундире, а в простом сереньком костюме. Без долгих околичностей сгреб он в охапку солнцевского помещика Макария Владимирцева и тем же вечером с московского вокзала в Ярославле выехали они вдвоем в Кинешму.

Зиму Макар кое-как проучился в новой «Единой советской трудовой школе». Так теперь называлась бывшая кинешемская реальная гимназия. Мать веле-

ла вести себя в школе осмотрительно, дружбы ни с кем не заводить, молчать и о корпусе, и особенно о поместье Солнцево. В школьных бумагах Макара было записано, будто он сын убитого на войне ротного писаря. Об этих бумагах позаботился подпоручик Стельцов. Жил он под Ярославлем, ходил, как сам выразился, в «большевистское присутствие» и в доме Владимирцевых на Нижней улице в Кинешме появлялся проездом, очень редко. После каждого его визита Макарова мать становилась все озабоченнее.

В школе Макару понравилось. Сидел он на одной парте с бледным, рыженьким, боязливым Илюшей Моисеевым. Оказалось, что арифметические задачи, казавшиеся в корпусе абсолютно неодолимыми, решались здесь довольно просто, с тех пор как сосед помог Макару разобраться в некоторых премудростях математики. В корпусе Макара считал безнадежно потерянным для жизни каждый час, потраченный на уроки. Здесь же бывший кадет постиг, что на занятиях бывает даже интересно. Школьная учительница избавила Макара от такой напасти, как зубрежка стихов на слова с «ятем»:

Ведный, бледный, белый бес
Убежал в соседний лес,
Долго по лесу он бегал,
Редькой с хреном пообедал,
И за этот за обед
Дал обет не делать бед и т. д.

Стихи эти Макара вызубрил, а в лесу даже побаивался встречи со странным бесом, который представлялся ему похожим на главного мучителя в корпусе, дразнилу Горельникова, юркого и прыткого воспитанника, неистощимого в насмешках над поповичем... Стихи-то Макара знал, но применять их при диктовках не умел, писал «обед» через «е» и хватал в корпусе колы до самого четвертого класса.

Удивительную весну 1918 года Макара пережил в Кинешме.

После холодной снежной зимы лед на Волге был крепким, и Макара каждый день бегал к реке, стараясь угадать по берегам, когда начнется ледоход.

И вскрывалась река в тот год с треском, крутила и несла огромные льдины, разлилась широко, уносила даже домики с деревенских улиц, подкатывалась

к опушкам, заливала поемные луга и пашни. Деревенские мосты кое-где вели как бы из воды в воду: это ручьи и речки выходили из берегов и затопляли подьезды к мостам.

Был этот разлив Волги сродни всенародному половодью! Все люди, с кем сталкивался Макар, глубоко ощущали тогда родство обеих стихий, природной и человеческой. У всех захватывало дыхание от этой могучей бури, но иные дышали полной грудью и радовались, другие же боязливо отворачивались, старались укрыться от свежего ветра. Он же, этот ветер, нес и нес великие перемены.

Землю у помещиков комбеды отобрали в уезде еще зимой, по снегу. Мать по воскресеньям водила Макара в церковь, всегда полную крестьянским людом из соседних деревень. И Макар слышал, как спорили, как волновались крестьяне перед началом весенней пахоты. А вдруг, дескать, барин возвернется? Но и эти, сомневающиеся, распахали и засеяли новые делянки до последнего вершка.

На глазах у Макара бывшая гимназия открыла двери «фабричным детям», но закрыла их перед бывшим гимназическим батюшкой с его законом Божиим. Не стало больше в мире божьего закона! А закон человеческий начали связывать с непривычными, пугающими словами: ревком, совдеп, милиционер, нарсуд. Ученики перестали получать двойки за упущенный в конце слова твердый знак и совсем запутались в числах: дома, у матерей, висел в календарях листок 21 марта, а в школе, на диктовке, писали этот день 3 апреля. Называли это «новым стилем». Даже часовые стрелки передвинули на час вперед — новая власть берегла электроэнергию.

Макар видел, как рабочие кинешемского затона превратили старый буксир «Царь-Освободитель» в агитпароход. Над колесом густо замазали слово «Царь» и оставили только «Освободитель». Этот пароход привез в Яшму первый агрономический кинофильм. Картину в трюме показывали крестьянам, а учительница Елена Кондратьевна объясняла, потому что три четверти зрителей не успевали читать надписи.

Но не каждому по нутру было все новое, и не сразу сдавалось старое. Ни в кулацких, ни даже в середняцких домах хозяева не спешили срывать цар-

ские портреты. По Волге шли подбитые в стычках с бандами пароходы. В зажиточных городских домах и на хуторах побогаче прятались офицеры, готовя убийства и мятежи. Духовные пастыри благословляли их на противодействие новым порядкам.

Творились тайные дела и в Кинешме, и в богомольной Яшме.

3

В мае 1918 года, как всегда, мать увезла Макара в Яшму. Навигация шла уже полным ходом. Все устоявшиеся обычаи соблюдались и теперь. Под яшемским обрывом поставили четыре прежние пристани. На самолетских пароходах красовались прежние великокняжеские названия, и по-прежнему монастырский причт выходил встречать пароходы молебнами.

Поздоровевший за теплый июнь Макарка Владимирцев по незыблемому уставу яшемских мальчишек съехал по перилам монастырской лестницы, от верхней часовни с колодцем до самого бережка, следом за монашками. Те сошли с последнего марша лестницы на речной галечник.

Пароход уже показался. По золоченой решетке над форштевнем и плавному полукругу ветрового стекла в салоне Макар узнал «Императора Александра Благословенного». Впрочем, это название воскресло в памяти только по старой привычке, потому что теперь пароход носил имя писателя Короленко. В корпусе Макар и не слыхивал о таком писателе, а в школе учительница прочитала притихшему классу про удивительный сон, приснившийся тезке бывшего кадета, якуту Макару. Рассказ потряс мальчика-поповича до самых душевных глубин. Он и не подозревал, что книга может так рассказать о горькой человеческой судьбе!

Сверстники Макара, кто посмелее, были уже в воде и вымахивали саженками, чтобы при развороте парохода покачаться на вспененных колесах волнах. Макар видел, как вверх по флагштоку всползал длинный самолетский вымпел с пятью переплетенными кольцами. Только на этот раз тросик заело, и красивый вымпел застрял посреди флагштока.

Начальник пристани послал матроса Клина на крышу поправить дело. С ним полезли мальчики по-

старше, но наладить трос никому не удалось. Матрос с опаской поглядывал на трехсаженную мачту, а ребята сбежали купаться.

Тогда нашелся доброволец среди взрослых купальщиков, высокий сильный мужчина в одних портах. Поплевав на руки, он полез на флагшток. Ствол мачты он сжимал между пятками босых ног и ловко подтягивался на руках. Верхушка мачты, укрепленная проволочными расчалками, пружинила и дрожала, пока человек вдевал трос в желобок верхнего колесика-бегунца.

Сделав свое дело, верхолаз соскочил на крышу и сам поднял вымпел до нужной высоты. Народ на пристани одобрительно зашумел. Кто-то крикнул с берега:

— А ну, Сашаня, сигани оттелева в речку!

Человек стоял под мачтой, на самом коньке железной кровли дебаркадера. Макарка узнал его — это был тот самый Сашка, что года три назад достал ребятишкам пароходик из-под чужой застрехи. Оттяжки мачты мешали разбегу, но народ на берегу раззадорил молодца. Он отважился на рискованный прыжок — через корму дебаркадера. Вдоль кровельного конька он пробежал шагов десять, оттолкнулся от свеса кровли, пролетел над головами людей, толпившихся на корме, и вошел в воду солдатиком, почти без брызг, как стрела.

В эту минуту Макарка прибежал к пристани. Пароход уже развернулся с фарватера и шел против течения, сбавив ход до среднего. Из-за чужих спин Макар глянул с кормы вниз. Прыгнувший не вынырнул!

Тень парохода накрыла пристань. Плицы колес забили назад, взбурлила желтая пена, в стенку дебаркадера глухо ударила легость — веревка с грузиком, которую забрасывают на пристань, чтобы подтянуть на кнехты канат-чалку, а пловца — как не бывало!

— Саша утоп! — слышал Макар голоса в толпе. — Алексашке Овчинникову — царствие небесное!

Вдруг кто-то заметил, что у пристанской якорной цепи чуть побурела вода. Макар на миг разглядел кровавое пятно. Рядом с ним слабо охнула женщина. Он мельком увидел очень бледное девичье лицо в

монашеском платке под лиловой скуфеечкой и расширенные от ужаса глаза, разлет тонких черных бровей... В ту же минуту заголосили все бабы на пристани — якорная цепь колыхнулась, из воды на миг показалась запрокинутая голова с потемневшими русыми волосами.

На помощь кинулись все купальщики. Пловца нашли, поволокли к берегу. Алый извив расплывался за ним по воде. Макар отвернулся, лишь мельком глянул на страшную рану: правое бедро пловца будто копьем пронзили: видимо, он напоролся под водой на якорную лапу.

— Ишь ты, похоже, сам себя с крюка вызволил! И хватило же ума якорную цепь из рук не выпустить, а то бы — прямо под пароход! Ну, Сашка, хват, одно слово! — слышал Макар удивленные голоса кругом.

Отзвонил колокол наверху, пароход ушел вниз. Макар поднимался к дому по своей узкой стремянке и видел, как по другой, широкой монастырской лестнице черные монахини волокут носилки с раненым. Женщины отдыхали на каждой лестничной площадке. Человек мог истечь кровью, но у женщин просто не хватало сил нести его быстрее.

Макар знал, куда тащат раненого: в монастырский приемный покой, где есть женщина-фельдшерница, и сестры милосердия, и няни-монашки. Туда нередко доставляли с парохода больных, раненых или ослабевших, потому что монастырь был рядом с пристанями, а земская больница, всегда переполненная, отстояла от берега в полутора-двух верстах.

Дня через три после происшествия на самолетской пристани Макар услышал от взрослых, что снизу, не то из Казани, не то с Камы либо с Оки, идет вверх какой-то воинский пароход, оборудованный под плавучий госпиталь. Говорили, будто пароход этот подбирает по всем пристаням и близлежащим к ним фельдшерским пунктам раненых призывников. Яшемские водники рассказывали, что пароход этот был некогда служебным судном одного из пароходств, после революции чинился в камском затоне, попал в Казань и очутился в распоряжении командования Восточного фронта, только что создан-

ного для борьбы с контрреволюцией на Урале, а главное — для ликвидации чехословацкого мятежа в Среднем Поволжье. Командующий Восточным фронтом левый эсер Муравьев распорядился побыстрее оборудовать пароход «Минин» под судно-лазарет для эвакуации больных военнообязанных в крупные прифронтовые госпитали. Ожидали прибытия военного фельдшера для отбора больных, подлежащих отправке этим пароходом.

Среди лежащих больных монастырского приемного покоя лучше всех был осведомлен насчет плавучего эвакогоспиталя хромой отставной вояка, бывший кавалерист Иван Губанов, работавший в монастыре по найму с начала революции. Откуда он появился в Яшме, никто не знал. Главной его обязанностью было забивать скот на продажу и разделять туши.

Иван Губанов довольно резво передвигался на трофейном протезе германской выделки. И вообще случалось, что Иван-мясник доставлял матери-игуменье кое-какое беспокойство излишней резвостью, за что и был переведен на жительство далеко от обители, на скотный двор, обслуживаемый старыми и суровыми черницами.

На скотном дворе он и пострадал. Водил племенного быка на ветеринарный осмотр. Процедура быку не понравилась, и работник Иван еле уцелел, отделавшись ушибом двух ребер. Случилось это месяца полтора назад, и уж недельки через две после столкновения с быком Иван как будто совсем поправился и даже ездил верхом. Но перед самым приходом плавучего эвакогоспиталя Ивану сделалось опять хуже, он слег в приемном покое и решительно требовал эвакуации в городскую больницу.

Монастырское начальство — мать-игуменья, сестра-ключарь, мать-казначей и второй священник только головами качали: нешто военное судно примет на борт гражданских лиц, тем более монастырских. Иван же мясник божился, что командование согласится эвакуировать из приемного покоя всех трех лежащих — самого Ивана Губанова, Сашку Овчинникова, пострадавшего на пристани, и даже иеромонаха Савватия, почти восьмидесятилетнего старца, на днях доставленного в покой с переломом ноги. Его привезли

из глухих заволжских скитов, надежно спрятанных в лесах. Этого старца знали многие окрестные крестьяне, и стоило развестись слуху, что Савватий вышел из своих лесов и гостит в монастыре — деревенские старухи и молодки спешили поделиться с Савватием своими заботами или выслушать его совет. Теперь же он сам нуждался в скорой врачебной помощи — перелом ноги на восьмом десятке дело не шуточное!

За сутки до прибытия судна приехал в Яшму на дрожках из Юрьевца военный фельдшер. Он побывал в бывшей земской больнице, а к вечеру заглянул и в приемный покой монастыря. Мать-игуменья поила его чаем и долго упрашивала принять больных. Тот милостливо обещал похлопотать.

На следующее утро, еще затемно, трех монастырских больных принесли на пристань. Переговоры с госпитальными врачами должны были вести мать-казначей и второй священник, отец Афанасий. Все же мужчина, хоть и в годах!

Несмотря на ранний час, прибежал на пристань и Макарка. Вопреки прогнозам Ивана-мясника отправить раненых оказалось непросто.

Началось с того, что пароход причалил к русинской пристани, а ждали его к самолетской. Усталые монахини-носильщицы подхватили носилки с больными и чуть не бегом пустились берегом к пароходу. На задних носилках лежал Иван-мясник с отстегнутым протезом. Он размахивал им, ругался и понукал монахинь, будто лошадей. Отстала от бегущих старая женщина, провожавшая Сашку Овчинникова — его мать. По слабости здоровья она ничем не могла помочь сыну или носильщицам.

Лишь подбежав к пристани, монастырские заметили, что вопреки обыкновению пароход «Минин» не причалил к дебаркадеру, а стоит немного поодаль, на якоре. Больных перевозили шлюпкой. На веслах сидел солдат-санитар в грязном халате, а около русинских пристанских мостков переговаривались между собой военный врач в гимнастерке под халатом и еще один военный, в лихо заломленной фуражке и расстегнутом кожаном пальто рыжего цвета.

Тут же выяснилось, что на берегу нет давешнего военфельдшера: он еще ночью отбыл на своих дрож-

как дальше, в Кинешму. Предстояло, следовательно, все объяснять госпитальному начальству заново.

Просьбу монастырских духовных лиц военные выслушали вежливо, с ироническими улыбками. Без колебаний они согласились принять на борт Ивана-мясника и Сашку, старца же с переломом ноги отказались взять наотрез.

— Товарищ ваше благородие! — взмолился отец Афанасий. Врач и военный в фуражке снисходительно усмехнулись. — Дозвольте объяснить вам всю трудность положения. Пароходы, как изволите знать, ходят произвольно и пассажиров без удостоверений и особых бумаг почти не берут. А вы изволите видеть перед собою праведного старца, святой жизни подвижника. Его у нас, почитай, каждый малый ребенок знает. Окажите православным христианам божескую милость, доведите его только до Костромы, там есть монастырская ипатьевская больница для престарелых монахов и священников. Неужто не найдется местечка для немощного?

— Да местечко-то, может, и нашлось бы, — в раздумье сказал доктор. — Наш фельдшер в донесении предупредил нас о ваших больных. Но у нас мало санитаров и нет сиделок, а ведь вашему старику нужен уход. Примем только с провожатым. Пошлите с ним одну из ваших нянь.

Отец Афанасий только руками развел. Мать-казначей напомнила, что до Костромы недалеко, всего-то верст до сотни, пароход к ночи уже будет там...

— Да ведь ночью на пристани мы вашего старика не бросим! — проговорил врач сурово. — Кто его до вашей богадельни доставит? Без провожатого не возьму.

И тут Макарка, стоящий почти рядом с носилками старца, явственно услышал тихий голос самого отца Савватия. Доселе он находился как бы в забытьи, но вдруг очнулся и внятно произнес:

— Пусть Антонина проводит. Антонину с нами пошлите.

Лишь теперь Макарка обратил внимание на младшую няню и узнал в ней ту самую молодую послушницу из хора, что давеча так сильно испугалась на пристани за смелого пловца Сашку.

Мать-казначей взволнованно зашептала с отцом

Афанасием. Тот, прокашлявшись, смиренно произнес:

— Послушница Антонина молода еще, два года всего, как из мира пришла, послух приняла. Рановато ее одну снова в мир посылать. Лучше уж мать Софию в сиделки тебе дадим.

Старец Савватий замотал головой на тонкой шее и руку поднял:

— Говорю вам, а вы внимайте! Без Антонины не поеду. Терпением богата, душою сильна, хоть и разумом незрела. Что другой силой не возьмет, то она лаской у бога выпросит. Отправляйте с Антониной, а не то назад несите! Не поеду!

— Да пускай ее едет, по мне, — махнул рукой отец Афанасий. — Чай, при старце поедет, не одна.

— А назад как? — волновалась мать-казначей. — Одной? Мыслимое ли дело в такую пору лихую?

— Назад ей одной ехать не надобно. Чай, главный наш священник, протоиерей отец Николай, ныне там пребывание имеет. Дела у него в Костроме. Вместе и возвратятся, а там, даст бог, и Савватий поправится.

Пока монастырские спорили, пароход дал долгий гудок. Военные сошли с мостков и стали усаживаться в лодке. Солдат-санитар взялся за весла.

— Стойте, стойте! — хором закричали и женщины, и отец Афанасий. — Погодите отваливать! Поедет, поедет с нашими больными провожатая! О господи, благослови рабу свою Антонину на подвиг сей!

От русинской пристани монастырские поднимались навверх по стремянке. Далеко отстала от всех только Сашкина мать, старуха Овчинникова. Когда все остальные поравнялись с домиком, где жил Макар, на крыльцо вышла хозяйка, попадья Серафима, Макарова двоюродная тетка.

— Отправили никак? — закричала она. — Значит, верно Иван-мясник предсказывал?

— Ох, матушка Серафима, отправили! — сокрушенно ответила мать-казначей. — Видит бог, только отец Афанасий уговорил меня сестрицу Антонину в Кострому с ними отпустить.

— Как... сестрицу Антонину в Кострому? — ахнула попадья. — В уме ли ты, мать? Настоятельница любимую послушницу!

— Старец велел, Савватий. А наши не воспротивились... — мать-казначей заплакала.

— Ну, беда! Что-то мать-игуменья скажет! Ведь этот-то Александр-то Овчинников... тоже поехал?

— Да сие несущественно, матушка Серафима, — вмешался отец Афанасий, озираясь через плечо на бредущую следом старуху Овчинникову. — Нынче же вечером они в Кострому придут, а может быть, его еще и в Кинешме в какой-нибудь лазарет сдадут. Двигаться он не способен, мучения какие терпит, ведь рана большущая! Что ж худого, коли подаст ему сестрица Антонина в пути глоток воды испить? Ведь старец-то рядом... А из Костромы супруг твой, отец Николай, ее назад привезет. О чем же тут плакать?

— Ох, боюсь, ладно ли вы сотворили! Чует сердце, не к добру поездка эта!..

...Дома обе женщины, Макаркина мать и попадьяхозяйка, сторонясь мальчика, целый день тихонько обсуждали отъезд раненых и сестрицы Антонины с ними. Вечером же, помолясь поспешнее обычного, женщины не разошлись по своим комнаткам, а удалились вместе в теткину светелку. Макаркина постель была у самой стенки, и разговор весь был ему явственно слышен. На всякий случай мать заглядывала даже за перегородку, прислушивалась к дыханию сына. А Макар еще в корпусе развил до совершенства немаловажное искусство притворяться спящим.

— Набегался за день! — сказала мать. — Спит наш «помещичек». Не услышит... Экие же чудеса бывают на свете, как поглядишь вокруг! Ну, и послушница Антонина! Кто бы мог подумать! Годы совсем юные, а уже успела, бедная, и страдания претерпеть. Очень даже ей посочувствовать можно...

— Вот так-то милая, — нараспев подтвердила попадьях Серафима. — Так у них завсегда и бывает, у богохульников образованных, вольнодумных. Породили девку, кинули в мир и... потеряли! Спасибо, обитель святая дите пригрела, приголубила. Ведь отец-то ее, послушницы нашей Антонины, Сергей Капитонович Шанин, и сказать грех, кто: л е т а т е л ь! Вот-те святой истинный крест! От самой Тониной матери доподлинно узнано. На предсмертной исповеди при соборовании все отцу Николаю, благоверному

моему, выложила и в безрассудстве своем просила помочь беспутного родителя этого сыскать. Подумать грешно, чтобы детскую душу нехристю такому предать! Ну, да чего ее теперь осуждать, царствие ей небесное, в гробу что девочка лежала, такая молоденькая!.. Машей ее звали, дочерью была учительвой из Перми...

...Не все понял Макар из долгого повествования яшемской попадьи, но жизнь послушницы Антонины узнал во всех подробностях. Смутно, уже на краю сонной бездны подумалось ему, что живут люди на свете будто не по своей воле-выбору. Гнет их какая-то жестокая сила, и трудно вырваться человеку из цепких щупалец злой неправды. Неужто в мире зло сильнее правды? Одна она для всех или у каждого человека — своя? Знает ли человек, какая правда ему нужна?

Мать вернулась с хозяйской половины только под утро и сразу заметила открытые глаза сына, его настороженный взгляд, синеву усталости вокруг глазниц.

— Что с тобой, Макарушка? Или приснилось что дурное?

— Скажи, мама, — выговорил сын с трудом, потому что до сих пор не пробовал задавать такие вопросы. — В чем для людей правда? Почему дурные люди должны мучиться только на том свете, а хорошие мучаются на этом?

— То божий промысел за людские грехи, — подумав, ответила мать. — А правда для людей — в боге.

— А как ее узнать? Как самому поступать по правде?

Лицо матери, сперва удивленное и смущенное, стало принимать выражение значительное, почти торжественное.

— А ты в душе своей к господу обратись, спроси, как по его воле поступить. Или у служителя божия ответа спроси. Что тебе духовный отец подскажет, то и будет правдой. Уж тут господь до ошибки не допустит... Только сейчас рано еще, до солнышка поспи!..



глава вторая

ГОСПИТАЛЬНОЕ СУДНО «МИНИН»

1

После отвала из Яшмы послушница Антонина попросила врача осмотреть ее больных. Врач для начала оценил взглядом саму сиделку и сделался сразу очень любезен.

Он пошел за нею в каюту, отведенную лежачим.

Здесь было шесть коек с тощими рваными тюфяками. Под серыми, застиранными простынями и кое-как залатанными одеялами лежали «тяжелые». На попечении юной сиделки оказались, кроме монастырских, яшемских, еще два пожилых ополченца из крестьян села Солнцева Ярославской губернии и больной чуваш Василий Чабуев, мечтавший скорее попасть в городской лазарет, чтобы избавиться от грыжи. На войне Чабуев надорвался, вытаскивая из грязи артиллерийское орудие. Ополченцы Шаров и Надеждин попали на госпитальное судно «Минин» не без задабривания того же военфельдшера, что согласился принять монастырских больных в Яшме. У Шарова была недолеченная рана коленного сустава. Надеждин страдал от последствий контузии.

В селе Солнцева комбед уже выделил на их долю хорошей земли, отобранной у барина, Георгия Павловича Зурова, и соседи-ополченцы толковали только про новые, справедливые порядки, про десятины, пустоши, супеси и суглинки. Звали их домой жены, и призывные эти письма, зачитанные до разрывов на сгибах, снова и снова перечитывались и здесь, в каюте. Оба думали об одном: как бы скорее подлечиться и попасть домой.

Врач велел отнести старца Савватия и Сашку во временную операционную, устроенную в бывшем салоне. Ногу Савватию намертво закрепили в лубке, у Сашки проверили швы, наложенные монастырской яшемской фельдшерницей; врач сказал, что больной сможет встать недельки через полторы, потому что порваны одни мускулы, кость же и главный нерв целы.

Когда двое дюжих санитаров очень неосторожно принесли Сашку в палату, точнее, большую каюту, небрежно окрашенную белилами, доктор снова явился к лежащим и строго посмотрел на Сашку.

— Как это тебя, человека мирского, штатского, угораздило к монахиням, в монастырскую больницу попасть? Да и рана свежая, фронтов же поблизости как будто нет? Ну-ка, расскажи, как было дело, да без утайки!

— Хвалиться тут нечем, — мрачновато пояснил Александр Овчинников. — Дурь одна. С дебаркадера надысь перед пароходом сиганул, форс показать, да на лапу якорную под водой и напоролся. Спасибо, монастырские кровью истечь не дали. Да и вам спасибо за то, что в город везете.

— Как же тебе вынырнуть удалось с такой раной?

— Сперва, как напоролся, рванулся неловко, лапа-то сквозь бедро и прошла, а течением меня под водой развернуло, так что очутился я как стерлядь на самолловном крюке. Ни взад, ни вперед! А тут якорная цепь под руку подвернись! Ухватился, себя повернул, лапу назад из раны наладил, освободил себя с крюка, но приослаб — много крови, видно, потерял. А мысль одна — про пароход. Угодишь под днище или под колесо — пропал! Одно спасение — цепь.

Тут Сашка заметил, что сиделка Антонина прислушивается к разговору. Он сразу смолк.

— Ну и что дальше? — заинтересовался врач.

— Что дальше? Вылез, ребята к берегу пособили. Нашли, про что спрашивать! Людей перемутил, от дела отстал, других заставил со мной возиться. Женщинам пришлось меня волочить наверх, словно колоду. Хочу через денек-другой на костыли.

Врач покачал головой.

— Хочешь ногу сберечь — колодой и лежи по-камест. Рана болезненная и опасная, ногу надо в

лубке подержать, а от боли — впрыскивание сделать. Дня через три посмотрим, как поправка подвигается.

— В какой госпиталь вы меня положить хотите? — Сашка покосился на Тоню-сиделку. — Мне бы от наших, монастырских, не отстать! Пока не поправлюсь.

— Ну, уж там видно будет, куда попадешь! — буркнул врач неопределенно.

Пароход остановился взять уголь против томненской мануфактуры, ниже городских пристаней Кинешмы. Часть выздоравливающих с «Минина» помогала засыпать углем пароходный бункер.

Оказалось, что старец Савватий с переломом и Сашка Овчинников чуть не единственные тяжело-раненные на весь пароход. Антонина даже подивилась: эвакуируемые выглядят вполне здоровыми. Да и чистота на пароходе поддерживалась не по-госпитальному! Койки — разнокалиберные, белье — наилучшее. Сам пароходик мало подходил для целей медицинских, однако же мог бы вместить вдвое больше больных, чем их сейчас было на борту.

Закончив бункеровку в Томне, пароход отвалил от угольной баржи и тихим ходом подошел к городской пристани Кинешмы. Туда заранее отправилось начальство плавучего госпиталя.

Антонина, глядя из каюты, узнала на пристани начальника и военфельдшера. На мостках лежали и сидели раненые, готовые к эвакуации, однако госпитальные начальники не соглашались принять их.

Капитан «Минина» даже чалиться не стал, приказал подать на пристань одну кормовую чалку и стоял у переговорной трубки, готовый скомандовать в машину «Вперед!».

— Могу взять только вот этих пятерых легкораненых, ходячих, и то лишь потому, что мне уголь погрузить некому в Костроме! — кричал начальник госпиталя. — У меня персонал трое суток не спит с лежащими, на пароходе яблоку негде упасть от тесноты. Пятерых беру не причаливая. А ну, прыгай на борт, у колеса, живей! Ты прыгай, ты и ты, и вон еще те двое. Военфельдшер, прыгай за ними! Эй, там у трапа, подай руку товарищам! Пошел, капитан, вперед самым полным!

Начальник с военфельдшером последними вскочили на борт, и «Минин», расстилая по реке дымный след, отошел вверх, больные же... остались лежать на пристани. Антонина снова подивилась: и никакой тесноты нет на недогруженном судне, и уголь уже взят в Томне. Чудные порядки!

До ушей Антонины доносились и еще более чудные разговоры на борту. То и дело в обрывках фраз звучали французские словечки, обращение «господа», картаво приносимое слово «Россия». Антонина видела не больных солдат, как пациенты ее палаты, а лоцменов, манерных, барственного вида молодых мужчин, обряженных в солдатское обмундирование словно бы лишь для отвода глаз.

Однако у ящемской сиделки хватало забот с порученными ей ранеными. У Алексашки Овчинникова санитары при переноске неосторожно разбредили рану. Врач велел впрыснуть морфий. Он постоял у окна и заметил, как больной после впрыскивания удержал руку сиделки и неумело попытался поцеловать ее. Когда больной заснул от морфия, врач помянул Антонину к окну.

— Скажите мне, кто этот человек? Не из вашей родни?

— Нет, мне он не родня. Крестьянин, из слободских, зажиточных. Младший брат в семье. Старший брат, Иван Овчинников — барышник конский, человек богатый. А этот — у брата табунщиком, коней издалека перегоняет. Всегда в разъездах, в опасностях. Мать вечно за него в тревоге — ремесло, как изволите понимать, беспокойное.

Ответ как будто заинтересовал врача.

— Из зажиточных? Гм... А о ранении своем он правду рассказывает?

Антонина сказала, что сама была свидетельницей.

— Скажите мне правду, барышня, — допытывался врач, — а сами-то вы... как в монастыре очутились? При вашей-то внешности!.. Это одеяние ваше, простите, не маскировка?

По ясному взгляду девушки врач понял, что ошибся.

— Будьте со мною откровенны. Я убежден, что вы дочь благородных родителей. Где они? Вам ведь не более восемнадцати лет?

— Я — сирота. Лет мне действительно восемнадцать. Отец был военным летчиком. Звали его Сергей Капитонович Шанин. Еще до войны мы с мамой узнали, будто отец наш попал в ярославскую тюрьму как революционер. Жили мы с нею и дедом в Макарьеве, на Унже. После смерти деда мама продала макарьевский дом и поехала со мною в Ярославль, искать встречи с папой. В пути заболела, в Яшме нас сняли с парохода. У мамы оказался тиф, через неделю она скончалась. От меня это сначала скрывали несколько лет. Было это в 1912 году, шесть лет назад. Четыре года меня держала при себе, в служанках, владелица постоянного двора в лесу, у деревни Михайловки, а от туда я по своей воле пошла в монастырские послушницы. Питаю надежду найти там приют вечный. Мир меня страшит.

Врач покачал головой.

— Но что может связывать вас с этим раненым Александром Овчинниковым? Ведь это простой мужик, не общество для вас. Не могу ли я чем-либо важным услужить вам? Тогда, возможно, я тоже получил бы право... приложиться к этой ручке?

Но послушница Антонина недаром прошла у самой игуменьи, в прошлом светской дамы, целый курс, как следует держат себя в «миру». Чувство же собственного достоинства она унаследовала от отца с матерью, людей образованных и интеллигентных. Она ответила сдержанно:

— Сделайте милость, доведите нас троих, яшемских монастырских — работника нашего Ивана Губанова, увечного старца Савватия и меня, — до Костромы; помогите и этого раненого, Александра Овчинникова, в больницу определить, где вам самим сподручнее, а более ни о чем не извольте беспокоиться, если сами вы христианин и божиим людям желаете добра.

Врач неопределенно хмыкнул и отошел от окна каюты. Антонина получила на больных и на себя госпитальный обед: кастрюльку пшеничного супу с кусочками разваренной воблы, семь ложек перловой кашицы, семь ломтиков черного хлеба и семь кусочков сахара. Такая норма питания считалась улучшенной, госпитальной.

Пароходик шел быстро, разрезая волну своим

острым форштевнем, нигде не задерживался, кое-где смело спрямляя для себя фарватер на перекатах. Успокоительно вздыхала и мерно шумела паровая машина бельгийской фирмы. Антонина сдала посуду матросу на кухне и минуту постояла в каюте над Сашин койкой. Лицо больного было покойно. Прежде искаженное болью, все еще очень бледное, оно обрело после морфия выражение отрешенности от всех забот и мыслей.

Уж не кончается ли? С испуга она чуть не произнесла эти слова вслух. Вдруг ей до малейших подробностей припомнилось их непродолжительное и странное знакомство... Сперва — глухой лесной трактир, прозванный окрестными мужиками «Лихим приветом». Заметила Тоня, помогая хозяйке Марфе Овчинниковой, что та, соскучась темной лесной жизнью с нелюбимым мужем Степаном, старается приворожить частого гостя — лихого табунщика Сашку Овчинникова. А он и самой Тоне не на шутку полюбился, когда прислушалась к его разговорам, пригляделась к нему чуть пристальней... Понравился он ей своим стремлением к иной жизни, тем, что книгами интересовался, учиться хотел. Чем-то этот лихой, еще необразованный парень напомнил Тоне ее собственного отца. Ведь и тот был крестьянским сыном, сумевшим получить образование, стать военным летчиком-офицером, вступить в ряды революционеров и, как думала Тоня, отдать жизнь за счастье других людей.

Как только Марфа-трактирщица стала примечать, что Сашка начал на Тонечку пристальнее поглядывать, тут же и отослала ее в монастырь. Тоня же и сама понимала, что не век ей вековать в трактире лесном, а города после пережитого ее страшили, особенно когда матери не стало. Работу в монастыре ей дали нетрудную, на пасеке; обращались там с нею ласково, стали учить рукоделиям и пению...

...Сашка Овчинников пошевелился во сне, застонал. Тоня положила ему руку на горячий лоб. Отчетливо вспомнилось ей последнее их свидание с глазу на глаз.

Подстерег ее однажды Сашка на пути с пчельника в обитель. Было это прошлой весной, с тех пор они виделись только на людях, мельком.

Тогда же, на лесной тропе с пчельника...

Все краски первого цветения, все запахи весны, да-

же тихий шелест трав, свежих, незапыленных, задеваемых лишь черным подолом ее одежды, так и запечатлелись в сердце. Понурился Сашка Овчинников шел рядом. Слова искал с трудом, говорил тихо о своей любви к ней. Свет, мол, клином на тебе одной сошелся! Признавался, что дал было Марфетрактирщице себя завлечь, но понял, что настоящую суженую конем не объехать! Разом, мол, стороннее все кончил, оборвал, теперь за прошлое прощение просит, а за будущее головой и душой ручается!

Тоня ответила ему, что оправдываться ему не в чем, обещаний он перед алтарем никому не давал, только, мол, поздно теперь, коли она в монастыре утешение от сердечной горечи нашла, когда его к другой потянуло. И просила не смущать более ее души, не тревожить прошлого.

Он же взял тогда с нее слово последнее, что ежели бы, паче чаяния, приключилась с нею какая-нибудь беда или уйти пришлось из обители, то ни у кого она помощи не просила бы прежде, нежели с ним не повидается. Она обещание дала, но сказала, не приведи, мол, бог, коли понадобится бы это слово вспомнить. На том близ монастыря, в леске, расстались, и тут же Антонина-послушница все до слова матери-игуменьи пересказала. Тогда и перевела игуменью свою любимую послушницу с пчельника в монастырский приемный покой, к сестре Софии в помощницы. И в хор на пристанскую часовню, службе подпевать к пароходам, определила.

...Сиделка вдруг подумала, что этот спящий больной — теперь единственный в мире человек, кто видит в ней не нянюшку, не послушницу-монашку, единственный, для кого она еще не совсем божья, кто жалеет ее искренне и даже...

Она заставила себя отогнать эти мысли, перекрестилась и прилегла в плетеном кресле у окна. Все больные в палате спали крепким послеобеденным сном. Поставить для нее кресло в каюту распорядился все тот же внимательный военврач, доктор Пантелеев.

Пароходные колесные плицы шумели мерно и глуховато. Антонина уснула под этот успокоительный шум. Пробудилась она от чьего-то негромкого разговора на палубе, близ ее окна. Створка деревянного жа-

люзи была закрыта, но сквозь косые прорези Антонина смогла различить головы беседующих. Это были доктор Пантелеев и тот военфельдшер, что отбирал раненых для эвакуации, а в Кинешме вернулся на борт «Минина». К некоторому удивлению Антонины-послушницы, беседа велась на французском языке, довольно ломаном и скверном. Военные медики никак не предполагали, что беседу их сможет понять скромная монастырская сиделка, внучка учителя и дочь ученицы пермской гимназии. А Тонин отец, Сергей Шанин, владел французским не хуже жены и тестя! Он подолгу бывал во Франции по служебным авиационным делам. Девочка свободно болтала с ним по-французски, когда зимой он наезжал к семье из Парижа, Севастополя или Одессы в глухой провинциальный Макарьев.

— Часа через полтора уже Кострома, — говорил военфельдшер врачу. — Можно будет сделать остановку и высадить лишних. Надо освободится от балласта.

— Ну и произношеньице у вас, подпоручик! — вздохнул военврач Пантелеев. — Перед встречами с нашими французскими союзниками на Севере надо вам побольше практиковаться, а то засмеют, мон ами! Остаются до начала потехи считанные дни и часы. Муравьев в Казани определенно называл восьмое число, потому что союзники в Мурманске должны шестого получить подкрепление и высадить большой десант в Архангельске. Савинков будто бы уже полтора миллиона роздал, которые получил от Нуланса, французского дипломатического агента. Все союзные миссии теперь под рукой — в Вологде, это очень кстати. Не опоздать бы нам к началу... Как-никак доставим неплохое пополнение. Ваш рейд по красным тылам в роли советского военфельдшера надо признать удачным... Но, как вы полагаете, много ли попало на борт ненадежных?

— Нет, думаю, что немного. Отбор-то всюду сделан был заранее — и в Казани, и в Нижнем, и в Юрьевце, да и в Яшме. Там позаботился об этом Иван Губанов. В Кинешме чуть не сорвалось — мы рисковали получить там настоящее большевистское пополнение... Ну и несколько серьезных больных пришлось взять ради соблюдения госпитальной обста-

новки. На любой пристани могла быть инспекция. Результат: рыбинцы получают в нашем лице вполне боеспособную группу, когда выкинем больных ополченцев и старца с переломом.

— Знаете, подпоручик, насчет этого старца я несколько иного мнения. Не может ли он пригодиться в качестве... Ну, некого, что ли, идейного подспорья? Для бесед с колеблющимися солдатами, вообще верующими из крестьян? Видел я недавно листовки наши. Немцы на юге отпечатали для русских мужиков: «Бей жида-большевика, морда просит кирпича». Понимаете, с такой пропагандой мы далеко не уедем, а ведь именно идейная сторона всегда у нас слабовата в отличие от красных, чья главная сила — их идеи. Не попытаться ли поставить этого божьего старца на ноги к... началу дела?

— Что ж, попробуем подлечить для пользы службы, как говорится. Религиозное подспорье нам, конечно, нужно...

— Что представляют собой соседи Губанова? Вы их при вербовке прощупывали?

— Нет, в Яшме условия вербовки исключали надежную проверку, но прямых коммунистов там, кажется, нет. Пора Губанову потолковать с ними по душам. Пойдемте туда!

2

Сиделка Антонина и опомниться не успела, как оба собеседника вошли в каюту тяжелых. Сама она решила не шевелиться в кресле и не откидывать простыни, которой прикрылась от мух. В каюте похрапывали спящие больные. Монастырский служитель Иван Губанов сразу же востропел, как только военфельдшер осторожно тронул его за плечо.

— Тсс! — предостерег его военврач Пантелеев. — Пусть соседи поспят еще... Что выяснили о них, подьесаул?

— Фабричных тут нет, — заговорил разбуженный еипло. — Одни мужики. Кто охотой не пойдет, из-под палки заставим. Одно плохо: тут все не на шутку больные. Вот в чем промашка.

— Ничего, авось подлечить успеем. Каждый дорог. Вы-то сами как себя чувствуете? Неужели вас и вправду проклятый бык на рога поднял?

— Да вот, неважный из меня тореадор... Черт с ним, с быком и со здоровьем моим, лишь бы до пулемета дорваться, хоть лежачему... Кстати, обратите внимание на сиделку. Молода, но старательна и умела. Надо ее...

— Понимаю вас, — согласился военфельдшер. — Но, кажется, она очень привязана к старцу? Она ведь должна проводить его в больницу?

Доктор Пантелеев только губы скривил и кивнул на спящего после морфия Овчинникова:

— Если этот сгодится в дело, ручаюсь — и она не отстанет. Тут, похоже, целый роман намечается... Поэтому, полагаю, в Костроме сдавать его не следует, а к Рыбинску я его несколько подправлю.

— Насчет восьмого числа перемен нет? — спросил Губанов.

— Пока все по-старому. Но об этом потом. Мы вам тут и обмундирование прихватили, пора вам обрести натуральный облик. Подходим к Костроме, понимаете? Пока только эта ваша каюта и неясна. Потолкуйте с солдатами, подъясаул. Пойдемте, подпоручик!

Когда дверь каюты захлопнулась за врачом и военфельдшером, оказалось, что не только сиделка, но и раненые слышали последние фразы доктора Пантелеева. Все пробудились, лежали помрачневшие, озабоченные.

— Слышь, Михей, — заговорил Шаров, солнцевский ополченец, мечтавший о прирезке земли. Он хлопнул по плечу своего контуженного земляка и соседа Надеждина, тоже солнцевского ополченца. — Оказывается, нами здесь подпоручики и подъясаулы командуют. Вот оно как обернулось.

Надеждин неторопливо уселся на койке.

— Вас лекаря эти подъясаулом величали? — обратился он к яшемскому мяснику. — Из казачьего, стало быть, войска? Покамест скрываться изволили в Яшме, на монастырском скотном дворе? Или как вас еще понимать, ваше благородие?

— Да, ребята, — откашлявшись, начал подъясаул, достал портсигар с махоркой и предложил желающим. — Закуривайте, мужики, лежачим дозволяется и в настоящих палатах. Подымим да потолкуем... Большое дело повсеместно затевается, великое, свя-

тое дело. За матушку Русь постоять надобно. Ей, ребята, порядок нужен. Не тот, что большевики вводят. Они — германские агенты, а нам свой, российский закон нужен, чтобы кончить народные бедствия, власть установить для всех справедливую. Чтобы, значит, и свобода, а с другой стороны — порядок, и смуте — конец.

— Не знаю, какая власть господам-офицерам мила, а нам и нынешняя по душе! — тонким резким голосом почти выкрикнул Надеждин. — Только вот войну скончать желательно, торговлишку кое-какую открыть, хозяйство подправить — и живи всяк в свое полное удовольствие!

— Да кто тебе ее откроет, торговлишку? — рассердился подъесаул. — Кто на липовые керенки товар продаст? Кто фабрики пустит, управлять ими станет? Кирюхи да Митюхи? Уже довели эти Кирюхи-Митюхи страну Расею до ручки. Про такую разруху, как у нас, даже в библии не писано. Народ голодает, одни комиссары в Кремле с девками пируют. Да чем тебе такая власть по душе? Что ни среб — то и мое? Эх, дурачье вы темное! Нынче ты ограбил, а завтра у тебя награбленное отымут. Хоть, к примеру, ту же землю.

— Покамест не отымают, — заметил Шаров острожно. — Сеять велят. Не на барина. На себя.

— Землю тебе комиссары для виду дали, чтобы ты за нее ухватился и от хозяина ее оборонил, да хлебушек на ней вырастил. А как вырастишь — придет к тебе комбед и отымет весь хлеб до зерна. Попомни мое слово: лучше семь бед, чем один комбед! К тому же, мужики, на поддержку правому делу в России большая иноземная сила с моря и суши подошла. Не опоздайте показать, что и вы русские люди!

— Вот вы, ваше благородие, изволили сказать: беспорядки, — волнуясь и бледнея, но твердо говорил контуженый Надеждин. — А ведь мы, мужики, еще с пятого году к этому шли. Из наших, солнцевских, уже тогда многие тянулись к перевороту и за это от старой власти пострадали.

— А уж война эта германская, — вмешался Шаров, — самым темным из нас раскрыла глаза. Все постигли, что под гору Расея покатилась через жадность буржуазии.

— Теперь за старое в деревне никто не держит-

ся, — поддержал товарищей Василий Чабуев, чуваш. — Кто и держался за царя по старой памяти, тому напоследок Распутин безобразиями своими показал, чего эта власть стоит. Так что скажите, ваше благородие, своему начальству, пушай нас всех высаживают.

— И дурачьем темным нас при Советах-то никто не называл. Отвыкли от офицерского разговору, — съехидничал Сашка Овчинников.

Подъесаула взорвало. Он сел на край койки, спустил здоровую ногу на пол, а к другой ноге с отнятой ступней ловко пристегнул германский протез. В одном белье стал посреди каюты.

— Молчать! Еще поглядим, кто куда высаживаться станет. Пароход находится под командованием Добровольческой армии, понятно? А ну встать! — подъесаул ткнул пальцем в сторону Чабуева.

Тот презрительно усмехнулся.

— По моей болезни мне доктора вставать не велели.

Губанов стал натягивать платье военного образца, принесенное военфельдшером. Крикнул сердито сиделке:

— Чего не подойдешь? Обуться пособи, ботинок зашнуруй на протезе. Ну погодите, пропишу вам уже клистиры! Отец Савватий! Чего молчишь? Или за веру постоять страшишься?

Старец поднял сухонькую руку, похожую на кость, плохо обернутую в пересохший пергамент.

— Сказано в писании, — сказал он скрипучим голосом, — что всякую власть земную приемлем от господа бога. Не мне, пустыннику, людские распри судить и вершить. От сего мрака в скиты ушел сорок лет назад, насмотревшись на убиенных в турецкую войну, когда Плевну брали. Не тревожь, Иване, сердца малых сих, о душе помысли, не о мести единоплеменникам своим. Ступай с миром, одумайся!

— Т-а-а-к! — насмешливо протянул подъесаул. — Дождался от старца измены! Бусурманам проданся, осквернителю храмов! Ты, как тебя, барыга! Тоже в большевики записался?

— Покамест не писался, а с тобой рядом и барыге сидеть зазорно. Видывал я, как вашего брата и в Дону, и в Волге топили. Поищи других пристяжных, да на вторую ногу не охромей, гляди!

— Понятно, кто здесь под одно рядно набился! Сестричка! Пора тебе уходить отсюда. Идем со мною к начальнику.

— Куда я от своих больных пойду? Уж лучше вы сами от нас ступайте, людей на грех не наводите!

Подъесаулу явно не удался разговор по душам. Он рванул и с силой захлопнул за собой дверь. Даже перегородки дрогнули.

— Ох, ну и беды! — протянул Шаров. — Занесла нелегкая на пароход этот проклятый. Оно-то загодя можно было понять, что темные дела тут творятся.

— Быть того не может, что одни контры на пароходе. В команде сознательные есть, я знаю... — начал было Надеждин, но не успел договорить, как пароход дал несколько тревожных гудков.

Антонина отодвинула створку жалюзи.

Вечерние сумерки только начинали плотнеть. Темно-синяя Волга повторяла небо в тучках. Впереди отсвечивали первые огоньки большого старинного города на левом берегу.

Справа подходила к пароходу лодка бакенщика с фонариком. Несколько человек прыгнули с лодки на борт парохода. Бакенщик отчалил, машина заработала снова, «Минин» быстро набрал прежний полный ход против течения. Значит, Кострому — мимо? Раздумали господа-офицеры высаживать лишних после губановского разговора в каюте тяжелых?

В коридоре — топот, дверь каюты распахивается. На пороге — военврач Пантелеев и сам начальник госпиталя в кожаной фуражке. Позади — несколько человек в штатском, но выправка и хватка у них военная. У некоторых в руках револьверы. Хромой подъесаул Губанов держит обнаженную шашку так, будто готов срубить голову любому, кто воспротивится начальству.

— Слушать мою команду! Встать!

Шаров, Чабуев, Надеждин с усилием поднялись, стали у своих коек. Начальник сделал шаг назад, как бы освобождая дорогу тем, кто подобру-поздорову пожелает выйти.

— Солдаты российской армии! — заговорил начальник. — Вам дается возможность выполнить долг перед родиной. Судно следует в Рыбинск, где через

несколько дней взвезется знамя общерусской борьбы за родину и свободу. В наших рядах действуют старые революционеры и социалисты, крестьяне и мастера, солдаты и офицеры русской армии. Мы — не контрреволюционеры, мы — за русскую революцию, но без Ленина и большевиков, отнявших плоды февральской победы народа над царским строем. Мы не одиноки: на Севере высаживается новый десант англо-французских союзных войск. В Верхнем Поволжье и во многих северных городах российское население и гарнизоны поднялись против большевиков...

Начальник стал к двери боком, позволяя больным разглядеть его свиту, не расположенную шутить. Выдержал паузу и закончил так:

— Здесь, на пароходе, оказалось несколько агентов врага. Любой из них опасен как предатель и возможный доносчик. Все они разоблачены и обезврежены. В этой каюте с сего часа будет помещение для арестованных, временная тюрьма. Кто из вас, солдаты и граждане России, желает выйти и ударить с нами по врагу — бери вещи и... шагом марш отсюда!

Заколебался Шаров. На испуганном лице читались сомнения: как поступить? Ведь приказывают выйти! Куда же против силы?

Тут резко скрипнула койка: Надеждин, не устояв на ногах, рухнул навзничь в припадке. Чабуев подскочил, обхватил контуженого, не дал тому удариться в судороге об стену. Старец в страхе крестился и бормотал молитву — едва ли он даже толком уразумел речь начальника. Шаров опомнился, стал помогать чувашу уложить Надеждина. Припадочный уже бился на койке.

На помощь ему поспешила и Антонина. К двери никто из больных не двинулся.

— Видали притворщиков? — начальник мотнул головой в сторону строптивых больных в палате. — Значит, выйти никто не желает? Вы, оказывается, правы, подьесаул, тут свили себе гнездо одни большевистские агенты. Прибавьте к ним еще троих большевиков из команды. Осудим военно-полевым судом как дезертиров и лазутчиков врага. Окно — забить досками. Дверь — на замок! При попытке к бегству — расстрел на месте!

В каюту грубо втокнули еще трех человек. Сна-

ружи навесили замок, окно заколотили толстыми досками — заготовками для пароводных плит. Выставили часовых под окном и дверью каюты.

Узников стало теперь девять. Сделалось душно. При заделке окна досками стекло в раме разлетелось.

Но во всей этой сумятице менее других растерялась сиделка Антонина.

Она стала спокойно распорядиться. Двоим новым арестантам она велела занять свободную койку Губанова, а третьего, оказавшегося избитым, положила вместе с Шаровым. Проверила, сколько в бачке осталось воды, и запретила пить без позволения, обещала сама поить больных, потому что воды могут больше и не дать...

Так наступила ночь. В каюте было совсем темно, и лишь в крошечном просвете между досками, закрывшими окно, чуть золотел луч какой-то далекой и чистой звезды. Пароход, дробно молотя воду плитами, шел и шел вверх, мимо темных молчаливых берегов. Горели бортовые огни, звучали приглушенные разговоры и команды. Кого-то назначали в караулы, еще куда-то записывали. Распределяли оружие — на борту его было маловато.

И лишь в арестантской соблюдали осторожность, шептались неслышно. Больше молчали. Люди здесь — самые разные, даже говорить друг с другом им нелегко, так несхожи они между собою возрастом, характерами, судьбами. Но эти девять человеческих сердец стучали заодно, не в лад с четырьмя десятками остальных сердец, ожесточенных до отчаяния и пустых...

Так мнимое госпитальное судно «Минин» на рассвете шестого июля 1918 года подошло к пригородам древнего Ярославля, миновало зеленую пойму речки Которосли слева и без гудков причалило к самолетскому дебаркадеру под самым «Флотским спуском».

3

В каюте арестованных по-прежнему было совсем темно. Лишь только пароход причалил, с пристани на палубу явилось несколько человек. Обрывки фраз с палубы показались арестантам зловещими: пароход

встречен местными белогвардейцами. Голос начальника «эвакогоспиталя» выделялся среди остальных. По обыкновению он и здесь с кем-то заспорил, доказывая, что его пароходу еще в Казани, у Муравьева, было приказано прибыть к восьмому в Рыбинск.

Вдруг раздраженный, начальственного оттенка бас раздался прямо под окном каюты с арестантами:

— Да поймите же наконец, полковник, что вы теряете драгоценные минуты! Пока вы были в пути, ситуация изменилась. Приказано начинать здесь, сегодня. В Рыбинске командует нашими силами капитан Смирнов, а для общего руководства там же находится и Савинков. Но вы туда уже не поспеете к началу, и противник может перехватить вас по дороге. Срок везде перенесен с восьмого на шестое, то есть на двое суток раньше. Выгружайтесь и присоединяйтесь к нам. Повторяю: это приказ Перхурова!

— Где он сам?

— Уже у Всполья, перед артиллерийскими складами. Приказано сосредоточиться на Леонтьевском кладбище с ночи.

— Простите... но с кем имею честь?

— Генерал Карпов, с вашего позволения.

— Очень рад, ваше превосходительство! Господин подьесаул Губанов, скомандуйте высадку!

— Позволю себе доложить вашему превосходительству, — прозвучал голос Губанова, — у нас на борту есть арестованные большевики и красные агенты. Полагал бы разумным... без промедления... чтобы, как в народе говорят, сразу и концы в воду!..

Начальственный бас приглушенно:

— Лишний шум поднимать рано. Оставьте кого-нибудь покараулить эту мразь. Утром видно будет.

Чей-то молодой голос произнес слова: «Военно-полевым судом!» Бас рассыпался смешком:

— Помилуйте, каким там судом, до того ли!.. Просто не привлекая ничьего внимания и не поднимая шуму... Спешите с высадкой, господа, пока все спокойно! Ого! Ну, благослови, господи!

Откуда-то донесло выстрел, другой, третий. Застучал пулемет. Где-то пронзительно вскрикнула женщина...

Белогвардейский мятеж в Ярославле начался в предрассветный час шестого июля 1918 года.

— Сестрица! — шепотом позвал новый больной, когда разговор на палубе стих. — Что здесь за народ, кроме нас? Коммунисты есть?

Антонина перекрестилась. Слово показалось таким же страшным, как безбожник, и, верно, значило то же самое. Нет, конечно, никаких коммунистов здесь нет. Есть просто люди божие, монастырские и мирские, красных-белых нет.

— А рабочие есть?

Где-то ухнула пушка. Тут же в отдалении грянул разрыв.

— Граната, — сказал Чабуев. — Дивизионное, трехдвоймовое.

Он был артиллеристом из огневого взвода.

Неподалеку ударил пулемет тремя короткими очередями. Пули взвизгнули, посыпалось битое стекло на мостовую.

— По стене кирпичной хлестнул... Теперь, похоже, по булыжнику; значит, из броневигов. — Это определял вслух Надеждин. Его односельчанин Шаров съезжил на койке. — Сам-то кто? Коммунист? — поинтересовался Надеждин.

— Кандидат еще. Зовут Иван Бугров. Костромич. В Юрьевце у тещи гостил, там захворал, угодил из лечебницы на этот пароход госпитальный. Главное, и брать не хотели, сам увязался за ранеными. Вижу, военфельдшер-то вроде из бывших, я и вверни ему тихонечко «ваше благородие». Сразу подобрел, мигом принял в команду, кочегарить. Пришлось попотеть после хвори-то. Вот куда угодливость завести может, чуешь?

— А с тобой кто, остальные двое?

— Тоже из команды. Водники. Как смекнули, что это за эвакуогоспиталь, задумали доложить на берегу. Избили их — и сюда!

Бугров говорил тихо, но часовой в коридоре слышал голос, хоть и не понял слов.

— Смерти захотели, красная сволочь? Получай!

Пуля прошла на палец от головы Антонины, оставила аккуратное отверстие в наружной стенке. Через ровную дырочку ворвался в каюту розовый утренний луч. Часовой на палубе тоже щелкнул затвором, но с мостика капитан крикнул повелительно:

— Отставить стрельбу на борту! Город наш. Гля-

дите: броневики по улицам за красными гоняются. Спета их песенка!

Стрельба откатывалась к окраинам, но не стихала. Доносило выстрелы и с левого берега. Антонина помнила по рассказам, что там, на левом берегу, находится поселок Тверицы, где ярославский князь поселил пленных тверичей. В соседстве с Тверицами была железнодорожная станция Урочь, откуда слышались паровозные гудки и пулеметные очереди.

В каюте стали видны все предметы — из каждой щелочки тянулись золотые солнечные лучи. Время шло к полудню.

Капитан, что утром не допустил стрельбы на борту, громко произнес с мостика:

— Внимание! К берегу ведут пленных, по спуску, сюда, под откос. Часовые, приготовиться! Сейчас и за нашими придут, верно!

— Эх, сестрица, — с сожалением проговорил костромич Бугров. — Даже ножки от кровати оторвать не успел — все ж наkostenял бы напоследок какому-нибудь золотопогоннику... Ну, ребята, как поставят к стенке — чтоб под «Интернационал»! Слышь? Недолго этим победителям здесь царствовать, а нас народ не забудет, помянет...

Дверь отлетела в сторону. Из коридора гаркнули: «Выходи!» Шаров уже шагнул к выходу, но Бугров остановил его:

— Постой, постой, не больно спеши! Негоже больных на произвол бросать, парень! Их тут моментом штыками к койкам приткнут. Бери лежачих, клади на одеяла, берись каждый за конец. Старика сперва выносите, он легкий, втроем сдуйте. Теперь молодого бери. Ты, сестрица, за тот конец, а я с этого боку прихватчу. Пошли — и без паники!

Таща всемером обоих лежачих, старика Савватия и Сашку, арестанты покинули каюту, вышли на берег. Их подгоняли ударами прикладов и револьверов. Береговой галькой повели к паромной переправе.

С парома развернулась перед людьми картина города-красавца. Выходя к Волге руслами стародавних врагов, превращенных в плавные спуски, городские улицы Ярославля как бы ныряли под каменные арки мостов, протянутых вдоль набережных, выше зеленых береговых откосов.

Линию этих верхних набережных оттеняла липовая аллея, уходящая вдаль, насколько глаз хватал.

На Стрелке здание Демидовского юридического лицея издали как бы сливалось с мощным пятиглавием кафедрального Успенского собора. Из густой зелени городских садов, цветников и скверов уютно выглядывали шатры колоколен славной ярославской кладки и купола знаменитых церквей. Вдоль набережной красовались фасады особняков с балконами, резными перилами, итальянскими окнами.

Но в лучшем из городов Поволжья шла сегодня кровопролитная и беспощадная война! Слева, ниже лица, из-за ярко-зеленой поймы реки Которосли, образующей при впадении в Волгу красивый высокий мыс — знаменитую Стрелку, возникали дымки выстрелов. Это отстреливались из района Коровников красные дружины. Бой шел за городской мост через реку Которосль, неподалеку от Стрелки. Назывался этот мост Американским.

Справа же, где четко рисовались в небе огромные дуги металлических ферм железнодорожного моста через Волгу, самого большого моста, когда-либо виденного Антониной, бои шли с особым ожесточением — видимо, восставшие белогвардейцы во что бы то ни стало стремились захватить этот мост, рабочие же отстаивали его отчаянно. Запах пороха и гари достигал даже людей на пароме.

Кое-где с балконов нарядных особняков на Волжской набережной свисали прежние флаги, бело-синекрасные. Антонина заметила группу людей на колокольне затейливой церкви Благовещения — она отличалась от других церквей вычурными куполами. Одна из человеческих фигурок на колокольне вытянула руку, и тотчас кургузый зверь, будто осевший на задние лапы у ног фигурки, затарахтел, забился и опять притих. Это действовала пулеметная точка.

Паром приближался к дровяной барже, поставленной на якорь посреди Волги, против здания Арсенальной башни. Перевозчики еще не успели подвести паром к барже, как прошел над ним с воем пушечный снаряд. Антонина держала угол одеяла, служившего носилками для Сашки. Она невольно пригнулась от страшного звука: показалось, что снаряд нацелен

прямо в баржу. А костромич Бугров, державший одеяло за другой конец, ободрительно говорил:

— Не бойсь, сестричка! Если слышно, как летит, значит — мимо! Который сюда — того услышать не успеешь!

Пока паром неуклюже маневрировал, чтобы пристать к барже, еще один снаряд почти накрыл суденышко. Рядом с паромом поднялся шумный фонтан, что-то глухо ухнуло, конвойные заругались неистово... И как только паром стукнулся о дерево баржи, охрана кто прикладом, кто носком сапога, кто кулаком по загривкам погнала пленников на борт плавучей тюрьмы через один из прямоугольных оконных проемов, зачем-то устроенных в борту.

Паром оказался много ниже баржи, и даже с пародного трапа трудно было взобраться к проему. Антонина испугалась, что ей не втащить ношу по крутому трапу и не перекинуть через край проема. Удар прикладом угодил ей между лопатками, она споткнулась и упала лицом вниз, уже на палубу баржи, вернее, на узкий дощатый настил, изнутри опоясывавший баржу прерывистой полосой, пониже проемов.

Бугров успел подхватить тяжелого Сашку за талию и подал его наверх. Миг — и чьи-то руки приняли за Сашкой и носилки со старцем Савватием. С узкого палубного настила пленников согнали вниз, на грязное, залитое водой дно баржи. Она была загружена березовыми дровами на одну треть или четверть своей емкости. Среди поленьев, накиданных как поало, стали усаживаться и укладываться пленные.

Конвойные тотчас отплыли на пароме восвояси. Никакой охраны на барже оставлять не требовалось, потому что на берегу, в блиндаже у Арсенала, установили пулемет. И за этим станковым пулеметом «максимом», изъятым из Арсенала, расположился опытейший стрелок, в прошлом казак, по чину — подбесаул, недавний мясник, хромой пациент Антонины Иван Губанов, еще недавно — командир особой роты карателей, на время нашедший приют и покровительство в яшемском монастыре. Его отлично смазанный, лишь сегодня добытый с бою пулемет надежно обеспечивал охрану баржи с тремястами пленников-заложников!



глава третья

В НЕБЕСАХ, НА ВОДЕ И НА СУШЕ

1

Над темно-синими хвойными лесами дальнего северного Подмосковья полосой прошел веселый грозовой ливень. У летчиков Военного учебно-опытного авиаотряда шли к концу послеполуденные занятия по тактике. Слушатели все чаще отрывались от учебных карт с нанесенной обстановкой и поглядывали то на полотняный, потемневший от сырости потолок палатки, то на часовые стрелки. Как известно всем слушателям всех учебных заведений в мире, эти стрелки имеют удивительное свойство — застывать на месте минут за десять до конца последнего урока!

Именно в эти мучительные для слушателей последние минуты учений пилоты Первой эскадрильи уловили знакомый шум штабной «Индианы» — кроваво-красного мотоциклета, на котором обычно разъезжали адъютант или другие нарочные командира.

Дневальный у палатки, где велись занятия, первым увидел гонца. С пулеметным треском мотоциклет промчался от зеленого летного поля к палатке, поднял из свежих голубых лужиц два буруна брызг и затормозил перед пологом. Водитель приподнялся в седле, удерживая машину промеж длинных ног, обутых в высокие, зашнурованные от подъема до колена коричневые летные сапоги. Он сдвинул на лоб большие очки-консервы в кожаной оправе и скомандовал дневальному:

— Комэска-один Петрова — на выход! Срочно!

Командир Первой эскадрильи выглянул из палатки и по привычке протянул было руку за штабным

пакетом. Но адъютант не вручил комэску никакого письма, а выразительно указал на багажник с привязанной к нему тощей и засаленной подушечкой:

— Немедленно в штаб, к командиру!

На протяжении трех километров глинистой дороги комэску Петрову приходилось сосредоточивать все усилия на одном — как бы не потерять равновесия и не «ударить в грязь лицом» в прямом смысле слова. Водить мотоциклет Петров любил, как всякий летчик, но притуляться по-женски за спиной водителя терпеть не мог. За адским треском невозможно было говорить с адъютантом, но по его нервозности, даже по виду спины, согнутой будто под каким-то бременем, комэск понимал, что вести пришли нерадостные.

В бревенчатом домике штаба летчик застал командиров остальных подразделений. Он хотел пойти доложить о прибытии, но сам командир Отряда уже вышел к собравшимся в сопровождении комиссара и начальника штаба. Последний украдкой взглянул на часы — проверил, сколько времени понадобилось, чтобы собрать весь летный комсостав. Адъютант-мотоциклист в забрызганных сапогах развешивал за спиной командира карту-десятиверстку. Подставкой служила школьная доска.

— Обстановка осложнилась, товарищи красные летчики, — сказал командир. — Наш глубокий тыл перестает быть тылом. Отряд наш, как вы знаете, находится в Подмосковье для доукомплектации и тренировки летного состава, но положение на фронтах вынуждает командование ставить перед нами и боевую задачу. Начальник штаба, прочитайте приказ Высшего военного совета РСФСР.

В приказе говорилось, что в Москве и нескольких городах Верхнего Поволжья одновременно вспыхнули контрреволюционные мятежи. Командиру Военного учебно-опытного Отряда предписывалось привести подразделения в боевую готовность и, взаимодействуя с наземными войсками, участвовать в подавлении ярославской группировки противника.

Слово взял комиссар Отряда, высокий плечистый летчик. Он был чисто выбрит, подтянут, не делал никаких замечаний, пока говорили другие. В Отряде его считали одним из пионеров русской авиации, знали, что до войны комиссар конспиративно выполнял

за границей партийные задания, пользуясь служебными командировками во Францию. Перед началом войны он был арестован, находился в ярославской тюрьме, потерял связь с семьей и разыскивал ее. Говорили еще, что он отказался от крупного штабного поста в революционном Петрограде, чтобы не порывать с летным делом и не отвыкать от штурвала. Глядел комиссар, несмотря на проседь, еще довольно молодо.

— Насчет общей обстановки много толковать не стану. Сами знаете. В Мурманске — англо-французы и американцы ждут подкрепления и пытаются продвинуться на Архангельск, Котлас и Вологду. Пришли они на русский Север как союзники России против Германии, а сейчас превратились в активных интервентов и врагов Республики Советов. На Дальнем Востоке — японцы, высадились совсем недавно. На Украине и на всем нашем Западе — немцы. На Кавказе — белые националисты. На Дону — генералы Краснов и Мамонтов. На Средней Волге — чехословаки; на них глядя, в Сибири и на Урале оживились новые претенденты на власть. Все они — разных оттенков, но преимущественно одной масти — белой. Покамест только у нас, под Москвою, — продолжал комиссар, — да на Верхней Волге было тихо. И вот господа генералы выработали стройный план — перекинуть с Севера от англо-франко-американцев стратегический мост через Верхнюю Волгу на Среднюю, к чехословакам, то есть связать в один фронт англо-французских интервентов и мятежный чехословацкий легион. К этому плану приурочен, как понимаете, мятеж левых эсеров в Москве и дело в Ярославле. Москва, как спелая груша, должна упасть прямо в руки генералам Антанты.

Комиссар помолчал, обводя взглядом командиров. И хотя он лишь повторил то, что они видели перед собой на карте фронтов, слушатели потупились: уж очень невеселая картина! Внутри сплошного кольца — еще один синий флажок, чуть не рядом со столицей — в Ярославле!

— Однако, товарищи, красивый генеральский замысел уже терпит крах. Московский мятеж эсеров провалился. Подавлены попытки белогвардейских мятежей в Рыбинске, Костроме, Кинешме, Муроме. Только в Ярославле контрреволюционерам удалось

овладеть городом, захватить массу оружия, казнить советских руководителей. Есть сведения о гибели комиссара Семена Нахимсона и председателя губсовета Закгейма. Идут аресты и пытки наших людей. Хозяинчают в Ярославле кадеты, эсеры, меньшевики.

Снова возникла пауза — близко от штаба механики завели мотор, пробуя на малых оборотах. Комиссар прикрыл оконную створку и вернулся к карте.

— Товарищи красные летчики! Недаром в старину говорили: Ярославль-городок — Москвы уголок! Эта старинная формула обязывает. Будем драться за уголок Москвы. Пошлем сводную эскадрилью.

Летчики встрепнулись. Кто назначен? Кому лететь? Стояла полная тишина.

— Командование сводной эскадрильей доверено мне, — закончил комиссар. — Пойду на своем «сопвиче» с летнабом Ильиным. Пилотировать «фарман-тридцатку» будет комэск-один Петров, наблюдателем и фотограмметристом слетает с ним замкомэска-два Крылов ввиду особой важности задания. Для связи прибавим еще «Ньюпор-24», пилот Шатунов. Этот аппарат, как вы знаете, одноместный. Итак, к 18 часам перегнать машины в расположение Первой эскадрильи для проверки готовности к вылету. Предварительно получить на складе динамитные бомбы, по шести пудов на машину! Действуйте, товарищи!

Тем временем начальник штаба Отряда сделал новую пометку на карте и позвал адъютанта.

— Составьте и вручите шифровальщику телеграмму для передачи в Москву, Вышшему военному совету, на имя Бонч-Бруевича М. Д. Пишите: «Командир Отряда выделил эскадрилью из трех самолетов для поддержки наступления на Ярославль. Разведывательный полет с первым бомбометанием назначен на завтрашнее утро. Командование авиагруппой поручено комиссару Отряда красному летчику Шанину».

На следующий вечер в штабе Отряда пилоты и летнабы сводной шанинской эскадрильи рассматривали при керосиновой лампе влажные еще отпечатки фотоснимков, сделанных с воздуха в Ярославле.

На фотографиях отчетливо получились ломаные линии окопов вдоль Волжской набережной, огневые точки на подступах к железнодорожному мосту через

Волгу и сильные укрепления противника близ станций Филино и Урочь в Заволжье.

Чернели на снимках зияющие провалы среди городских кварталов в центральной части. Установили, что все колокольни города служат противнику огневыми точками, их насчитали всего до 400, главным образом пулеметных. Здания Духовной семинарии, вахрамеевской мельницы и бастионы Спасского монастыря превращены в крепости. Дым пожаров сделал неразборчивыми отдельные участки на снимках, но, взявши лупу, можно было разглядеть на улицах фигурки в шляпах, мужских и дамских, — это прогуливались состоятельные горожане.

Видны были извозчики, три легковых автомобиля, велосипедисты-самокатчики и до эскадрона конницы. Два броневедомока, артиллерийские позиции у Демидовского лицея и церкви Николая Мокрого. Небольшое скопление публики наблюдалось на Некрасовском бульваре около повозки с плакатом. Лишь позднее перебежчики помогли расшифровать эту деталь: оказалось, что городские власти возили по улицам для устрашения и вразумления ярославских горожан тело расстрелянного военного комиссара Нахимсона.

На рябоватом просторе Волги, захваченном объективами воздушных фотографов, было почти пусто. Действовала переправа — буксирный пароходик волок плоскодонный паром в заволжский район Тверицы, находящийся у белогвардейцев. Какой-то остроносый пароходик притулился у самолетской пристани. И еще одно судно сиротливо чернело на стрежне, против здания Арсенала, между паромной переправой и стрелкой реки Которосли.

Это была забытая баржа-гусяна, походившая сверху на глубокую лохань. На дне ее валялись дрова, спали вповалку какие-то люди и чуть отсвечивала вода. На снимках баржа вышла плоховато — ее заволокло дымом пожаров, полыхавших на обоих берегах Волги. Рассматривая фотоснимки реки в районе боев, командир сводной эскадрильи Шанин особого внимания на эту баржу не обратил...

2

Чтимый в Поволжье Иванов день пришелся по новому календарю на 7 июля и совпал с воскресеньем.

Во всех двадцати церквях и двух соборах губернского города Костромы благовестили к ранней обедне. По случаю праздника не курились дымами трубы механического завода у вокзала, на Правобережье, не гремели по булыжным мостовым кованые железом колеса ломовых подвод, замерли визгливые пилорамы на лесопильне, и речной ветер свободно разносил звучную колокольную медь по дальним пригородам и присельям Костромы.

На паперти Успенского собора перешептывались нищие, убогие и калеки, приковылявшие затемно. Всяк знал свое место на ступенях и загодя старался отеснить подальше от дверей всех тех, кто послабее и потише, особливо нездешних, пришлых.

Нищие сразу углядели опоздавшую даже к обедне супружескую чету крестьян-стариков в запыленной одежке-обувке, с сумками через плечо. Таким бы самое место — соборная паперть, а они внутрь храма поперли! Старик скоро поднялся с колен перед распятием, а женщина еще долго била поклоны, плакала и тихонько подпевала хору.

Замечено было, что руки у этой богомолки пухлые и чистые, самые барские, и супругу своему она шептала слова не по-нашему, он же ей отвечал сердито: «Ма шер, поторопись, нам пора».

Нищие удивились бы, узнавши, что для этой четы греется в одном городском особняке вода для ванны, раскрыты чемоданы с дорожными костюмами не крестьянского покроя и закладывается в тарантас пара лошадей. И кучер предвкушает немалые чаевые: подрядился довести часа за три до села Красного, а это верст тридцать с гаком! Оттуда — вниз, рекой...

Где ж было догадаться нищей братии, что замеченный ими крестьянин не кто иной, как отставной обер-офицер Борис Сергеевич Коновальцев. Лишь сутки назад, в ночь на 6 июля, он вдвоем с супругой покинул мятежный Ярославль с особым поручением от самого Георгия Павловича Зурова, владельца поместья Солнцево. Поручение, с которым Коновальцев спешил в слободу Яшму, заключалось в том, чтобы немедленно найти там юношу Макария Владимировича и вместе с матерью доставить к троюродному дяде-благодетелю в Ярославль, где полковник Зуров желал держать мальчика поближе к собственной особе.

Ведь город удалось захватить за несколько часов без всякого участия французских или английских войск, высаженных в Архангельске или уже готовых к высадке. Эти союзные войска, узнав о крупном успехе белых сил в Ярославле, немедленно двинутся на соединение с ними. Глядишь, неделки через две ударят и в Московском Кремле уцелевшие колокола и патриарх Тихон провозгласит многая лета войскам Перхурова Ярославского, равно как и англо-французским освободителям столицы. Вот к этому моменту и должен быть под рукой полковника Зурова юноша Владимирцев, чтобы кто-нибудь другой не воспользовался его неопытностью и не попытался злоупотребить его положением юридического владельца Солнцева.

Подумал Борис Сергеевич и о себе, вывез из города, ставшего так внезапно фронтовым, кое-что ценное из собственного имущества. Сперва, уже за Волгой, добрались до Солнцева. Местный священник, отец Феодор, снарядил чете Коновальцевых лошадь и таратайку. Пятьдесят верст от Солнцева до Костромы проделали за ночь. В собор пришли к обедне в дорожном маскараде — не дай бог, не узнал бы кто-нибудь из красных беженцев или ярославских коммунистов. Береженого бог бережет! А в Ярославле остался старший сынок Николенька, поручик-артиллерист. За него и молилась в соборе Анна Григорьевна Коновальцева. Сама она решила переждать ярославскую грозу у родственников в Кинешме, пока супруг отвезет в Ярославль Макария Владимирцева.

Тем временем сам «владелец» Солнцева, босой, в заплатанных парусиновых штанах и порванной синей рубашке в белый горошек, весьма неуверенно поднимался по лестнице-стремянке, что вела почти к самому крыльцу тетушки Серафимы. Макарка задерживался на каждой ступеньке, оттягивая возвращение домой. У него были неприятности.

Понедельник 8 июля выдался таким жарким, что все Макаровы сверстники еще с утра торчали на берегу, у разохшейся лодки. Ее превратили в самолетский пароход «Князь Иоанн Калита», и Макарка был штурвальным. Заигрались так, что не слышали обеденного колокола. А когда поняли, что обед прошел, — нельзя же было лезть на откос, даже не испугавшись!

Купание затянулось, от ныряния и прыжков в воду крутились в голове какие-то колеса. Предстоит нагонять за опоздание, и рубаха как-то порвалась в игре. Хорошего впереди было мало, он не спешил!

Однако дома его ждала встреча столь неожиданная, что все разом переменялось. Оказывается, у матери сидел важный гость из Ярославля. Пенсне, стоячий бобрлик волос... Макар узнал его с первого взгляда: опекун Коновальцев Борис Сергеевич. Мигом припомнился корпус, зуровское поместье, Ярославль... Сердце у Макара екнуло и захолонуло.

Еще ошеломительнее оказались свежие распоряжения, привезенные гостем: не далее как через час, ближайшим парходом, Макару и его матери предстоит отъезд в Ярославль.

Мать покорно собирала в дорогу свое и Макаркино летнее имущество. Нехитрая кладь уместилась в пузатом саквояже и круглом бауле.

Никто не пошел их проводить к унженскому парходу. Благополучно сели, вечером миновали Кинешму, а в Костроме пришлось пройти проверку.

Однако и та прошла спокойно. На Макара и его мать проверяющие не обратили внимания, а опекун прикинулся таким больным и расслабленным, что контроль не только дал разрешение проследовать к родным в Диево Городище, но даже помог всем троим сесть на тихоходный моторный баркас. Через два дня высадились в Диевом Городище. До Ярославля оставалось двадцать верст, но, разумеется, путники скрывали свое намерение попасть в мятежный город. Нужно было с осторожностью искать какой-нибудь оказии.

И она подвернулась!

Близ устья речки Шиголости появилась лодка бакенщика. Оказалось, что Семен-бакенщик служит в Ярославле, имеет там будку на левом берегу и рыбацкий шалашик на Нижнем острове. Коновальцев упросил принять всех троих на борт, и Семен-бакенщик согласился при условии, что грести помогут, а расчет за провоз будет произведен не керенками, а солью и табаком.

— Ну а как дела-то в Ярославле? — осторожно осведомился в пути Коновальцев.

— Нам, мужикам, в тех делах интересу нету, — хмуро отвечал Семен. — Да вскоре сами увидите, хо-

тя лучше бы вам туда и не соваться. Будем ближе подплывать — пригинайтесь, а то ежели заметят — застрелят. Вон, гроза вроде собирается — она проскользнуть поможет...

В первых сумерках 11 июля перед потрясенными путниками предстал знакомый город в озарении грозных зарниц, пожаров и артиллерийского огня. С песчаной отмели Нижнего острова трое вновь прибывших с ужасом глядели на пылающий Ярославль. Макаркина мать утирала слезы.

— Говорил вам — чистый Содом и Гоморра! — ворчал бакенщик Семен, перетаскивая пожитки в шалаш, сплетенный из лозняка. — Предупреждал, говорил — а вы все свое! Мол, вези в город!

Борис Сергеевич просто онемел. За шесть суток такие страшные разрушения! Можно ли надеяться, что Николенька жив? А Зуров? Мыслимо ли искать его в таком аду? Коновальцев сразу решил, что соваться самому нельзя.

Макар пошел на мысок отмели с Семеном проверить переметы. В воде, у самого берега, они заметили сучковатое березовое полено, а за ним Макарке почудилось какое-то движение, легкий плеск и бульканье. Не крупная ли раненая рыба?

Семен-бакенщик вошел по колено в воду и ахнул от неожиданности. В следующий миг довелось Макару испытать великое потрясение. Вместе с бакенщиком и матерью стал он оказывать помощь бесчувственному, полумертвому человеку, которого с грехом пополам удалось вытащить из воды...

Часа два спустя бакенщик Семен уложил в лодку свежий улов стерлядок, а Макарка напялил на себя Семенову брезентовую куртку, поглубже спрятал в кармане записку Коновальцева, адресованную Зурову, и под черной грозовой тучей пустился на лодке к правому берегу, озаренному пожарами и орудийными залпами... Мать Макара до тех пор слала сыну вслед благословения и крестные знамения, пока лодочка не потерялась из виду в предгрозовой мгле.

3

С того часа, когда партия арестантов из города попала на борт плавучей тюрьмы, паром приставал к барже еще дважды, высаживая новых арестантов, но

ни разу заключенным не давали поест. Потом перестали привозить и новых узников. Вести с воли прекратились, надежда на спасение угасла. О событиях гадали по звукам боя, видеть же узники могли только небо над головами, серое от копоти и дыма или черное в зареве огней.

Лежа на груде поленьев, Сашка Овчинников думал только об одном: как выручить отсюда Антонину. Сосед Овчинникова, Иван Бугров, помог Антонине сложить из поленьев подобие ложа для раненого Сашки и больного старика Савватия. Поднимать себя наверх Овчинников не позволил.

— Хватит со мною нянчиться! Небось уже затянуло рану. На мне, бывало, все как на собаке заживало и отсыхало. Пора костыли ладить, а то могу и ползком.

Антонина всплеснула руками.

— Не слушайте вы его! Ему еще позавчера вспрыскивания были. На пароходе еле допросилась перевязки. Куда ему ползать да костыли ладить? Погубить себя только!

Костромич Бугров утешал и сиделку и раненого:

— Дуришь, парень! Радуйся, что швы целы и нога в лубке! Силушку береги. Война впереди еще долгая.

— Располагать надобно не дольше как до часа расстреляния или потопления нашего вместе с сим ветхим ковчегом! — вмешался как-то в разговор Бугрова с Сашкой старец Савватий. — Прости им, господи, обидчикам нашим, ибо во злобе своей не ведают, что творят.

— Нет, дедушка, — успокаивал старца Бугров, — для расстреляния нашлась бы стенка и на берегу. Уж коли загнали нас сюда беляки, значит, не схотели у всего города на виду нас в расход пустить, в мучеников обратить. Потому и утопить такую лохань серед Волги, на глазах населения, родственников — тоже непросто. Но, конечно, может, и придется поплавать — вот и надобно силушку беречь.

Понемногу Сашка убедился, что и среди арестованных горожан не так-то много настоящих «партийных». Вместе с работниками советских учреждений белогвардейцы схватили их родителей-стариков, жен, родных, а то и просто чем-то не угодивших им горожан. Разом разгромить всю красную силу в городе мятежникам не удалось, значит, сопротивление будет

возрастать; те на барже, у кого хватит сил претерпеть лишения до конца, смогут спастись.

Но разве Антонина помыслит о собственной участи? Вон, ладит повязку пожилой женщине, у которой кровоточит ссадина. Не пожалела остаток бинта...

Овчинников неустанно наблюдал за происходящим вокруг. Он заметил, что заключенные, не сговариваясь, молчаливо признают некоторых людей как бы за старших. К таким людям принадлежали, скажем, сосед-костромич Иван Бугров, ярославский железнодорожник со станции Урочь Смоляков, другой рабочий — Иван Вагин, губкомовец Павлов, сотрудница военкомата белокурая Ольга. Никто не выбирал их в начальники, и сами они не выделяли себя из толпы, даже не старались распорядиться, но именно к их словам прислушивались, сообщениям верили, советы исполняли. Поступки их становились примером.

Сашка еще не сознавал разумом ту силу, что соединяла этих людей будто невидимой нитью. Но он чувствовал, что сила эта придает им спокойствие, словно они знают что-то такое, во что остальные не посвящены. Сашка про себя называл их «товарищи старшие» и определил, что среди трех сотен узников баржи их едва ли наберется десятка полтора.

В городе все чаще ухали пушки, пулеметные очереди иногда сливались в неумолчный вой. Поблизости от баржи сочно хлопала вода, заглатывая осколок гранаты или пулю. Смачно чокнет пуля пониже ватерлинии, и под дровами вдруг булькнет новая струйка... Появились и первые жертвы обстрела.

Чуваш Василий Чабуев погиб, когда пробовал зачерпнуть из-за борта волжской воды. Потом сыскали бидончик на корме и расплели обрывок причального каната. Смогли добывать воду уже без риска, но тут Шаров решил тронуть охрану жалобными воплями — высунулся из проема и стал громко молить: «Хлеба! хлеба!» Вымолил только губановскую пулю и лег вторым в дальнем конце трюма рядом с Чабуевым. Вскоре там лежало уже пятеро...

Однажды вечером, в полутьме, Сашка решил серьезно потолковать с Бугровым. Силы тают, пора что-то делать!

Но, взглядевшись получше, Сашка различил по соседству лишь белевшие поленья — ложе Бугрова пус-

товало. Сашка поискал глазами Ольгу — тоже не обнаружил. Куда-то на корму пробирался Иван Вагин и дружелюбно улыбнулся мимоходом ящемцу. Похоже было, что все «старшие» поодиночке направлялись на совет...

...Овчинников медленно сполз со своего ложа. Старец Савватий спал. Чернело на груди поленьев монашеское одеяние Антонины — она тоже заснула и не смогла помешать Сашке пуститься в это его первое путешествие по барже. Волоча ногу и сгибаясь в три погибели, потя от слабости, Сашка заторопился, как мог, следом за Вагиным...

Позади штабеля с телами жертв шло летучее заседание партийной группы заключенных. Коммунисты только что выслушали сообщение помощника ярославского губвоенкома Полетаева — его привезли с последним паромом. Он рассказал о гибели Нахимсона и Закгейма, о новых приказах, что уже расклеены по городу за подписями «Главного начальствующего вооруженными силами северной Добровольческой армии Ярославского района полковника Александра Перхурова».

— Что это за полковник и что он приказывает? — спросила Ольга.

— Офицер, дворянин, тверской помещик. Упразднил у нас Советскую власть. Все отменил: и милицию, и комиссаров, и земские комитеты. Чистый орел!

— Так земские-то комитеты не Советская власть вводила, а Керенский, — заметил Павлов, депутат губкома.

— Все равно, не признал комитетов полковник Перхуров. Полицию ввел, старост, исправников. Только царя Николая на ярославский престол не возвел. Решил подождать, пока эсеры в Москве кремлевские соборы у большевиков отберут. По дороге мы спросили у начальника конвоя, какая сейчас в городе власть.

— Что же он вам ответил, товарищ помвоенком?

— Все чин чином растолковал. Говорит, Союз защиты родины и свободы покуда установил в городе военный порядок, а потом Учредительное собрание утвердит новую государственную власть, гражданскую. Мы его спросили: сами-то вы, ваше благородие, какой партии? Отвечает: я социал-демократ, только без жи-

дов, Советов и без комиссаров. Тэже орел! Под статью главноначальствующему.

— В Рыбинске, слышать, то же самое, — вставил рабочий Пронин, металлист из Твериц. — Про это в тех приказах тоже напечатано... Бои, похоже, затягиваются, люди у нас на барже надежду теряют, слабости поддаются.

— Не попытаться ли с берегом связаться? — сказала Ольга. — Может, плотик из поленьев соорудить, послать кого-либо на берег? Неужели никто не добивается, чтобы нам хоть от родных передачу разрешили? Сердце болит, как в старушке своей подумую, ведь ей нас из окошка видно: на набережной дом!

— Что ж, — ответил помвоенкома Полетаев, — может, мысль твоя правильная, подумаем. Но пока надобно народ просто от черных мыслей отвлечь, приободрить. Тут на носу есть мужчина в темном пиджаке, работник музея. Я прислушался, когда он про наш город рассказывал. Мне думается, пусть бы погромче для всех рассказал про наши достопримечательности, про старину нашу.

— Ну, насчет церквух разных старец монах небось почище музейщика наплел бы, — заметил сердито Пронин. — Где какие мощи святые да какой праведник спасался. Ох, видел я, пока нас сюда из каземата вели, как эдакий монах-праведник из пулемета очереди давал.

— Из Спасского монастыря не одни офицеры стреляли, а с монахами вместе, — подтвердил и Вагин. — Теперь погворка даже пошла в городе: «что ни попик, то и пулеметик». Кстати, какими судьбами к нам монахи и монашка попали?

— Это я могу пояснить, — сказал Бугров. — Старик офицеру казачьему возражать стал: дескать, не его стариковское дело беляков на брань благословлять. А сиделка раненых не покинула. Их обоих под горячую руку с нами в один кузовок и толкнули. И скажу вам так, товарищи: сестрица, сами видите, хорошая, заботливая, никому в помощи не отказывает, да и пригожа больно — что глаза, что бровки! Будто нарисованные! Такая только глянет на тебя, улыбнется — и то сразу на душе легче!

Все засмеялись.

— Небось приучили ее нас за зверье считать, —

начал было Пронин, как вдруг из-за штабеля высунулась чья-то рука и легла на плечо Бугрову. Все с удивлением узнали раненого Сашку Овчинникова. Почти невидимый за шпангоутом, он тихонько подобрался к сидевшим коммунистам.

— Ты что, Овчинников? — в недоумении спросил Бугров. — Чего тебе?

Сашка внимательно оглядел серевшие в сумраке лица, подольше задержал взгляд на Ольге. В руках у нее был карандашик и книжка курительной бумаги: пока не стемнело, Ольга делала себе пометки. Овчинников примостился на полене рядом с Ольгой и сказал:

— Пишете, значит? Что ж, запишите и меня.

— Куда тебя записать, товарищ? — удивился Полетаев. — У нас здесь сейчас партийное собрание. Вот кончим и тут же с тобой потолкуем. Погоди маленько.

— Нечего и годить. Пишите и меня в ваше собрание. Чтобы и мне, стало быть, считать себя партийным. Пишите так: Овчинников, Александр Васильевич, с 1897 года. Еще чего вам про меня знать надобно?

— Ты хочешь в коммунисты записаться? — переспросил помвоенкома. — Так тебя понять?

— Да. Желаю вступить.

— А ты кем на воле был?

— Крестьянин я. Из села Яшмы.

— Бедняк? Середняк? Ведь крестьяне разные бывают.

— Отец вроде бы середняком считался. А я еще своего хозяйства не имею, на брата работаю. По конской части.

— А брат твой?

— Этот справный, Овчинников, Иван. По конному делу первый у нас заводило. Только я его делов знать больше не хочу. Уйти надумал из села. Учиться.

— Ну а в политике маленько разбираешься? Знаешь, что по этой части с коммуниста спрос немалый?

— Разбираюсь плоховато, а научиться желаю. На счет белых-красных вроде бы разобрался, на то мужику большого ума не нужно.

— Газеты читаешь? Ленина знаешь, слыхал?

— Слыхал. Всей красной силе — голова.

— Разрешите мне, — вмешалась Ольга. — Вот, по-

нимаешь, Овчинников, если придут сюда, на баржу, белые офицеры, они раньше всего скоман্দуют: коммунисты, комиссары, жида — два шага вперед! Это может случиться ночью этой, через час, завтра, в любую минуту. И должен будет коммунист, не дрогнув, голову сложить за народ. Ты подумал об этом?

— Как раз об этом и подумал. И так решил: с вами держаться. Все сумею, как подобает. Не сумлевайтесь. Пишите!

— А в бога ты веруешь, Овчинников?

— Конечно дело, верую! Что же я, зверь?

— А знаешь, что коммунисту верить в бога не положено?

— Стороной и про это слышал, только не может того быть, чтобы Ленин запрещал совесть иметь. Какой же человек без веры, без совести? Никакой цены такой шаромыжник не имеет.

— Вот видишь, Овчинников, какой ты, оказывается, еще несознательный товарищ? Владимир Ильич, товарищ Ленин, пишет и повторяет, что религия — опиум народа. Понял? Опиум — значит дурман, яд. Буржуазия отравляет ядом ум трудящихся, чтобы сделать их покорными. Бог для порабощения твоего выдуман, и только. Ясно?

— Не, не ясно. Много добрых людей верует. Вон хоть Антонина. У нее отец-мать образованные были, а она — верует. Ведь я как понимаю: человеку понятие нужно иметь, что грех, а что дозволено. А без бога как понимать грех? Почему не украсть, не убить? Отстанет народ от совести — разбалуеться вовсе. А ты — опиум! Чем ты без него человека в рамках удержишь? Выходит, тогда и на клятву, и на присягу плюнуть можно?

— Вот что, Овчинников, — сказал помвоенкома. — Это разговор очень интересный и нужный, но долгий. Сейчас, понимаешь ли, просто некогда. Наступил трудный момент. Мертвых надо убрать, уже крайняя пора, а к борту и проемам не подступишься. Надо у людей дух поднять, надежду укрепить. Подумать, как будем дальше бороться, как и чем нам от пуль защититься. Об этом сейчас у нас и речь.

— Что привело тебя сюда, Овчинников? — спросила Ольга.

— То и привело, что замечаю — о людях у вас

забота, о спасении. И я все время про это думаю, планы строю. Имею еще силы немножко. Если что надумаете — я с вами. Что поручите — все исполню.

— Да ведь не с нами ты, Овчинников, а с господом богом, — сказал Смоляков. — Ты богу слуга, не людям. И поскольку ты знаком с Бугровым подольше и поближе — советуйся, он тебе многое растолкует, чего ты сегодня еще не понимаешь.

— Ну а в партию-то вы меня записали?

Смоляков привстал, давая понять Овчинникову, что он становится лишним.

— Вот что, парень! Здесь сейчас — фронт, а коммунистом на фронте может быть только самый верный, проверенный человек, кому дороже всего — знамя революции, какая бы гроза ни трепала это знамя. Притом человек, свободный от темных предрассудков и пережитков. Потом сам поймешь это.

— Постой-ка, Смоляков, — сказал Бугров. — Парня этого я маленько знаю. Никак господин подъесаул с ним общего языка найти не смог. А мы, думается, должны найти. Считаю так, товарищи: надо уважить просьбу. Здесь каждый, кто до смертного часа остается верен делу революции, достоин считаться коммунистом, коли сердце его того требует. А билет на берег выдадим. Предлагаю принять Овчинникова Александра и оговорку сделать, чтобы потом занялся изживанием своих предрассудков.

— Какой же из него сейчас коммунист? — Смоляков с сомнением покачал головой.

— Правильно, Смоляков, — поддакнул Пронин. — Эдак Бугров и попа, и монашку — всех вовлечет.

— Нет, неправильно! — горячо вмешался Иван Вагин. — Старый поп и монашка к нам не пришли и не придут, они на барже элемент случайный, чистые попутчики. У этого же парня просто путаница в башке насчет совести и божественности. Я так думаю: церковной божественности у него в мозгах и помина нет, а совесть бедняцкая, рабочая, русская у него есть, она его сюда и привела. Он у нас фронтовик и партию не обманет. Я, Бугров, Павлов — мы «за». Ставьте на голосование!

— И я проголосую «за», — сказала Ольга.

— А скажи-ка мне, товарищ Овчинников, еще одну вещь, — с ноткой лукавства вдруг остановил го-

лосование помвоенкома. — Если, может, доведется нам покидать эту баржу на плотках или, там, на лодках... К примеру, если бы самому тебе удалось с берега сюда лодку подогнать... Кто же, по-твоему, должен бы в первую очередь уплыть? Кого бы ты первым спасти решил?

Вопрос озадачил Сашку. Он обвел глазами бледные лица сидящих, смутно различимые в отсветах пожаров. Сказать ли этим людям правду о своих планах и мыслях? Ведь здесь, наверное, есть такие люди, кто нужен на берегу, где идет война... Их-то и нужно бы выручать отсюда в первую очередь, а не девушку-послушницу монастырскую, которую он, Сашка, на беду свою полюбил больше собственной жизни!

— Говори, Овчинников, — мягко поторопил своего подшефного Бугров. — Не смущайся, говори на партийном собрании и вообще всегда только правду. Так кого же спасти сперва?

— Думается, кого... постарше и послабее, — выдавил Сашка неуверенно.

— А может, сами сперва спасемся, а уж потом оттуда, с берега, придем на выручку старым и слабым, если они к тому времени не помрут? Как тебе такой план нравится?

Овчинников уловил иронию. Радость поднялась в его сердце.

— Сперва слабых и старых, потом других, — сказал он потверже.

— Ну а коммунистов-то когда же? — допытывался Павлов. — Неужели в самую последнюю очередь?

— Не, зачем в последнюю, — снова смутился Сашка. — С остальными вместе...

— Запоминай, Александр! — строго сказал помвоенкома Полетаев. — Раз и навсегда! Приходит коммунист на поле боя первым, а уходит последним. Так вперед и живи. Что ж, товарищи, теперь проголосуем. Я лично — «за»!

...Бугров помогал Овчинникову добраться до места. Рассвет уже забрезжил. Прилаживаясь, чтобы взобраться на свою грудку поленьев, Сашка вдруг поймал негодующий взгляд Антонины. Она примостилась в ногах Савватия и стерегла сон старца. Лежавший неподалеку Надеждин, уже неспособный подниматься на ноги от слабости, пробормотал:

— Двужильный ты, что ли, Овчинников? Рана только подживает, а он чуть не приплясывает. Антонина, сестрица, небось пора ему швы снимать, а то потом пуще врастут. Опять тебе забота, слышь, сестрица!

Но сестрица будто и не дослышала, повела плечом, проскользнув мимо Сашки, чтобы не коснуться его локтя, и прилегла на своей поленнице, свернувшись в черный комочек. Овчинников приподнялся и уловил глухие рыдания. Он чуть не скатился в воду, добрался до Тони:

— О чем ты, Тонюшка? Ты послушай, что я тебе скажу...

Она резко оттолкнула его руку.

— Отойди! — Ее тело сотрясилось в ознобе. — Отступник ты. С безбожниками заодно. От совести, от бога отрекся! Вечер целый в обнимку просидел с этой,стриженной... Знать тебя больше не хочу!

— Напрасно это, Тоня. От совести не отрекался. И в обнимку ни с кем не сидел, почудилось тебе или сбрезнул кто из зависти. Она, Ольга эта, товарищ нам, и мне и тебе. А без тебя мне жизни нет, на том стою, как стоял.

— Шел бы с миром, господи! Спаси мою грешную душу! Не понял ты, Саша, что у меня нынче на сердце было. Ведь я тебя как ждала!

— Про что ты, Тонюшка? Неужто... обнадежи-ваешь?

— Грех мне, Саша, но уж и сама я противиться твоей любви не могу. Я ведь тебя сама не по-божески, по-женски люблю. За счастье считала одним воздухом с тобой дышать, когда заезжал к нам в лесной трактир Марфин. Думала, отойдет, выгорит сердце от разлуки, а нет, не отходит! Ты всегда в разъездах, я — в монастыре третий год, не видим, не слышим друг друга, словечком не перемолвились, ни одного письма к тебе послать не посмела. Все равно! Не пере-силить мне это в себе. Старец душу мою насквозь видит, как стеклянную, и меня, грешницу, не осудил. Велел он тебе сказать... А ты вместо того чтобы слово мое выслушать, туда ушел, к тем, к той...

— Боязно и слушать тебя, Тонюшка!

— Не гляди ты на меня так, Саша! Ведь не свою грешную мечту, а старца наставление тебе открываю.

Это он велел обнадежить тебя. Чтобы уговорила плыть на берег ради нашего спасения.

— А что он велит мне делать на берегу, если доплыву?

— По усмотрению поступать. Может, с кем из начальства белого увидеться, уговорить отпустить безвинных. Или из конвоя кого склонить, добра посулить, чтобы лодку подал да с баржи тайком нескольких спас. Он каждую ночь пчельничек свой скитский во сне видит. И велел сказать: коли мы все трое окажемся на берегу, он послух с меня снимет и на брак благословит... Только я сама противилась. Боюсь, чтобы ты себя смерти подвергал. Лучше уж здесь чащу испытать вместе.

В трюме уже развиднелось, и Сашка отодвинулся на самый край Тониной поленицы. Он даже не заметил, как его здоровая нога погрузилась в стоячую воду на дне.

— А если бы... не вышло у меня дело, тогда как?

— Про это и думать страшусь. Если бы господь призвал тебя — молчальницей в скит уйду, схиму прииму строгую в пустыне, вблизи от старца.

— Та-а-к... Постигаю... — Сашкин голос звучал глухо, и слова падали медленно и тяжело, как дождевые капли с крыши в ненастье. — Слышь, Тоня, а ежели случится так, что останемся мы живы без моей помощи, просто красные нас спасли бы либо белые отпустили, тогда как у нас с тобою будет? Неужто опять разлука?

— Ох, Саша, ты так говоришь, будто нам ворота распахнуты, только в троечку твою сесть! Кто же о счастье помыслить смеет, когда кругом голод и смерть?.. Но неужто тебе невдомек, какая теперь из меня монахиня, коли... сама в любви призналась?.. Быть мне... либо в черном скиту молчальницей, либо... уж за тобою, Саша!

...Рассвет, очень чистый и ясный, набирал силу и обещал жаркий день. Над баржей и во всех оконных проемах сияло розовое и голубое. Даже стрельба поутихла, и ветерок отогнал облака дыма.

Антонина украдкой провожала Сашу взглядом — он уже укладывался у себя, неловко шевелил поленья и делал неосторожно-смелые движения, рискуя раз-

бередить рану. Его поцелуй жег губы Антонине, первый поцелуй в ее жизни. От слабости, от разговора с Сашкой, от его опаляющего дыхания все плыло и колыхалось в глазах Антонины, будто баржа снялась со своих якорей и ветерок погнал ее в розоватый, светлый простор.

Внезапно в левом оконном проеме Антонина увидела рядом с пушистым облачком что-то похожее на крест.

Он выросал и перемещался, и при этом стал различим непривычно-стрекочущий звук. Этот ритмичный стрекот по-хозяйски вторгался в утреннее затишье и не походил на привычные звуки войны. Он сделался требовательно-громким, а серо-голубой крест прошел наискось над баржей. Яшемская послушница увидела звезды на крыльях, лучистый диск впереди, удлиненное тело, похожее на стрекозиное... На миг из-за крыла, при легком крене аппарата, мелькнула очкастая голова в гладком шлеме.

— Аэроплан! — сообразила Антонина, когда от проплывающего креста отделилась еще какая-то темная вещь.

Предмет со свистом пошел к земле, и почти сразу до слуха Антонины донесло сильный тугой звук, от которого дрогнула земля и даже качнулась на воде громоздкая баржа с людьми. Эхо разнесло грохот взрыва далеко вниз и вверх по реке. Ударила пушка. Зачастили пулеметы, но стрекочущий звук не умирал в грохоте стрельбы. И Тоня вдруг впервые за много лет вспомнила, что отец ее, Сергей Капитонович Шанин, некогда был таким же крылатым и очкастым пилотом. Вспомнилась Тоне и фотография его в гладком шлеме с очками, сдвинутыми на лоб. Была такая фотография у матери еще на пароходе «Кологривец», с которого заболевшую маму и двенадцатилетнюю Тоню сняли в Яшме...

Снова раздался взрыв, и стрекотание мотора стало отдаляться. Изможденные лишениями пленники и заложники на барже даже не проснулись от этих новых шумов войны, и лишь Сашка Овчинников, уснувший в волнении, приоткрывал при взрывах динамитных авиационных бомб синие свои глаза и тут же закрывал их снова, побежденный непомерной усталостью...



глава четвертая

БЕГЛЕЦ

1

Уютный балкон двухэтажного особняка на Волжской набережной Ярославля завален мешками с песком. Они защищают от пуль зеркальные стекла нижней квартиры, занятой хозяевами дома. На втором этаже половина стекол уже выбита, и вся верхняя шестикомнатная квартира утратила прежний вид. Жильцам пришлось ее покинуть...

Но это прискорбное обстоятельство не слишком тревожит сейчас владельца. Даже, напротив, вызывает у него скорее сладостное чувство злорадства: ведь там, наверху, еще зимою 1917/18 года нагло разместились по ордерам ярославского совдепа три большевистских семейства, переселенные из полуразрушенных фабричных барачков.

Хозяин особняка, польский инженер Здислав Зборович, конечно, понимает, что этим людям неважно жилось в барачных лачугах, но... он-то тут при чем? Он-то покупал особняк у полковника Зурова для себя, а не для тех, кому в большевистской России не хватает жилья!

После зимнего уплотнения семейству Зборович — самому господину инженеру, его супруге, дочери Ванде и сыну Владеку, почти взрослому, пришлось вместе с экономкой, поварихой и горничной стесниться в восьми комнатах нижнего этажа. Жизнь семьи стала мизерной, мещанской!

Правда, для прислуги нашлась полуподвальная комната рядом с кухней, но уже ни настоящего бала, ни большого концертного вечера для гостей из Вар-

шавы и Петербурга не устроишь! Ведь в четырех нижних залах поставлены — о ужас! — кровати, а в просторный зал с двумя роялями перенесен сверху столовый гарнитур. Кошмар! Если бы все это можно было заранее предвидеть, никаким юристам не удалось бы уговорить пана Зборовича приобрести этот особняк у полковника Зурова весной 1917 года!

Впрочем, первые месяцы в новом доме, при новой, уже не монархической власти были приятны. Прекрасно пошли коммерческие дела пана, связанные с поставками ивановских, лодзинских и лионских фирм на союзную армию, и банковский счет пана Здислава возрастал пропорционально потерям союзников в снаряжении и обмундировании, ибо Здислав Зборович со всей энергией помогал возмещать эти потери!

Немало приятных гостей перевидал особняк за быстротечное лето 1917 года! Перед деловыми людьми из Кракова, Парижа и Манчестера играл пианист Николай Орлов, танцевали обольстительные балерины, читали пророческие стихи Бальмонт и Северянин, пел знаменитый тенор Смирнов... Потом — переворот в октябре. Чека. Холод. Очереди. Уплотнение. А теперь?

Окна нижнего этажа походят на амбразуры средневековой крепости, в доме не горит электричество, и дамы с тревогой прислушиваются к стрельбе на окраинах.

Однако нельзя сказать, что эти трагические события явились неожиданными для семейства Зборович.

Еще задолго до событий стали опять появляться в уплотненном особняке приезжие. Ходили они по городу торопливо, избегали встреч и знакомств, низко наклоняли шляпы на лоб, никогда не садились у раскрытых окон, меняли цвет волос, держались незаметно.

Но и среди этих скромных гостей, столь отличных от прежних знаменитостей, встречались имена неизвестные.

Выступали они в задних комнатах особняка перед узким, весьма избранным кругом слушателей. При этом, как подобает мастерам, выступали всегда по памяти, избегая записок... Собрания проходили без сверкающих люстр и криков «браво!», но слова приезжих ораторов собравшиеся ловили с неослабным внима-

нием. Еще бы! Ведь среди гостей особняка бывал, например, Борис Викторович Савинков, эсер, почти царевыйца, организатор покушения на великого князя Сергея Александровича, государева дядю. В кабинете Керенского Савинков занимал пост заместителя военного министра и потребовал введения смертной казни за воинские преступления. Появлялся он в особняке Зборовичей гладко выбритым, в защитном военном френче, брюках галифе и в красных английских крагах.

Не раз навещал особняк и сам герой нынешних событий в Ярославле полковник Александр Петрович Перхуров. Бывали переодетые в штатское генералы Гоппер, Афанасьев и Карпов, бывали посланцы французских дипломатов, американского посла и британского дипломатического агента.

Слушать же их собирались именитые горожане, друзья дома: бывший городской голова Лопатин, митрополит ярославский Агафангел, не погнушавшийся полезной дружбой с сыном римско-католической церкви; глава местной партии кадетов Кизнер, меньшевистский деятель адвокат Мешковский, хвалившийся глубоким знанием всех тайн большевистской подпольной конспирации. Гостем особняка бывал и полковник Лебедев, командовавший при Керенском войсками ярославского гарнизона. При большевиках Лебедев довольствовался скромной ролью начальника воинского склада, где трудился и другой полковник, Георгий Павлович Зуров, бывший владелец поместья Солнцева и особняка на Волжской набережной.

Георгий Павлович переменял вид на жительство, несколько преобразил даже свой внешний облик в соответствии с неприметной должностью складского писаря у Лебедева и, как прочие гости особняка Зборовичей, оповещал о своем приходе условным стуком. Ютился он где-то на глухом конце Рыбинской улицы, за Владимирской церковью, в убогой каморке.

Не оставалась в стороне от патриотического дела и супруга Здислава Зборовича, пани Элеонора. Она подружилась с артисткой ярославского «Интимного театра» Эльгой Барковской — пан Здислав был ревностным ценителем ее таланта. Среди других почитателей артистки был поручик Фалалеев, выдававший себя перед партийными работниками Ярославля за

выходца «из низов». Войдя в доверие к работникам губкома, Фалалеев занял пост уездного комиссара милиции и по рекомендации своей приятельницы Барковской тоже оказался в числе тайных гостей особняка Зборовича.

Фалалеев смог оказать заговорщикам немалые услуги!

Через него полковник Перхуров своевременно узнавал все подробности насчет дислокации частей и смены караульных постов в городе и гарнизоне, о настроениях солдат Первого Советского полка, размещенного в здании Ярославского кадетского корпуса. Заговорщики выяснили заранее адреса советских руководителей, имели данные обо всех запасах в городе, о разногласиях и спорах между фракциями эсеров и большевиков в губисполкоме... словом, пани Барковская и ее друг Фалалеев оказали мятежным офицерам посильную помощь!

И все-таки самое прямое и непосредственное участие в событиях принял сын Зборовича, семнадцатилетний пан Владек!

В ночь на 6 июля группа переодетых офицеров последний раз собралась тайно в особняке Зборовича. Возглавлял группу бывший жандармский полковник, ныне складской писарь Георгий Павлович Зуров. Он повел своих спутников прямо на Леонтьевское кладбище, примыкавшее к территории артиллерийского склада близ станции Всполье.

Там с ночи сосредоточивались перхуровцы, и сам Александр Петрович уже восседал на чьем-то надгробии в позе Мефистофеля со скульптуры Антокольского.

В теплой прозрачной мгле здешней почти белой северной ночи полковник Зуров отдал честь главноначальствующему. Они обменялись рукопожатиями, обнялись и... лишь в эту минуту заметили, что юный пан Владек Зборович увязался из дому за офицерами и даже держит в руках револьвер системы «смит и vesson». Отсылать юношу домой, к папе и маме, было поздно, оседал туман, светало, группа ждала команды. Перхуров снял фуражку, проговорил: «С нами бог!» — и пан Владек стал участником захвата артиллерийского склада!

Операция прошла тихо, без стрельбы и эксцессов, тем более что первыми, кто прибыл из города к захваченному складу, был... бывший поручик Фалалеев и его конные милиционеры!

Все прошло по плану, разработанному на тайных сборищах...

Было это пять суток назад.

В течение этих пяти суток владельцы больших квартир, городское купечество, бывшие чиновники, лица духовного звания, господа инженеры и присяжные поверенные восторженно приветствовали доблестных перхуровцев, а военные действия перекинулись на окраины и в Заволжье.

Москва, казалось, была такой близкой и доступной... Там день в день — в то же утро 6 июля — восстали левые эсеры по единому замыслу и плану, согласованному с Антантой. Ярославлю выпала связующая роль между Москвой, городами Поволжья и Севером, где десанты союзников должны были одновременно с мятежами в тылу ударить по Архангельску и Вологде, очищая путь к столице... Кое-кто из именитых ярославских граждан уже помышлял о переезде на Остоженку или Пречистенку, в старые дворянские особняки, пока что покинутые владельцами и, наверное, еще дешевые!..

Правда, не все шло так гладко, как сначала. Сопротивление красных возросло. Первый Советский полк не выступил, как ожидалось, на стороне Перхурова: солдаты перешли к красным, офицеры присоединились к Перхурову. На стороне красных появился бронепоезд. Его пушки подавили у белых немало пулеметных точек на колокольнях.

И численный перевес уменьшался. В первые дни к мятежникам пристало шесть тысяч офицеров, кадетов, военных гимназистов, сыновей состоятельных родителей вроде Владека Зборовича. Присоединились студенты-лицейсты из так называемых «белоподкладочников», то есть богатых щеголей, носивших шинели с белыми шелковыми подкладками, и молодые черносотенцы, получившие прозвище кацауровцев, по имени доктора Кацаурова, организатора ярославского отделения «Союза русского народа»... Красные же стали получать подкрепления из Данилова, Иванова, Ростова, Романово-Борисоглебска, потом и из Москвы.

Но сегодня, 11 июля, на шестой день мятежа, у его участников рассеялись все сомнения и страхи! Временные неудачи и жертвы, затяжка наступления за реку Которосль, где предполагалось освободить заключенных из тюрьмы в Коровниках и пополнить этим резервом силы белых воителей, — все это отошло на задний план в сравнении с благими вестями от союзников-французов!

Митрополит Агафангел, первым извещенный о новостях, провозгласил в соборе многая лета победителю большевиков Александру Петровичу Перхурову-Ярославскому. Поручику Фалалееву поручили устроить парад на городской площади. Там в числе зрителей присутствовали два иностранных офицера в легкой форме.

После парада, устроенного так умело, что одни и те же самокатчики-велосипедисты и фалалеевские конники продефилировали перед иностранными офицерами по три раза, обоих гостей-офицеров возили по городу на автомобилях в обществе дам — пани Зборович и артистки Барковской.

В уютном особняке Зборовичей приготовили званый ужин.

Сам главноначальствующий обещал быть на этом банкете, чтобы поделиться добрыми вестями с почетными горожанами.

2

Слух о званом вечере у Зборовичей вызвал толки. Супруги писали приглашения на визитных карточках пана Здислава. Дозвониться удалось лишь к немногим — телефонистки на станции работали под контролем двух офицеров, но никто уже не чинил повреждений на линиях.

Бородатый швейцар из гостиницы «Бристоль», той, где 6 июля был арестован в своем номере комиссар Нахимсон, той же ночью расстрелянный, принимал у гостей пальто, накидки, трости и шляпы. В полутемном вестибюле горели свечи. А в следующем, приемном зале гостей встречал новый глава городского управления, господин Иван Савинов, председатель ярославского комитета меньшевистской партии. Перхуров надеялся, что Иван Савинов поможет привлечь к восстанию рабочих-меньшевиков и беспартий-

ных. Сейчас, на банкете, Ивану Савинову выпала роль как бы почетного метрдотеля.

Перхуров прикатил на Волжскую набережную в потрепанном автомобиле «непир». Издали этот французский автомобиль — узкий, вытянутый в длину, на высоких колесах — напоминал поджарую кровную борзую.

Главначальствующий сам открыл дверцу, исподлобья глянул на немногочисленных зевак на тротуаре у запертого подъезда и прошел двором к заднему крыльцу.

В танцевальном зале по знаку Ивана Савинова оркестр сыграл туш. Музыкантов набралось мало, туш вышел жидковат и неблагозвучен.

Гости в ожидании начальства бродили по запущенным комнатам, откуда все лишнее было вынесено в два последних покоя; о прежней сплошной анфиладе парадных зал и вспоминать было горько! Если разрыв снаряда раздавался ближе, дамы вздыхали и крестились, как в церкви, мужчины... тайком оценивали взглядом потолки — выдержат ли прямое... Подруги паненки Ванды Зборович трепетно ждали кавалеров с позиций.

Адвокат Мешковский, жестикулируя плавно, рассказывал об успехах чехословацкого легиона на Средней Волге и за Уралом. Перехвачена телеграмма красных: на сторону восставших открыто перешел в Казани командующий Восточным фронтом красных Муравьев. Это он тайно поддержал перхуровцев и савинковцев «госпитальным» рейсом парохода «Минин».

При первых тактах духовой музыки гости устремились в танцевальный зал и увидели наконец героя событий.

Повыше среднего роста, смуглый, резкий в движениях, плотно влитый в свой полковничий мундир, Александр Перхуров пересек зал по диагонали и поднялся на возвышение, некогда служившее артистам. Чуть сутулясь, ни на ком не останавливая взгляда черных острых глаз, главначальствующий поднял руку, как бы протестуя против встречного туша. Коротко кивнул хозяину, поклонился госпоже Барковской, но совсем не заметил Фалалеева, державшего артистку под руку. Голос его звучал глуховато, но с отзвуком командного металла...

— Рад возможности, господа, известить вас о важном событии на нашем участке борьбы за освобождение России...

Зал притих. Лишь за обоями осыпалась штукатурка от сильных разрывов. Это бил по позициям белых бронепоезд противника.

— Всего сутки назад от нас отбыли за Волгу квартирьеры союзной французской армии, присланные в Ярославль от главного штаба союзных войск на русском Севере. В ближайшие часы в архангельском порту высаживается десант экспедиционных войск, недавно переброшенных в Мурманск с британских военно-морских баз. Мы переживаем исторические часы, вернее — минуты!

Как бы подтверждая слова главноначальствующего, ударили большие угловые часы в зале. Мягкий густой звон показался таким вещим, что оратор переждал все восемь ударов. Когда часы истории отзвучали, он продолжал:

— С французскими офицерами беседовали все офицеры моего штаба и представители городского управления. Оба французских посланца присутствовали на военном параде наших сил в городе... Они доставили мне документы...

Перхуров достал из планшетки несколько бумаг и телеграмм, потряс ими в воздухе.

— Господа Нуланс и Лаверн, французские дипломаты, находящиеся ныне в Вологде, поручили передать мне, что после высадки союзного десанта в Архангельске главные силы экспедиционного корпуса проследуют прямо в Ярославль, Рыбинск, Вологду, Муром. В ближайшие дни в тылу у красных окажутся наши доблестные союзники. Взаимодействуя с ними, мы далеко отбросим красных от всех подступов к Волжскому мосту, находящемуся в наших руках, и откроем себе и союзникам свободный доступ к Москве. Поздравляю вас с полным успехом нашего святого дела!

Публика захлопала в ладоши. Старушки роняли слезы. Нарядные дамы тихонько крестились и спешили доставать из ридикюлей надушенные платочки. Посветлели лица мужчин. Блеск радости появился во взглядах. Перхуров поманил к себе юного пана Владека.

Из того же планшета Перхуров извлек офицерский Георгиевский крестик на памятой муаровой ленте.

Зардевшийся пан Владек стал лицом к залу.

— У меня есть еще небольшой должок, отдать который мне особенно приятно в этом доме. Прапорщик Зборович! За доблесть, проявленную при захвате складов оружия, вы произведены были нынче в первый офицерский чин. Награждаю вас за отвагу при отражении вражеских контратак орденом святого Георгия третьей степени и назначаю вторым адъютантом нашего штаба.

Полковник умолчал, что целый ящик Георгиевских крестов был обнаружен на складе... Присутствующие не знали этой подробности и наградили новоявленно-го кавалера орденом.

— Вас, господа Зборович и Стельцов, не хочу похищать сегодня у милых барышень в этой зале. Извольте завтра к восьми утра явиться в штаб для исполнения служебного долга. Нам же с полковником Зуровым приходится спешить на позиции. Надеюсь, господа, вскоре иметь возможность побыть подольше в вашем приятном обществе!

Старшие офицеры уехали на своем «непире», а повеселевшие гости устремились к столам...

От выпитого вина, хороших папирос и добрых вестей артистка Барковская находилась в очаровательном чаду. Но в банкетном зале вскоре сделалось душно. Тряслись от разрывов стекла в заложённых снаружи оконных рамах; за обоями все время что-то противно шуршало, будто там возились мыши. Вино в бокалах невольно напоминало благородную кровь, проливаемую на соседних улицах во имя возвышенной цели: чтобы на веки веков всякий сверчок знал свой шесток, ну и чтобы у артистки-патриотки Барковской тоже появился свой особнячок в тихих переулках Арбата, а может быть — чем черт не шутит! — и небольшая вилла в Ницце! Ведь французские офицеры так близко! Седеющий колонель уже командует своими гренадерами на деревянных мостовых Архангельска... Сереют у низких берегов Северной Двины, пахнущих солью и рыбой, громады миноносцев и транспортов под стенами петровского Гостино-

го двора. А сам колонель, верно, мечтает о прекрасной российской женщине, ожидающей его с таким нетерпением... Слава богу, отозвали куда-то этого несносного Фалалеева!..

Адвокат Мешковский похлопал в ладоши, прося внимания.

— Господа! Позвольте открыть вам маленькую тайну! У нашей любимицы есть новая песенка. Умолчу об авторе слов и музыки... Просите... Умоляйте! У рояля — ваш покорный слуга.

Он пересел к роялю и заиграл вступление.

Артистка рассмеялась, вышла на середину зала и, слегка пританцовывая, пародируя военный шаг, запела:

Городовой... как чудно это слово!
Какая власть, какая сила в нем!
Ах, я боюсь: спокойствия бывшего
Мы без тебя отчизне не вернем!

Мечтой небес, миражем чудной сказки
Всегда встает знакомый образ твой,
И вижу я, что без твоей указки
Нам не пройти житейской мостовой.

Где б ни был ты — ты был всегда на месте,
Всегда стоял ты грозно впереди,
В твоих речах, в твоём державном жёсте
Один был смысл: «Подайся! Осади!»

Нет без тебя порядка никакого,
Вокруг сплошная драка и скандал!
О, как хочю скорей городского,
Чтоб он меня тащил и не пушал!..

Иван Савинов, сперва снисходительно улыбавшийся в усы, под конец песенки нахмурился и кидал неодобрительные взгляды на Мешковского. Меньшевицкого лидера смутила бестактная выходка товарища по партии: адвокат переборщил! Тоска по городовому! Надо же позволить себе эдакую откровенность!

К исполнительнице подлетели два офицера с бокалами.

— Вы пригубите? Сочтем за счастье!

— Благодарю вас, господа! Как вас зовут, подпоручик? Михаил Стельцов? А, адъютант штаба!.. Рада, мерси! А вас, пан Владек, я не успела и поздравить с

новым крестом. Убеждена, что не последний. Господа, хочу из этого душного зала на воздух, к реке. Опасно? С такими кавалерами, как Мишель и Владек? Разве не за храбрость вы получили свой крест? Достаньте лодочку, милый Владек, мне пришла фантазия покачаться на волнах...

Тихая ночная Волга отражала столько пожаров, что казалась потоком багрово мерцающей лавы. Стрельба притихла в эту глухую пору. Изредка бухало орудие, озаряя вспышкой Волжский мост или тучу над крышами. Вперемежку с орудийными вспышками мелькали зарницы надвигающейся грозы. Против артиллерийских вспышек они были бледны и слабоваты.

Женщина спускалась с откоса к воде. Стельцов поддерживал ее под руку, ощущал, как колотится ее сердце. Грозовая ночь и легкое опьянение отнимали ощущение реальности...

— Вниз, вниз, Мишель, ведь я сумасбродка! Смотрите, там наш Владек и в самом деле поймал какую-то лодку, я его сейчас же за это расцелую!.. Боже мой, но кто-то в ней прячется, мужик какой-то?.. Фу, противный, как напугал! Да не трогайте его, господа, он еще совсем, оказывается, мальчишечка!.. Ну-ка говори скорее, кто ты такой, а то мы сейчас живо тебя...

Стельцов грубо держал за ворот куртки незнакомца, пока тот неловко выбирался из лодки. Что-то знакомое почудилось Стельцову в этой фигурке. Да и сам подросток пробормотал испуганно и смущенно:

— Отпустите, пожалуйста, мой воротник, дядя Миша!..

— Макарка? — Стельцов совсем опешил. — Откуда ты взялся?

Мальчик проямлил нечто малосвязное о стерлядках для пани Зборович и записке для полковника Зурова. «А черт, принесло же не вовремя!» — в сердцах досадовал про себя подпоручик, но находчивая пани Барковская сама поспешила ему на помощь...

— Вот что, юноша Макар, берите-ка вашу кошелку с рыбой и ступайте за паном Владеком наверх, — тон ее не допускал возражений. — Пусть Фалалеев, как вернется, поговорит с юношей, ву компроне муа? А потом, если нужно, отведет его в штаб к Зу-

рову. Мы же с Мишелем покараулим здесь лодку... О ревуар, мои милые юноши!.. Мишель, смотрите, собирается гроза! Какой мистический вечер! Я мерзну, садитесь ближе!.. И не кажется ли вам, что мы любуемся этим несчастным городом, как некогда Нерон — пожаром Рима, им самим подожженного?

3

На барже смерти погибли уже десятки заключенных. На шестые сутки плена Вагин, Павлов и другие активисты подняли узников на постройку бруствера из единственного подручного материала — поленьев. Их выкладывали впритык к доскам борта, делали правильные перевязки, чтобы «баррикада» не осыпалась. Даже у людей-призраков артельное дело пошло быстрее, чем надеялись инициаторы.

В носовой части трудился работник ярославского музея, знаток города. Он нашел силы говорить соседям о научных и художественных ценностях, которым грозят пожары и взрывы. Самое горькое, что именно сюда, в библиотеку Демидовского лицея, саму по себе весьма ценную, буквально на днях привезли из прифронтового Петрограда еще более ценные рукописи и книги, подлинники сокровища науки!

И люди-узники с бескровными лицами, слушая внаатока, таскали тяжелые поленья и складывали из них бруствер словно для того, чтобы укрыть от варварства хрупкие ценности родного города. Люди и здесь сознавали себя его охранителями. К вечеру бруствер был готов. Под его защитой стало возможно похоронить убитых.

Отодрали от борта широкую доску. Первым положили тело Василия Чабуева. Под защитой бруствера выдвинули доску с телом за борт. Помвоенкома Полетаев негромко сказал:

— Прощай, товарищ! Пролетарский гимн и салют над тобой и всеми честными бойцами, погибшими за революцию, прозвучат после нашей полной победы!

Два человека шестом снизу приподняли конец доски...

Как только за бортом раздался всплеск, с берега ударил губановский пулемет. Пули с треском вспары-

вали обшивку баржи, били по торцам поленьев, вздымали брызги у бортов, но никого не задело: за бруствером люди стали неуязвимы для ружейного и пулеметного огня.

Перед вечером дымно-туманное море над городом стало плотнее, и предзакатный ветерок будто завяз в этой густой едкой пелене. Она осела на реку и город, мешала дышать, скрадывала очертания даже близких предметов. Облака, тоже похожие на дым, наплывали с севера, и казалось, что они хотят совсем укутать город, сделать невидимым то, что в нем творилось. Над баржей повизгивали и жужжали пули.

За тусклой дымовой завесой неслышно подкрались мгlistые сумерки. Хлопки винтовочных выстрелов стали как будто еще ближе. И все чаще подергивались края неба багровыми вспышками, земля вздрагивала, и сразу же где-то на городских улицах раздавался такой грохот, словно рушился на булыжник каменный дом. После каждого такого разрыва Антонине казалось, что уж никакая жизнь долее невозможна в этом несчастном городе, где все живое расстреливается, все деревянное пылает, а все каменное рушится в преисподнюю с нечеловеческим грохотом.

Антонина лежала на спине и следила за каждым действием Александра Овчинникова. Тот вдвоем с Бугровым залезли наверх, к оконному проему под кормовой полупалубой. Они готовились плыть к берегу и наблюдали за рекой.

Течением несло бревна, обломки строений, поваленные деревья и столбы с обрывками проводов. Иногда проплывал мимо баржи вырванный с корнем куст или измочаленная крона прибрежной ивы — следы пушечного обстрела берегов.

Ольга на всякий случай дала Овчинникову и Бугрову адрес: особняк на Волжской набережной, близ паромной переправы и недалеко от Флотского спуска, в прошлом — полковника Зурова; на втором этаже спросить бабушку Пелагею Петровну, ткачиху, Ольгину мать. Если старуха жива, она, может быть, раздобудет у городских пекарей хлеба для пленников на барже. Только надо быть осмотрительнее с нижними жильцами: спекулянт-поляк с семейством, нынешний владелец дома. Лучше там обратиться к прислуге,

а в крайнем случае к девочке Ванде, она добрая. Хуже всех сама пани Элеонора. Эта обязательно выдаст!

Днем Антонина подозвала Сашку к старцу Савватию, мол, хочет он что-то прощальное сказать пловцу. Из глубокого кармана рясы старик извлек нечто неожиданное и бесценное: просфору и два кусочка сахару!

— С самой Яшмы берегаю! — шепнул он Сашке, пораженному неслыханной щедростью. — Господь подсказал до последней крайности прибереечь. Подкрепишь силы — тогда, может, и я сподоблюсь пчельничек свой еще увидеть!

Сашка попытался было подсунуть подарок старца Антонине, но та пригрозила, что пожалуется «старшим»: не ей, мол, задано Волгу переплывать! Она сама обняла Сашку на прощание, поцеловала и спрятала голову на его широкой груди. Перед прощанием она вместе с обоими пловцами присела на краю поленницы, как принято у людей русских перед дальней и трудной дорогой.

Наверху оба пловца съели до мельчайшей пылинки разломанную просфору, успевшую почти окаменеть в кармане Савватия, и сжевали сахар. Пустые желудки, растревоженные малой порцией еды, болезненно заныли, но уже через десяток минут оба признались друг другу, будто и в самом деле силушки несколько прибыло.

Оба выросли на реке, знали ее хорошо, сразу распознавали любой предмет, проносимый течением. И почти одновременно разглядели они, что из-под моста, сверху, плывет не то челнок, не то лодка... Пустая ли?

Сашка ухватился за стойку оконного проема, готовясь к прыжку, но бдительный пулеметчик Иван Губанов заметил движение у проема и тотчас полоснул очередью. Сашка мигом скатился на бревна баррикады, оглянулся на Тоню. Та лежала внизу как неживая. Бугров указал на кормовую полупалубу: «Может, за рулями сумеем!»

Они добрались до погребальной доски, сгибаясь, перешли вдоль фальшборта к рулевым брусьям. Ступая на палубный настил, Сашка махнул Антонине — теперь он терял ее из виду.

Оглядевшись, пловцы отыскивали на рябоватой, уже темнеющей поверхности Волги знакомую лодочку. Скоро поравняется с носом баржи...

— Плыть как можно дольше за нею. Хорошо бы с поленом. Надо, чтобы пулеметчик упустил ее из-под обстрела.

На корме валялось несколько крупных иссохшихся поленьев. Сашка выбрал сухую суковатую лесину. Бугров полена не взял — слезать неловко.

Глубоко внизу, между лопастями рулей, булькала и быстро струилась маслянисто-черная в тени баржи вода. Сверху казалось — баржа плывет... Носовой стальной трос был туго натянут, кормовой, пеньковый, давал слаbinу...

— Пошли! — шепнул Бугров. — А то лодку упустим.

За рулевыми брусьями пловцы беззвучно слезли к воде. По сравнению с жижей на дне баржи волжская вода показалась обжигающе холодной. Течение сразу подхватило обоих.

На барже тотчас отрядили наблюдателей. Смоляков и Павлов вполголоса сообщали остальным пленникам:

— Нырнули оба. Несет их шибко! Верно, уж за сотню сажен. Рябь на воде. И темнеет быстро. Небось с берега вовсе незаметно!

Ошибались наблюдатели!

Подъесаул-пулеметчик был терпелив и хитер. Перхуровское начальство знало, кому доверить старшинство на посту, охранявшем баржу с заложниками! В темное или ненадежное время при малейших подозрительных признаках подъесаул сам ложился за пулемет и не спускал глаз с баржи... Сейчас он давно присматривался к пустой лодочке вдали и следил в бинокль, не отважится ли какой смертник с баржи воспользоваться этим шансом на спасение. И вот не один, а даже два смельчака... Две головы среди ряби. Сперва — обмануть их мнимой безнаказанностью!

Беглецы осмелели, пошли на сближение с лодкой. Их торопила погода — лодку подгонял ветер с верховьев. И когда лодочка заметно качнулась — это Сашка прицепился к корме, — стрелок взял ее на мушку, заранее определив расстояние по сетке бинокля...

В следующий миг второй пловец ухватился за борт, и Сашка подсадил его в лодку. Потом и сам показался над бортом.

Смоляков успел бодрым голосом воскликнуть: «Сели! В лодку наши сели!» — как пулеметчик дал длинную точную очередь. Пробитая десятком пуль лодочка набрала воду и перевернулась.

При звуке пулемета Антонина, спотыкаясь в длинном своем одеянии, кинулась наверх. Смоляков подтянул ее к себе, и девушка, не таясь, выглянула из проема.

Она не сразу поняла творящееся там, ниже по течению, в отсветах городских пожаров. Потом догадалась: плавный веер всплесков — это работа пулеметчика с берега. Она успела различить, как среди всплесков показалось из воды и опять погрузилось в нее что-то черное, днище лодки. Больше там, рядом, ничего не было — взблескивала вода и плыло в некотором отдалении от всплесков белое полено.

Значит, застигнутые в лодке смертоносной свинцовой струей гребцы погибли, и Волга взяла их на дно, к остальным жертвам с баржи...

Пулеметчик приостановил огонь, гордясь отличной своей работой. Ни один не вынырнул!

И вдруг он услышал пронзительный женский крик отчаяния, прозвеневший в сумерках, доселе наполненных лишь звуками боев и привычными шумами реки. Пулеметчик повел стволом налево, нащупал темную массу баржи и дал короткую очередь по ней: тах-тах-тах!

Может, ему потребовалось сменить ленту или остудить воду в кожухе, только очередь по барже не повторилась. Да сделалось там опять спокойно. Кричавшую, видимо, уняли свои...

Угодив под пулеметную очередь, Сашка нырнул. Он еще не успел совсем забраться в лодку, выпал из нее мгновенно, а под водой сразу метнулся в сторону.

Но очередью его задело, только пуля в воде потеряла силу и вошла Сашке в правое плечо уже ослабленной. Все же удар был тяжел, тупая боль сразу ошеломила Сашку, правая рука онемела и сделалась чужой. Сгоряча он уходил под водой от новых пуль,

загребая одной левой рукой и стараясь как можно дольше не выныривать на поверхность.

Дыхания хватило ненадолго, и он выглянул из воды, пока веер пуль еще добивал лодку. На ее дне лежало тело Бугрова — через мгновение лодка с трупом черпнула всем бортом... Долетел до Сашки и пронзительный женский крик, но сознание работало так смутно, что он не узнал голоса... Внезапно пулеметчик куда-то перенес огонь... Александр и не ведал, что это Тоня нечаянно отвлекла огонь на себя.

Без поддержки он не сможет плыть с онемевшим плечом. Где полено? Пловец заметил его немного впереди, добрался до него, приладил между сучками раненую руку, а левой стал выгребать, старался отдаляться от опасного Правобережья. Стали проясняться мысли.

Значит, Бугров убит наповал, а сам он с незажившей раной на правом бедре и пульей в плече очутился посреди Волги в одиночестве. На нем одном лежит теперь ответственность за всех людей на барже, за Тоню...

Справа ярко пылало огромное красивое здание со многими колоннами по фасаду. Вспомнился нынешний рассказ на барже. В воздухе сгущался запах жженой бумаги, даже что-то вроде хлопьев черного снега оседает на воду. Сашка сообразил, что пылает Демидовский лицей с драгоценной библиотекой и редкими рукописями, перевезенными из Питера. Черный снег — пепел сгоревших книг. Сашка подумал, что собственная его смерть значила бы мало в сравнении с гибелью столь великих сокровищ. Вот только ответственность за товарищей, провожавших его с такой надеждой...

Пловец не сразу заметил, как поравнялся с песчаным Нижним островом. Похожий на отмель, заросший ивняком, остров темнел слева, но Сашка все внимание обращал на правый берег, где не стихал огневой бой. Пловца несло к отлогой песчаной косе острова, он уже задыхался от усталости и едкого дыма, не замечал спасительной полоски суши рядом... Полено его прощуршало по песку. Куда это его прибило?

Последние проблески сознания на миг отметили темный рыбачий шалашик в лозняке... У самой воды — что-то темное. Пеня или человеческая фигурка? Как

будто мальчик? Собирается чайником зачерпнуть речной воды?..

Явь или бред? Мальчик-то вроде знакомый, яшемский? Макашкой зовут, попадѣ тамошней племянник. Откуда он здесь, в Ярославле? Значит, бред...

...Черные хлопья повалили на Сашку, тучей понеслись в его глазах. Слились в сплошное пятно, потом пятно превратилось в бездонный провал.

Очнулся он в шалаше. Тяжелая тупая боль давила тело, а нога и плечо были словно налиты, накачаны этой болью. Двое взрослых мужчин ладили ему перевязки. Давешнее видение яшемского мальчика Макашки Владимирцева оказалось не бредом — вон он, живой, вихрастый, в ситцевой рубахе тащит весла к большой лодке, похоже, бакенщицкой. Лодку держит женщина — не Макашкина мать ли?

Мужчины, видимо, давно пытались о чем-то расспросить очнувшегося, но Сашка ничего, ничего не мог припомнить — ни о плавании своем, ни о ранениях, ни о чем-то таком важном, про что нужно сказать этим людям во что бы то ни стало, хотя бы ценою всего остатка жизни...

И вдруг его озарила мысль о Тоне, о людях на барже. Только бы не потерять эту нить, не уйти опять в забытье, ведь он — посланец смертников... Он должен вспомнить адрес, который давали ему «товарищи старшие», давала девушка Ольга.

Он из последних сил борется с надвигающимся беспомощством. И трое Сашкиных спасителей слышат его шепот:

— Особняк на Волжской набережной... На втором этаже спросить бабу Пелагею, Олину мать... Осмотрительнее с нижними жильцами... Можно довериться девочке Ванде... Помирают на барже голодные, с ними и Ольга... Пусть вон Макарушка сплавает, передаст там... Хлеба надо на баржу!..

...Опять поглощает Сашку черная пропасть, всего, целиком.



глава пятая

В ЗАЩИТУ РОДИНЫ И СВОБОДЫ

1

На пустынных ночных улицах Ярославля шелкали пули, пахло гарью и носился в воздухе тополиный пух, перемешанный с пеплом, будто ветер крутил над городом диковинную, красную в отсвете пожаров метель.

Гости пана Зборовича уходили с банкета обнадеженные, но здесь, под обстрелом, их снова брала жуть. Они прислушивались к отдаленному громыканию с севера и не могли уверенно судить, какая новая напасть движется на Ярославль: грозовая ли туча с градом, красный ли бронепоезд? Свою артиллерию защитники белого Ярославля уже потеряли, все батареи подавлены красными.

Перед полуночью остались в особняке только близкие друзья. Прислугу отпустили спать, и пан Владек никого не встретил на кухне, когда привел сюда незнакомого подростка с кошелкой стерлядей. Их небрежно кинули в пустую лохань; Владек велел мальчику подождать на кухне, а сам отправился искать Фалалеева. Георгиевский кавалер жестоко страдал от уязвленного самолюбия с той минуты, когда артистка-красавица пренебрегла его обществом и отослала домой эскортировать чужого мальчика. Покараулить лодку с пани Барковской было бы куда заманчивее!..

Тем временем поручик Фалалеев вернулся из своего ночного рейда по городу. Вызывали его к зданию Государственного банка, где ему и трем полицейским унтерам с трудом удалось утихомирить группу офицеров-патриотов, задумавших взломать двери банка,

чтобы поставить денежные ценности на службу... родине и свободе! Перхуров же строжайше требовал уберечь банк от таких покушений. Кроме того, он уже переносил в это здание свой штаб.

Как лицо, бывавшее в доме запросто, Фалалеев сразу прошел на кухню умыться с приезда. Кран бездействовал, пан Владек ковшом слил воды на руки Фалалееву.

— Где пани Эльга? — осведомился поручик хмуро.

— Ее, вероятно, уже проводил домой подпоручик Стельцов, — злорадно пояснил георгиевский кавалер и с удовольствием отметил, что щека у поручика нервно дернулась. — А вас, господин поручик, она просила поговорить с задержанным рыбаком. Вот с этим...

Фалалеев лишь теперь обратил внимание на понурого подростка лет четырнадцати в синей рубашке, как бы осыпанной белым горошком. Когда офицер повернулся к нему, он тотчас вскочил и вытянулся с кадетской выправкой. Фалалеев даже усмехнулся такому усердию.

— Здешний? Зовут как?

— Никак нет, не здешний. Владимирцев Макарий. Разрешите доложить: приплыл сюда по поручению господина Коновальцева, моего опекуна, под видом рыбацкого подручного, со стерлядками для панны Зборович. Бакенщик Семен с Нижнего острова велел получить за рыбу продуктами и солью. Только меня здесь и слушать не стали.

— Пойдите, пойдите, что-то я плохо вас понимаю, молодой человек. Кто же вас сюда прислал? Семен-бакенщик мне известен, а никакого Коновальцева я не знаю.

— Бывший управляющий у господина Зурова, моего троюродного дяди. Я имею к нему записку.

— Записку к полковнику Зурову? Час от часу не легче! А вы... в лицо-то его знаете? Извольте-ка показать, кто на этой фотографии полковник Зуров, ваш, как вы говорите, троюродный дядя.

И Фалалеев извлек из бумажника групповой снимок перхуровского штаба. Мальчик безошибочно указал своего дальнего родственника.

— Записка при вас, молодой человек?

— Так точно. Но... вручить ее мне велено лично.

— Хм! Первый час ночи, полковник в своем штабе. Это недалеко, гимназия Корсунской... Придется пойти...

На всю жизнь остался в памяти Макара этот ночной марш с поручиком Фалалеевым по разбитым, горящим улицам Ярославля. Шли под выстрелами, раскатами грозы, окриками сторожевых постов, клацанием затворов. Кое-где приходилось по доскам перебираться через воронки от тяжелых снарядов, одолевать рытвины на месте вчерашних тротуаров, даже перелезть на бульваре через поваленное дерево, будто в дремучих джунглях.

Дежурный по штабу проводил обоих к полковнику.

Георгий Павлович держал у уха трубку полевого телефона и делал пометки на оперативной карте. Воспаленными от бессонницы глазами он глянул на троюродного племянника, пробежал записку Коновальцева и... снова обратился к карте. Макар понял, что телефонные вести безрадостны. Зуров положил трубку.

— Значит, матушка твоя и Борис Сергеевич остались на Нижнем Острове в шалаше?

Ответить Макар не успел — телефон зазвонил снова. На этот раз из типографии спрашивали, готово ли воззвание к населению. Полковник Зуров взял со стола исписанный лист и стал диктовать в трубку текст воззвания... Было там и про единую национальную идею России, был возглас «Воспрянь же, Русь» и призыв к жертвам. Воззвание кончалось словами: «Бог поможет нам и Ярославлю с его святынями, и от него войдут здоровье и сила в тело нашей несчастной родины. Да здравствует всенародно-законно-избранное Учредительное собрание!»

Зуров не кончил еще диктовать, как в комнату вошел сам главноначальствующий Перхуров. Георгий Павлович извинился и на обороте коновальцевской записки написал несколько беглых ответных строк... Он советовал своему бывшему управляющему отвезти юношу Макария и его матушку назад, в Яшму или Кинешму, пока события не прояснятся окончательно...

— Дай тебе бог нынче же благополучно воротиться к матери и опекуну, — шепнул он Макару, выпрова-

живая из кабинета и его и Фалалеева. Затем, плотно затворив дверь, оба полковника, командующий и его штабист, склонились над оперативной картой.

Тем временем последние гости покидали особняк Зборовичей. Гроза разразилась страшная, и Фалалеев советовал отправить восвояси Макара под ливнем и молниями. В темноте до рассвета в дождь плыть, мол, будет безопаснее. Для него собирали продукты. Хозяйская дочка Ванда сама повела его в кладовку за кухней. Девочка очень удивилась, когда этот робкий мальчишка вдруг таинственно понизил голос и приложил палец к губам.

— Тсс! Ваша мама... не должна ничего услышать...

И Макарка торопливо пересказал девочке все, что знал о страшном положении пленников на деревянной барже, где томилась и подруга Ванды — девушка Ольга...

— Надо уговорить ваших друзей, Ванда, помочь узникам, послать им хотя бы хлеба... Только мне... велели опасаться... вашей матери, уж простите!

— Ох, вы правы, мама так ненавидит всех красных! Она не станет за них заступаться, это верно! Олину мать отсюда давно выселили, не знаю куда. Но я знаю, кого попросить! Пани Барковскую, артистку! Она может заставить начальника полиции Фалалеева послать хлеба на баржу... А вот вам и продукты для ваших. Берите, берите побольше!.. Только как же вы поплывете под этой ужасной грозой?..

Утром после сильной грозы с ливнем заключенные на барже услышали непривычный за неделю плена звук: на реке раздавались пьяные голоса и скрипели уключины.

Из-за баррикады осторожно выглянул Смоляков.

К барже приближалась большая гребная лодка. На веслах сидели крепкозадые унтеры в галифе и еще какие-то люди в шинелях. Высокая женщина в открытом вечернем платье и в шляпе с вуалеткой сидела, подобрав ноги, на носу. Рулем правил бывший комиссар уездной милиции Фалалеев. В женщине Смоляков угадал артистку Барковскую.

Когда лодка подошла к борту баржи, двое военных стали подавать артистке круглые караваи белого

печеного хлеба. Таких караваев в лодке лежало пять или шесть.

Артистка взяла один каравай и неумело швырнула его на баржу. Не долетев до фальшборта, каравай шлепнулся о смоленую древесину, упал в воду и поплыл. Унтер удержал его веслом и легко забросил на баржу.

Офицер и унтеры стали ломать хлеб на куски и подавать женщине. Она была слегка пьяна, и пьяны были ее спутники. Женщина делала широкий взмах, кусок летел через борт и падал в тухлую жижу на дне баржи или на поленья близ умирающих с голоду пленников.

От этой возни, от запаха свежего хлеба узники начали пробуждаться, выходить из забытья, тянуться за падавшими кусками. Кто-то вцепился в ломоть зубами. Кто-то тащил другой из воды.

Ломти, описывая дуги, летели и летели через борт. Десятки рук рванулись к хлебу. Стали раздаваться жалобные крики. Людям было невыносимо видеть, как ломти валялись в лужи, нечистоты.

Полетаев сумел поймать два. Вот почему Ольга и Тоня получили по ломтю. Обе девушки никогда не узнали, что самому помвоенкома хлеба не досталось. Ведь в доме Зборовичей напекли для банкета не так-то много, а к городским пекарям никто и не подумал обратиться.

Лодка с пьяными благотворителями повернула и стала отдаляться. Кто-то крикнул вслед с баржи:

— Напрасно изволили побеспокоить себя, сударыня!

2

Еще три дня спустя нежданный ночной гость принес в особняк Зборовичей страшную весть...

Капитан Павел Георгиевич Зуров, единственный сын полковника, бежал утром 8 июля в Рыбинске из чекистского окружения. Вместе с прочими участниками рыбинского дела капитан Павел Зуров в ту ночь находился на подступах к рыбинскому гарнизонному складу. Но мятежным офицерам захват склада не удался: все они, во главе с капитаном Смирновым, угодили в ловушку, расставленную чекистами. Выбраться удалось немногим, остальные погибли. В чис-

ле бежавших был Павел Зуров. 15 июля он перешел ярославский фронт на заволжском участке, долго ждал переправы из Твериц, поглядывая на очертания родного дома на Волжской набережной, и, наконец, предстал перед членами семейства Зборович.

— Значит, пан капитан утверждает, что в Рыбинске мы не имели никакого успеха? — дивился полненький пан Здислав, взирая спросонья на ночного пришельца. Хозяин дома таращил близорукие глаза на капитана, которого прежде в лицо не видел. — Ведь мы тут слышали совсем другое...

Павел Зуров был офицером 12-й армии, недавно расформированной в Ярославской губернии. Генералквартирмейстер 12-й армии, светлейший князь Голицын, держал капитана в составе собственной свиты, а затем помог устроиться в рыбинском интендантстве. Капитан точно знал все огромные запасы военного снаряжения на рыбинских складах: миллион артиллерийских снарядов всех калибров, десятки миллионов патронов, пулеметы, орудия, винтовки — в образцовой сохранности. Провал рыбинской операции путал все карты заговорщиков.

— Слушайте, пан капитан, — опасливо вопрошал гостя Здислав Зборович. — А как же французы? Мы не можем понять, почему так задерживается их экспедиционный корпус. Ведь Волжский мост был наш до 12 июля, теперь он снова будет стоять тяжелых жертв. Не вплавь же переправятся к нам союзники через Волгу? Сколько английских и французских транспортов уже в Архангельске?

По пути из Заволжья в город капитан успел убедиться, что и здесь, в белом Ярославле, дела обстоят плачевно. Станции Филино и Урочь отбиты у повстанцев, весь участок за Волгой под угрозой. Главные силы держатся на небольшом, хотя и сильно укрепленном треугольнике между Волгой, Которослью и городским валом. Стороны этого треугольника едва ли достигают трех верст. Внутри оборонительного участка сгорели все деревянные строения, нет целого дома, валяются неубранные тела, бродят среди развалин раненые и больные жители. Есть случаи холеры. Патронов — на неделю. Артиллерии уже нет.

— Господин Зборович! Как другу моего отца я скажу вам то, что пока не предназначено для оглас-

ки. Однако я понимаю, что именно вам надобно глядеть правде в глаза.

— О Езус-Мария, вы пугаете меня, капитан! Уж выкладывайте все, Павел Георгиевич, не томите, голубчик!

— Это и выговорить нелегко. Союзники... нас предали. Ярославская операция оказалась преждевременной и потому... изолированной. Борис Викторович Савинков лично поручил мне сообщить отцу и Александру Петровичу Перхурову, что... никаких иностранных судов в Архангельске нет! Десант, обещанный союзниками к 8 июля, не прибыл! Поддержать нас поэтому некому... Что с вами, пан Здислав?

Капитан Зуров привскочил со стула, потому что потрясенный известием инженер Зборович, патриот белого Ярославля, лишился чувств.

...В этот же вечер отец и сын Зуровы впервые за долгие месяцы разлуки оказались с глазу на глаз в своем старом доме. Озабоченный Зуров-отец пришел прямо с военного совета. Участвовали в нем генералы Карпов, Афанасьев и Гоппер, полковники Ливенцов и Зуров. Обсуждали некое отчаянное решение. Но пока Зуровы, старший и младший, обменивались новостями личного порядка.

— Знаешь, Паша, кого нынче похоронили? Помнишь Коновальцева?

— Твоего управляющего или его сына? Росли вместе...

— Сына. Николку. Смелый был офицерик. Так и не повидался напоследок с отцом. В начале событий я послал Коновальцева-старшего по нашим делам. Он привез из Яшмы того юношу, Макарушку Владимирцева, по моему распоряжению; сейчас прячутся в бакенной, на том берегу. Теперь велю им податься назад в Яшму. Обстоятельства переменятся — вернем снова.

— Мне сдается, папа, напрасно ты их сюда и выывал.

— Французы подвели! Были надежды, что совдепия вот-вот рухнет. Потому и хотелось мальчишку под рукой иметь. Как-никак «владелец» нашего имения...

— Конечно, глаз за ним нужен, Коновальцев должен все время держать его под надзором... Что решил нынче военный совет, папа?

— Понимаешь, положение труднее час от часу. Если изолированно держаться в городе — сомнут. И вот Александр Петрович предложил план. Мы приняли. Остается... выполнить!

Капитан и полковник видели в стенном зеркале свои отражения. Собеседники, отец и сын, были очень похожи, только пятидесятилетний полковник отяжелел и стал седым, капитан же в свои двадцать пять был строен и интересен. Пробираясь в осажденный Ярославль, он сбрил офицерские усики и выглядел прямо юнцом. Вместе с тем в лице было что-то резкое и жесткое, лишь отчасти смягченное цветущим возрастом и красивым оттенком ухоженной кожи.

— План таков, Паша: создаем отряд человек в 50, самых надежных и решительных. Только офицеры. Лучшие, конечно. Может быть, пристегнем для видимости какого-нибудь социалиста из меньшевиков, но с ними масса хлопот и мороки, народ же слушается их слабовато... Во главе отряда станет Перхуров. Мы сами предложили ему.

— Кто же будет командовать обороной здесь, в городе?

— Очевидно, генерал Карпов. Позиции отличные, тут кто хочет удержится, пока боеприпасы есть. Но их уже маловато, посему одной обороной мы свои войска не выручим... Итак, Перхуров с группой прорыва выйдет красным в тыл, на оперативный простор. Поднимет крестьян в северной и восточной частях уезда. Отряд станет ядром для образования белого партизанского движения во всей губернии и шире. Понимаешь, эдакая Поволжская Вандея! Силами крестьянской Вандеи мы выручим блокированные в Ярославле войска, соединимся с чехословаками либо с союзниками на Севере. Вот, Паша... Как тебе нравится перхуровский план?

— Знаешь, папа, если бы я сомневался в Александре Петровиче, то назвал бы всю затею авантюрой с целью выйти сухим из воды. По сути, это же дезер...

Полковник предостерегающе поднял руку.

— Не договаривай, Паша! Дело, разумеется, несколько щекотливое, но иного выхода нет. Лучше какое-нибудь решение, чем никакого. Как ни говори, даже при частичном успехе сохранится некий офицер-

ский костяк. Знаешь, как в народе говорилось раньше: были бы кости целы, а мясо нарастет! Но ты не думай, будто я считаю шансы плана низкими. Уж кого-кого, а Александра Петровича мужички послушают!

Капитан Зуров только вздохнул. Ему вспомнились ночлеги по деревням... Какими словесами честили мужички организаторов заговора в Ярославле! Чтобы из этих красных крестьян можно было бы навербовать сторонников белого мятежа?

— Когда намечен прорыв?

— Очевидно, послезавтра на рассвете. Вот только как погода?.. Туман бы! Тем временем все подготовим. Перхуров сам взялся обеспечить деньги из банка. Управляющий один миллион уже выдал, обещал дать еще полтора. Больше нету в сейфах, говорит... * Стельцов обеспечит боеприпасы и оружие. Ради секретности придется на несколько часов сосредоточить припасы здесь, в подвале особняка.

— Решено ли, где прорываться? Огонь на всех участках плотнее час от часу.

Полковник понизил голос до шепота, словно его могли подслушать:

— Перхуров рассчитывает прорваться... пароходом. Завтрашний день — на подготовку, а утром 17-го... Потому-то и нужен... туман поплотнее!

— Значит, вниз по матушке, по Волге?

— Нет, не вниз, а в в е р х по матушке...

Днем 16 июля немало офицеров разного возраста и разных рангов являлись в особняк Зборовича, оставляли тяжелые свертки и мешки в маленьком дворике, а подпоручик Стельцов с прапорщиком Владеком Зборовичем уносили их в подвал особняка.

После полудня сам полковник Георгий Павлович Зуров пришел в особняк со странной ношей, завернутой в старый плащ. Следом с таким же узлом протиснулся в дверь офицер в форме военного врача, отрекомендовался доктором Пантелеевым и тут же отключился.

Особняк стал неузнаваем. Верхний этаж почти

* Фактически работники Ярославского государственного банка утаили от белых мятежников и сохранили от разграбления около 20 миллионов рублей, имевшихся в подвалах госбанка.

снесло снарядами. Окна всюду выбиты, несмотря на защитные мешки. В залах, когда не жгли свечей, стоял подвальный мрак. Никто не убирал комнат, в них сделалось тесновато — лишившиеся крова друзья искали приют в полуразрушенном особняке...

Свертки, доставленные сюда полковником Зуровым и доктором Пантелеевым, содержали нечто особенно ценное: личное оружие генералов и полковников перхуровской армии. Идя на опасное дело, решили закопать это оружие, слишком дорогое и нарядное, чтобы им драться, и слишком почетное, чтобы бросить на произвол судьбы.

В гостиной подпоручик Стельцов шушукался с пани Барковской. Она пошла к роялю, а подпоручик стал счищать обрывком портъеры мусор с крышки инструмента. От этого в гостиной поднялось такое облако пыли, что полковник Зуров закашлялся.

Он ждал сына Павла с позиций. Они условились встретиться здесь, а передвижение по улицам стало смертельно опасным — красные артиллеристы наращивали огонь на подавление. Два бронепоезда и десятки батарей били по городу. Никак не верилось, что еще так недавно по Волжской набережной мог проехать с шиком автомобиль «непир»!..

Павел Зуров нес с позиций взрывчатку для накладных зарядов — запас для партизанских действий. Поклажа не из приятных, если пробираться под таким обстрелом! Приготовления Стельцова у рояля раздражали полковника, он курил папиросу за папиросой... Наконец капитан Зуров, невредимый, появился в гостиной. Стельцов тотчас снес в подвал увесистый, двухпудовый рюкзак капитана. Затем трое младших офицеров — Павел Зуров, Михаил Стельцов и Владек Зборович — вышли во двор закапывать генеральское оружие. Нижнему чину такую операцию не поручишь!

Из-за грохота обстрела приходилось объясняться жестами или кричать. Офицеры с лопатами дошли до каменной ограды с решеткой. Она отделяла двор от сада, тенистого и красивого даже сейчас! Старые липы и две серебристо-синие ели то и дело вздрагивали от разрывов, а под самой оградой зияла свежая воронка: фугасный снаряд выметнул землю из-под куста сирени. Обломанные ветки клонились над ворон-

кой, будто хотели прикрыть ее. На острия чугунной решетки взрывом забросило целый кустик пионов, и крупные алые цветы свешивались оттуда.

Втроем подтащили к яме жестяное корыто с пушечным салом, заранее припасенным. Зуров развернул свертки. Великолепные эфесы пашек и сабель с золотыми насечками и узорами на ножнах блеснули на солнышке. Сабельные эфесы с дужками, рукояти пашек без дужек, металлические ножны сабель, кожаные — пашек, лучшие клинки мира, способные расцечь шелковый платочек в воздухе... со всем этим богатством приходилось торопливо прощаться! Офицеры извлекали сверкающие клинки, окунали благородную сталь в пушечное сало, вкладывали клинки назад в тесные темницы ножен и погружали сабли в густую смазку. Затем осторожно опустили корыто на дно воронки, прикрыли сверху промасленной бумагой и двумя слоями досок крест-накрест — в таком виде оружие могло пролежать в земле десятилетия!

Когда офицеры присыпали воронку землей и щебнем, со стороны могло показаться, будто они похоронили здесь мертвого товарища... Оставалось заровнять засыпку и сделать метку, чтобы в будущем найти тайник.

Из дому, несмотря на заваленные щебнем окна, донесло в садик надтреснутый звук рояля и голос Барковской. Капитан и прапорщик понимающе переглянулись с подпоручиком, мол, ради него старается петь артистка, но тотчас музыку и пение заглушило тревожным звуком с реки: со стороны Заволжья на город шли аэропланы.

Офицеры побросали лопаты. Зуров достал цейсовский бинокль и стал ловить в его небольшое поле неприятельские аппараты.

Машины шли треугольником, хорошо держали строй и равнение и всем своим видом показывали, что они-то и есть полновластные хозяева неба с его облаками, ошалевшими птицами и блеклой голубиной.

Над городским центром аэропланы снизились. Раздался отчетливый свист и сильный взрыв. Второй. Третий — поближе. Четвертый — рядом! И снова — воющий свист.. Трое офицеров упали ничком на землю под защиту каменной ограды и чугунной решетки

над ней. Убийственный грохот оглушил лежащих. Щебенка и пыль накрыли их.

...Зуров, очнувшись первым, отряхнулся, прочистил уши и глаза. На лице ощутил что-то горячее, мокрое — из носу сильно шла кровь. Он увидел рядом с собою Стельцова и Владека, запорошенных известкой. Чугунная решетка покосилась, но устояла — иначе всех троих задавило бы.

Капитан помог Стельцову сесть. Зашевелился и Владек. Держась за вывороченные прутья решетки, оглянулись. Самолеты ушли. Стало тише. А что в доме?

Но дома не было.

На месте особняка Зборовичей — большая яма. Над нею садилось облако пыли и едкого дыма. Все вокруг засыпал битый кирпич. Динамитная бомба с аэроплана угодила в подвал, где офицеры всего на несколько часов сложили боеприпасы и взрывчатку для экспедиции!

Семьи прапорщика Зборовича уже не существовало. И прежнего владельца особняка, полковника Зурова, и всех тех, кто старался лучшим образом подготовить восстание, столько раз приходил сюда тайком...

Потому-то глубокой ночью к сборному пункту «группы прорыва» явились из особняка не шестеро, а трое, притом все трое были контужены.

Приняв от капитана Зурова краткий рапорт, Перхуров снял фуражку... Потом вся группа бесшумно взошла на борт остроносого пароходика «Минин». Человек десять разделись до пояса и взялись с усердием за непривычное дело — шуровать топки!..

Им очень повезло, этим участникам «группы прорыва» во главе с самим командующим! На рассвете 17 июля Волгу затянуло таким туманом, что в пяти шагах было трудно разглядеть человека. Плотная завеса походила на грязно-розовую кисельную гущу: сквозь туман чуть просвечивало пламя пожаров и утренняя заря. Кисельный этот туман пропах гарью, порохом дымом и речной сыростью.

Пароходик не зажег сигнальных огней, не дал прощальных гудков. Он тихо отошел от Самолетской пристани, почти не видимый не только для красных, но и для белых стрелков. Лишь осторожное шлепанье

плиц по воде различили красноармейцы, охранявшие Волжский железнодорожный мост. Оттуда кто-то окликнул судно. Но плотный туман не только скрыл предметы, он скрадывал и звуки! Непонятно было, откуда доносит...

Тем, кто стоял на борту, почудилось, словно над головами сделалось еще темнее и еще глуше зазвучали шлепающие удары плиц по воде! Значит, под мостом! Пронеси, господи, мимо каменных опор!

Кажется, с моста по «Минину» стреляли. Никого не задело!.. Значит, теперь самый полный вперед!

Сменяя друг друга у топок, перхуровские офицеры обливались потом, бранились черными словами, но стрелка манометра дошла до черты «нормальное давление пара», и пароход вырвался из красного кольца.

На восходе туман поредел, сделался прозрачным и поплыл к ясному небу в виде пушистых бело-розовых облаков. Позади стихала, становилась неслышной канонада, умолкли пулеметы. Вместо них зазвучали птичьи голоса в прибрежных кустах. Река вот-вот готовилась засверкать и заискриться.

Когда погода совсем разгулялась и крестьянки села Толги пришли с вальками и корзинами белья на реку, они увидели у самой суши остроносый пароходик, засевший на левобережной песчаной отмели.

Первыми полезли на борт мальчишки... Оказалось, что пароход совершенно пуст, хотя уголь в топках еще тлел, а в котлах постукивал и вздыхал остывающий пар.

3

В бывшей земской больнице села Солнцева имелась палата, официально именуемая «второй терапией». Няни и сиделки называли ее слабой, а больные сочувственно вздыхали, когда врач Сергей Васильевич Попов переводил туда пациента: «Теперя каюк! В потерпию сволокли!»

Кабинет врача находился рядом с «потерпией», и доктор чаще всего заглядывал именно в эту палату. Своих больных солнцевский доктор знал только по диагнозам и в лицо — на имена и фамилии у него памяти не было. Не потрудился он упомянуть и именотчества обоих помещиков, построивших солнцевскую

больницу, — богача Зурова и средней руки барина Букетова. Земельные владения этих господ сходились недалеко от зуровского села Солнцева. Георгия Павловича Зурова доктор Попов именовал «господином полковником», а помещика Букетова — просто «благодетелем». Господа морщились, потому что эти обращения произносились в малопочтительном тоне.

Мужики побаивались и уважали доктора. Он отличался угрюмостью характера, люто ненавидел притворщиков, издевался над «нежностями», и лишь больные ребятишки и замученные крестьянским трудом солдатки-вдовы, которых чуть не силком приводили к сердитому доктору, знали, какой запас терпения и доброты был у «ругателя и резателя», так называл доктора солнцевский священник отец Феодор.

Больницу выстроили в лесистой излучине Волги, далеко от реки, верстах в 12 от приволжского села Прусова с его местной пристанью, и в 22 верстах от ярославской слободы Яковлевской. Совсем неподалеку находились места, воспетые и проклятые Некрасовым, — село Грешнево, когда-то принадлежавшее отцу поэта, жестокому барину-крепостнику.

Сразу после начала июльских событий в городе больница стала наполняться беженцами. На вторую неделю белой власти прискакал в больницу конный нарочный с приказом доктору Попову — очистить всю больницу от посторонних и приготовить все места под раненых перхуровских офицеров. Полковник Зуров приложил к приказу личную записку — мол, наконец-то больница, созданная солнцевским владельцем, послужит истинно патриотическому делу.

Попов еще держал в руках предписание белого командования, а перед окнами больницы остановилась очередная телега с раненым. Попов послал фельдшера узнать, в каком состоянии вновь привезенный.

— Вертайсь назад, ребята! — сказал фельдшер угрюмо. — И класть некуда, и кормить вовсе нечем. Вертайсь!

Провожатыми больного были вроде не деревенские, но и не вполне городские. Правил лошадей прусовский мужик Семен, служивший бакенщиком; за телегой шел подросток лет четырнадцати, а на задке сидела пожилая женщина в темном, все время старавшаяся подправить изголовье у больного.

Возница, услышав суровые слова фельдшера, за-протестовал:

— Ты, мил человек, не того... Ты нам самого доктора представь. Плох наш больной. Еле довели.

— Сказано: нету местов! — повысил голос фельдшер, но уже сам Сергей Васильевич явился взглянуть, кого привезли. Семена-бакенщика доктор узнал, велел открыть лицо больного. Пораженный видом пациента, даже отшатнулся.

— Из какой тюрьмы? — спросил он отрывисто. — Сразу сказывайте: где подобрали и кто это?

Бакенщик рассказал доктору правду. Дескать, бежал заключенный с баржи смерти, где людей держат голодом неделю. А этот еще и ранен в ногу и плечо. Течением прибило к Нижнему острову, где больной опаматовался и назвал в городе адрес женщины, чья дочь Ольга тоже томится на барже. Когда посланец бакенщика, мальчик Макар сплавал в город и вернулся, больной стал бредить и жар у него сделался сильнее. Бакенщик и Макарова мать на лодке доставили его до Прусова, а оттуда на нанятой подводке сюда, к Попову...

— Как он, говоришь, себя называл? Александр Овчинников? Член партии большевиков?

Макаркина мать испуганно вскрикнула:

— Да не думайте ничего такого, господин доктор, мы с сыном давно его знаем... Ничего такого за ним не водилось...

Семен только руками развел:

— Да сам вроде бы так сказывал, дескать, партийный он. Бумаг при нем никаких. Кличет в бреду Антонину, суженую свою, что ли? Благоволите куда ни то определить его, сделайте милость.

— Милость! Куда ни то! — передразнил доктор. — На, читай, коли грамотный, что мне из города пишут. Полсотни белых офицеров везут сюда, ко мне в больницу.

— Вот эт-то да-а! — протянул в досаде бакенщик. — Везли, значит, человека от тюрьмы и обратно привезли туда же? Что ж, Макарий, коли так, заворачивай оглобли. Только не сдюжит он, не довезем и до Прусова. Зря, стало быть, на солнцевского доктора понадеялись. Прощевайте, господин доктор!

— Стой! — рассердился Попов. — Я те дам «гос-

подина»! Для чего я тебе бумагу показал? Чтобы ты понял, какая беда всем больным нашим грозит. И этому твоему партийному тоже... Придется больных в лес перевести, в шалаши, что ли... А пока — мигом его — в приемный покой. Фельдшер — из приемного — сразу во вторую терапию!

Больные в палатах сочувственно покачали головами: плох человек, ежели его сразу — в потерпию!

— Как в лес перейдем — пусть здесь за господами офицерами кто угодно ухаживает! — сердито говорил доктор бакенцику и фельдшеру. — А впрочем, — насмешливо повернулся он к матери Макара, — может, вы бы, сударыня, согласились?

— Да нет, нет, что вы! — залепетала бедная женщина, вконец сбита с толку. — У нас в Прусове попутчик остался, господин Коновальцев, нам с ним в Кинешму надо...

— А кто мне накормить больных поможет? — опять резко закричал доктор бакенцику. — Больных тащите, а мне их шишками или древесиной питать? Одни солнцевские помогают, а прусовские не спешат!

— Пришлем тебе рыбки, Сергей Васильевич, за твою доброту. Ужо вон с Макаркою мешок доставлю либо сам привезу. А чего иного — не можем. Сам понимаешь, какое сейчас на реке положение. С бакенцицкого поста не уйдешь надолго, хоть покамест и паромов нет...

Долго не приходил в себя Сашка Овчинников. Он доставил доктору Попову больше хлопот, чем все остальные пациенты из города. Две недели, до конца июля, жизнь еле теплилась в полубесчувственном теле больного Овчинникова. Он не мог взять в толк, почему рядом нет Антонины, а лица все — чужие.

Не узнал он и Семена-бакенцика, когда тот, верный обещанию, отважился вновь проплыгнуть рекой мимо вражеских и своих стрелков, чтобы отвезти рыбы на пропитание больных. Семену тогда не терпелось сообщить Сашке последнюю новость о его товарищах с баржи: утром 19 июля баржу, поврежденную пушечными снарядами и пулеметами, сорвало с якорей, поволокло течением мимо Стрелки и прибило к береговой отмели в Коровниках, почти рядом

с тюрьмой. Дружинники открыли было огонь по барже, опасаясь вражеской хитрости.

Но, к счастью, когда до оконных проемов оставалось от поверхности воды несколько сантиметров, на берегу разобрали слабые стоны и крики: «Не стреляйте! Здесь свои, товарищи!» На палке показался красный лоскут — обрывок платя или платка.

Смелчаки тотчас кинулись к барже и под огнем неприятеля переправили на берег всех уцелевших — десятка полтора призраков... Баржа утонула вместе с телами недавно погибших буквально через несколько минут после того, как спасенных укрыли на берегу.

— Молодец, рыбак-бакенщик, — сказал доктор. — Не забыл своего арестанта! А не узнавал ли ты про ту... сестру милосердия с баржи? Про которую Овчинников и в бреду и на яву толкует?

— Жива, сказывают. Сняли ее вроде с баржи. Молодая, выживет, поправится.

— Это будет нашему арестанту получше любого лекарства... Ну а как в городе? Утихло?

— Как сдались беляки, так и утихло. Только... города-то, почитай, и нет больше.

— Люди-то русские, ярославцы, остались?

— Люди, знамо, остались. Не все сгорели.

— Значит, и город есть. Были бы кости, мясо нарастет... После Ильина дня присылай за своим больным провожатого с подводой, коли сам уже дежуришь. Домой ему пора, пусть уж там отлеживается; одному, без провожатого, ему с такой дорогой не справиться. Слаб очень, на ноги не скоро встанет.

— Попутчики его яшемские еще у меня... Пришлю мальчишку-то, Макара, вместе тогда в Яшму и подадутся.



глава шестая

ПОВОЛЖСКАЯ ВАНДЕЯ

1

На двух парных подводах ехали лесным солнцевским проселком вооруженные люди. Верстах в пяти от села Солнцева обоз свернул с проселка на заброшенную неторную тропу. Еще с полверсты ехали лесом, минуя буераки и болотные мочажины. Дальше ехать стало нельзя, люди выпрягли коней и в пешем строю добрались до глухого лесного угла. Место называлось Баринов, или Волчий овраг. Телеги и лошадей спрятали поблизости.

Давно здесь никто не рубил леса, не косил травы, не собирал даже грибов и ягод. Старый владелец, генерал от инфантерии Зуров, еще во времена крепостного права страстно любил облавную охоту на волков с гончими. С тех пор здесь, в оврагах, постоянно держались два-три волчьих выводка, наводя страх на окрестных солнцевских, грешневских и прусовских крестьян. За годы войны охотиться здесь было некому, «серых бар» против прежнего даже при- было.

Новых пришельцев встретили рябчики и непуганые лесные голуби-вяхири, не всегда слетавшие с ветвей, когда люди брались за топоры. Лишь осторожный черный ворон недоверчиво покружил над новой стоянкой, не предвидя от двуногих ничего доброго. На всякий случай он каркнул, предостерегая самку, чтобы не зазевалась. Вороново карканье главарю не понравилось, он погрозил птице револьвером.

Еще до сумерек люди улеглись спать, выставив караульного. Тот же, кого все они признавали за стар-

шего, собрался в ночной поход... Под его простецким пиджачком прятались два нагана, карманы отяжелели от патронов, на поясе висел короткий кинжал. Глухой ночью добрался он до села Солнцева...

В селе ночной гость держал себя осторожно. Постоял у росстани дорог, где кончалась поскотина из жердей.

Месяц вставал над лесами низко, казался багровым и непомерно огромным. Над низинами свивался туман, брехали псы. На том конце села гулко забухала деревянная колотушка сторожа: туки-туки-туки...

Посреди широченной, как Волга, сельской улицы росли старые березы. Среди них мелькал и взблескивал огонек — лампада у образа Николы в кирпичной часовенке.

Сразу за часовенкой открылся просвет, сюда подходила булыжная мостовая. Она вела мимо земской больницы к барской усадьбе за селом. Парковые усадебные липы издали сливались с хвойным лесом на горизонте, но барского дома уже не было — сгорел в 1917-м.

У больничного корпуса пришелец заметил белые пятна, похожие на нерастаявший снег: больничная прачка расстелила сохнуть и отбеливаться на солнце простыни, да так и не убрала на ночь...

Человек пропустил мимо себя ночного сторожа с колотушкой, затаившись за толстым березовым стволем.

Одну сторону сельской площади занимал храм Ильи Пророка. Избы словно расступались, освобождая место церкви, а поодаль — и пожарному сараю. Перед церковной папертью богомольцы вытоптали траву: песчаные плешины белели под луной, как давешние простыни. Окропленная росой трава поблескивала так, что площадь походила на пруд.

За церковь начиналось небольшое сельское кладбище, где в последние годы хоронили только стариков, баб и детей. Мужчин поджидали могилы братские, в других местностях, обозначенных цветными карандашами на стратегических картах.

Миновав и кладбище, человек в пиджаке узнал справа темный яблоневый сад и крышу домика, тоже мокрую от росы.

Солнцевский священник, отец Феодор, уже забылся сном в ту минуту, когда попадая Анна Ивановна, так и не засыпавшая с самого вечера от беспокойства, уловила тихое постукивание в оконце... Отец Феодор сразу стряхнул дремоту, слез с кровати, натянул брюки и, холодея от страха, заторопился в сенцы. Боязливая же Анна Ивановна подбежала к запертым дверям маленькой горенки, где до отъезда в город жила дочка Наденька. Жарким шепотом зашептала в дверную щелку:

— Слышите, что ли, стучат! В подпол прятаться бегите!

За дверью бывшей Надиной горенки мужской голос произнес зло и тихо:

— Кажется, дождались! — и сразу щелкнул отпираемый замок. Двое мужчин метнулись из дверей, пробежали на кухню и нырнули в подпол. Анна Ивановна только успела прикрыть дверцу люка, как отец Феодор уже ввел в тесную переднюю рядом с кухней незнакомого мужчину в картузе и пиджаке. Анна Ивановна услышала, что посетитель назвал хозяина по имени. Господи, кажется, под благословение подошел... Неужто пронесло беду?

— Видишь, Анна, — подозвал жену хозяин дома. — Еще одного гостя из города привел господь. Узнаешь ли?

Незнакомец снял картуз — и хозяйка увидела сильно похудевшего, возмужавшего, но по-прежнему мальчишески стройного Пашу Зурова, очень похожего на своего отца...

— А разве у вас еще гости из города были? — встревожился переодетый капитан.

— Были! Кабы только «были»! А то ведь и сейчас есть! — сокрушенно промолвил хозяин дома. Он потянул кольцо люка и проговорил куда-то вниз, в темноту подпола: — Вылезайте, господа. Гость прибыл для вас неопасный, одного с вами поля ягода. Их благородие капитан Зуров пожаловали.

Под полом в кухне что-то зашуршало. Два человека выбирались из-под мешков и рогож, сваленных у мучного ларя. Затем из люка показались две всклокоченные головы. Капитан выжидательно молчал, по-

ка отец Феодор помогал обоим очистить их городскую одежду от сора.

— Вот, Павел Георгиевич, извольте видеть перед собою молодого господина Букетова. Племянником приходится старшему господину Букетову, вашему соседу по имению. ...Отважился юноша сей пристанища поискать среди бывших дядиных крестьян, но едва не был ими схвачен. Уповая на старинное знакомство с моей дочкой Наденькой, явился сюда в чаянии пристанища. Наденька же с неделю как уехала в Иваново-Вознесенск поступать в Коммерческое училище. Тем не менее спрятал я у нас гонимого юношу, Христа ради, а заодно уж и товарища его, зане господин Букетов не преминул ко мне и товарища в дом привести.

— Ротмистр Сабурин, — отрекомендовался второй офицер.

Стороны оказались незнакомы друг с другом. Отметая заранее любые покушения на фамильярность, капитан спросил весьма сухо:

— Па-азвольте осведомиться, господа офицеры, когда вы изволили оставить позиции в Ярославле и по какой причине?

Ротмистр, живой и смешливый, опешил от этого тона, потом желчно рассмеялся. Ответил капитану, слегка передразнивая его интонацию и манеру:

— Па-азиици в Ярославле, с па-азваления г-на капитана, мы оставили на четверо суток позднее, чем их бросил наш главнокомандующий, месье колонель Пэ-эрхуров! А что до причин, то полагаю, они известны г-ну капитану не хуже, чем нам. Получили по шее, разбиты вдрызг, рассеяны кто куда, но тем не менее при случае расположены еще строить из себя не то высокое начальство, не то прокурора... Можете продолжать допрос двух ярославских дезертиров, господин капитан Зуров, мы с поручиком всегда готовы к допросу с пристрастием.

— Попросил бы оставить ернический тон и с подобающим уважением говорить о главноначальствующем. Я простился с ним у Толгского монастыря утром 17 июля. С той минуты имею честь возглавлять небольшой офицерский отряд, на который командующий возложил определенные поручения. В силу данных мне полномочий имею честь приказать вам, гос-

подин поручик, и вам, господин ротмистр, считать себя с настоящего времени в составе моего отряда на условиях безоговорочного подчинения. Выполнять возложенное на нас задание предстоит немедленно сообразно нынешним обстоятельствам.

— Дайте-ка папироску, капитан! — сказал Сабурин, поигрывая зажигалкой. — Впрочем, что касается вашего отряда, то какие могут быть у нас с поручиком Букетовым возражения? Отряд так отряд! Задание так задание! Назвался груздем — полезай в кузовок. Спасибо, кузовок вовремя подвернулся, а то в этом патристическом домике да еще в отсутствие девицы Наденьки мы с поручиком за трое суток чуть не окопели от сплина.

— Всецело к вашим услугам, капитан, — подтвердил Букетов-младший. — Мы тут было действительно загрузили.

— Ох, господа мои хорошие, — горестно вмешался в беседу хозяин дома. — Планам вашим, конечно, я душевно сочувствую. Низложение государя нашего православного я как христианин оплакиваю горькими слезами, только... какой уж из меня патриот! Сиротеет паства, коли пастыри духовные в светские дела вмешиваются. Примером тому — жестокая участь моего родного брата, священника Владимирской церкви в городе Ярославле. Получил на днях скорбную весть: брат мой казнен десять дней назад.

— Большевики расстреляли? — заинтересовался Зуров.

— Истинно так, и даже господа эти могут подтвердить сие как очевидцы, только не знали они, что расстрелянный священник был мне родным братом. Под этим сирым кровом вместе росли, царствие ему небесное!

— Да, мы знаем этот случай, — сказал Букетов. — И в газетах про него писали.

— За что же все-таки могли казнить священника? Это же чудовищно! — вознегодовал Павел Зуров.

— Священник-патриот встретил наступавшие на город красные части пулеметным огнем с колокольни своей Владимирской церкви. Вел стрельбу до тех пор, пока красноармейцы не добрались до огневой точки и не захватили стрелка. Говорят, он надолго задержал на своем участке продвижение красных. Был расстре-

лян на месте по приказу красного командования, — пояснил Сабурин.

— Да, настоящий воитель, значит... Что ж, вечная ему память! — сказал Зуров. — Вы, отец Феодор — брат героя, я рассчитываю на вашу помощь. К тому же сам митрополит Агафангел благословил духовенство на брань с красными.

— Семейей обременен и приходом, — возразил священник хмуро. — Со страху и так не спим с Анной Ивановной третьи сутки, пока гости такие в доме. Не вам, православному офицеру, пояснять, чего от нас наша служба и сан требуют ежедневно.

— Особых тягот не возложим, отец Феодор, но... — в голосе Зурова ощутил стал как бы отдаленный гром, — гостей вроде нас изредка принимать придется... Позвольте спросить, господин ротмистр, каковы последние вести из Ярославля? Не поверю, чтобы мы потеряли тех сторонников, каких имели вначале. Героизм и самоотвержение наше видели все. Убежден: скоро там опять все закипит.

— Если вы, капитан, умеете оценивать события реально, то придете к иному заключению. В нас увидели не героев. Преждевременной авантюрой мы оттолкнули даже единомышленников и сторонников, особенно среди мужиков. Будем откровенны: кто дрался под перхуровским знаменем? Только те, кто что-то потерял с революцией. Вы сражались за имя Солнцево, месье Букетов — за дядюшкино, сам месье Перхуров — за тверское, я — за пакет акций пароходной компании, утраченный моим батюшкой. Э цетера! * И в союзники мы готовы взять хоть Христа Спасителя, хоть Вельзевула, хоть самого Иуду. Это наши сторонники бывшие уразумели, и едва ли кто мечтает, чтобы «все закипело»... Ну а нам с вами, капитан, ничего не остается, как по-волчьи драться за голую жизнь, пока тянется в России вся эта канитель. Кроме драки, мы с вами ничему не обучены-с! Да-с!

— Хочу выразить надежду, господин ротмистр, что сама жизнь и народ наш российский вылечат вас от принизма и пессимизма. Убежден, что спасет Россию лишь сильная власть, способная защитить святыни и вечные человеческие ценности, возродить устои рус-

* И так далее (латин.).

ской государственности. А насчет союзников... Ничего зазорного, если мы находим их даже в стане прежних врагов. Красные тоже находят союзников иноземных и иноплеменных, а их вы не обвиняете в беспринципности.

— Не только не обвиняю, а премного восхищен тем, что две недели назад в Ярославле нас, российских офицеров-патриотов, дружно обстреливали целые отряды латышей, и венгров, и китайцев, и чехов, и чувашей, уж не говоря о наших единокровных братьях-петроградцах. Ведь у красных-то принцип: голодранцы всех стран — соединяйтесь! Они этому принципу верны. А мы кричали: Россия! Родина! — а сами сперва ждали не дождались французов, а потом прямохонько к немцу на шею кинулись.

— Не мы изменили принципам: союзники нас попросту предали!

— Не спорю. Но мы, рыцари России, тут же метнулись в противоположный лагерь... Полагаю, г-н капитан, вам известно, кому сдались белые офицеры-перхуровцы в Ярославле вечером 20 июля?

— Стороной слышал.

— То-то стороной! А вот мы с Букетовым в этом участвовали... Комедия была фантастическая, только... не очень смешная. Помните ту немецкую комиссию № 4, что действовала в Ярославле по репатриации немецких военнопленных из России согласно Брестскому договору? Командовал у нас в Ярославле этой комиссией некто лейтенант фон Балъг. Помните?

— Смутно помню. Мельком видел. Я ведь недолго пробыл в городе. Кажется, обыкновенный немец. С моноклем и стеклом.

— Да, в сером костюме, семи-милитер *... И был он тише воды, ниже травы во время июльских событий — ведь мы в Архангельск союзников ждали! Союзники же, как вы знаете, Брестского договора не признали. Они же город и порт Архангельск якобы не от большевиков, а от немцев, наступающих из Финляндии, оборонять спешили! Ну а попутно, неофициально, решили оборонять также и от Советов... Стало быть, и мы, перхуровцы, себя в состоянии войны с немцами считали, как-никак они пол-России зацапать успели,

* Полувоенный (франц.).

господа вильгельмовцы. На Бальга мы смотрели ко-со — враг союзному делу! Говорят, он даже готов был военнопленных немцев из подведомственного ему лагеря против нас, за красных, выставить...

Капитан Зуров морщился, тема казалась слишком скользкой. Он все порывался заставить ротмистра замолчать.

— Но вот становится ясным, что мы терпим поражение. И в канун разгрома вижу я этого Бальга в германском военном мундире, при ордене, с саблей на одном боку и с парабеллумом на другом. Знаете, почему?

— Кажется, догадываюсь, — сквозь зубы вымолвил Зуров.

— Скоро и мы догадались, рядовые перхуровцы. Как выяснилось, генерал Карпов и все прочее наше начальство, не сбежавшее из города вместе с месье Перхуровым, кинулось к немцу с просьбой: SOS! Спасите от соотечественников, от красных русских! Французы, мол, подвели, пусть теперь хоть кайзер выручает! И повели нас, грешных, полтысячи офицеров российских, «сдаваться» этому немецкому чину, лейтенанту паршивому. Мне же и господину Букетову крупно повезло: нам двоим выпала честь — найти в домах побольше белых простыней, разодрать их на полосы и развесить утром 21 июля на крышах руин. Развешивало, конечно, население, а мы с Букетовым руководили...

— Просил бы, с вашего позволения, чуть покороче...

— Извольте! В одном милом доме, вернее, милом погребе мы с поручиком не позабыли переодеться и принять вид «дю простой народ», ву компрене? Рано утречком видим: входят победители, полки, дружины с комиссарами и дивятся — где же побежденные? Вот навстречу красным и выходит лейтенант Бальг и гордо возвещает: «Те русские, что вели здесь военные действия, сдались не вам, красным русским, а мне, представителю кайзеровского командования и великой Германии. Все они — германские военнопленные и подлежат эвакуации нах Дойтчланд! Мои вооруженные силы охраняют их в здании городского театра имени Волкова.

Действительно, видим, торчат около волковского

театра у всех входов какие-то плешивые немцы в жеваных шинелишках, все — из лагеря военнопленных, и держат в руках винтовочки российские, еще тепленькие от наших рук...

— Ну и что же дальше было?

— Эх! Дальше!.. Разумеется, красные предъявили ультиматум, немцы-военнопленные смиренхонько винтовочки наши положили и затопали в свой лагерь. Пришлось отступить и лейтенанту Бальгу, хотя он, конечно, по-человечески сочувствовал нашему брату и сделал, что было в его силах. Ну а голубчиков наших — из театра да прямо за город, по одному адресу со священником Владимирской, отца Феодора братом. Тот, кстати, все-таки оказался и принципиальнее, и смелее нас, офицеров, а конец все равно один был... Насчет нас с Букетовым люди подтвердили, что мы мирные обыватели, белые флаги в городе развешивали, нас и отпустили. Теперь практически изучаем, много ли у нас еще сторонников.

Зуров произнес прежним сухим тоном, не глядя ротмистру в глаза:

— Благодарю за подробности, но просил бы среди офицеров моего отряда... не утруждать себя подобными воспоминаниями. Потеря Ярославля — лишь незначительная тактическая потеря, а большая часть России находится в руках наших или сочувствующих нам войск. Перешедших на сторону противника мы будем беспощадно истреблять, колеблющихся — привлекать. Отец Феодор, в Солнцева кто может реально поддержать нас?

— Милый вы, Павел Георгиевич, уж не обижайтесь на меня, но скажу прямо: никого не найдете! Приезжали ведь сюда ваши начальники, сам господин Мамырин, член партии социалистов-революционеров, однажды на автомобиле пожаловал, а ему мужики на митинге сказали: какой же ты революционер, коли ты против революции? В Диевом Городище после молебна у Троицы собрали мужиков, человек двадцать, и наших, солнцевских, двоих к ним пристегнули, и грешневских мужиков тоже человек пять или десять взяли в поддержку офицерам в городе. Повели дорогой на пригородную слободу Яковлевскую, там еще сколько-то яковлевских мужиков прихватили и всем винтовки выдали. Ну кто еще дорогой, не дойдя до Тве-

риц, утек, кто перед переправой сбежал, а кто на другой же день с позиций лыжи наострил. И заметьте, все ушли с винтовками вашими, и теперь эти винтовки на красной стороне стреляют либо там в запасе лежат. Вот как у Мамырина-то дело вышло, никто воевать за вас не схотел.

— А что у нас в больнице делается? Принял доктор Попов наших офицеров? Я должен увидеть выздоравливающих.

— Батюшка Павел Георгиевич, да мне просто даже странно, какие у вас понятия!.. Не было в больнице никаких офицеров, костромской тракт перекрыт был сперва белыми, потом красными. Сюда только в обход, водою, из Прусова путь был. В больнице вашей одни красноармейцы да дружинники красные лежат, из городских. Доктор Попов записался в партию большевистскую, порет и режет по-прежнему, сейчас у него тяжелораненые долечиваются, больше все рабочие из Коровников. наших сельчан в эти дни Попов в больницу не клал, по домам ходил, коек у него для приезжих тяжелых не хватало.

Лицо Зурова становилось все напряженнее. Он прикуривал папиросу от папиросы.

— Когда нашу усадьбу сожгли?

— Прошлой осенью, еще в октябре либо ноябре. Дезертиров банда зашла и сожгла.

Капитан прошелся по комнате, заглянул в окно. Была предрассветная темень. Зуров опустил занавеску, потревожив листья герани.

— Жатва началась? — вдруг осведомился он, будто вне связи с предыдущими речами.

— Началась! — отец Феодор с готовностью перешел к хозяйственной теме. — Престольный наш праздник, Ильин день, 20 июля по-нашему, теперь 2 августа, приходится на завтрашнюю субботу. Отслужим, отпразднуем, мужики в воскресенье опохмелятся, а двадцать второго, по-нынешнему 4 августа, решили всем миром на Дальние поля пойти, за пять верст. Там места открытые, хлеба ровные, созрели купно и перестоять могут — хоть нынче жни. И между прочим, на ваших Лесных полянах нынче такие травы для второго покоса, каких и прежде не бывало! Будто весной и не кошено было! Дай, господи, вёдро — после жатвы — сразу на второй покос!

— Благодарю вас. Красных застав, кордонов не замечали?

— Были! В Диевом Городище и сейчас проверяют едущих. Пароход посреди плеса на якорь ставят, на моторной лодке подплывают, проверяют пассажиров и грузы.

— Значит, пароходы пошли?

— Пошли, слава тебе господи, пошли, Павел Георгиевич.

— Ну с меня новостей достаточно. Решение принял. Кое-кто пожалеет, что с красными связался. Оружия вы, господа, верно, не имеете?

— У господин Букетова есть браунинг. Мой... не сохранился.

Когда домик опустел, хозяин и хозяйка заперли дверь на все засовы и стали вдвоем на колени перед ликом Ильи Пророка.

3

Стоянку в Волчьем овраге оставили через три дня — Зуров дал отряду отдохнуть в урочище перед делом. Отказавшихся от поволжской Вандеи, обречших прежних хозяев на волчью жизнь надо проучить по-настоящему.

В ночь на 4 августа командир вывел свой отряд снова на проселок. Подводы укрыли. Отряд разделился: пятеро блокировали подступ к больнице, четверо засели среди кустарника, на краю поля, где за ростанью начинался проселок.

Мимо этой второй группы потянулись еще до света подводы и пешие жнецы с косами и серпами. В плетеном возке с пегой лошастью проехали священник с дьяконом служить в поле раннюю обедню перед страдой.

Солнце еще не поднималось над лесом, когда из обеих замаскированных групп, прячась за плетнями и яблонями, подкрались к почти безлюдному селу по два человека. Капитан Зуров, лежа за пулеметом, видел сквозь прорезь щитка проселочную дорогу и ближние домики. Посланцы уже крались обратно. Под застрехами кровель кое-где вымахнули светло-рыжие лисьи хвосты.

Капитан проверил, как вставлена лента, и, резко щелкая, дважды подал вперед рукоять затвора, ставя

«максим» на боевой взвод... Соцтурившись, пулеметчик переждал минуту, другую... И вдруг истошный старушечий крик:

— Батюшки-светы! Караул! Горим!

На пустынной улице появились старики и белоглазые ребятишки. Но лишь только посильнее пахнуло горячим ветром и на краю села взялись пламенем все соломенные крыши, ребятишек будто смахнуло с улицы: детвора кинулась по избам искать там защиты от гудящего сверху пламени.

Пересохшая за жаркое лето солома не давала дыма. Но, когда затрещали сосновые бревна срубов и от палящего зноя сомлели живые деревья в палисадах, выметнуло к небу оранжево-серое полотнище, прошитое красными искрами. И старик пономарь, застигнутый бедою посреди улицы и уже понявший, что не устоять его бобыльному домишке против огненной напасти, побежал не домой, а в другую сторону, к храму, отвязал притянутую к перекладине веревку набатного колокола и забил, затрещав: бам-бам-бам!

Те же, к кому воззвал набатный звон, опустили серпы, распрямили спины и увидели реющее над селом гибельное знамя пожара!

Женщины на поле жатвы бросали старших ребятишек и, не помня себя, босые, растрепанные, что есть духу мчались туда, к домам, к меньшеньким, оставленным с бабками. Кто скакал на выпряженной лошади, кто спотыкался на дороге, вскакивал снова и опять летел без памяти проселочной дорогой, которой не было конца!

В голове спешащего народа оказались, как всегда, подростки. Почти догоняя их, ровно бежали мужики постарше, кто в походных маршах и наступлениях научился рассчитывать запас в мускулах. Все более растягиваясь на бегу, пестрели кучки фигурок в сарафанах и ситцевых платочках. Обгоняя их, промчался к селу возок священника. Отец диакон стоя нахлестывал лошадь, в плетеном кузове подпрыгивал отец Федор без шляпы, с крестом на груди. Головные уже почти поравнялись с придорожной зарослью кустарника.

И вдруг оттуда ударил дробный гром, глуша набат из села. Под босыми ногами крестьян взвихрились маленькие облачка пыли, и сразу же десяток перед-

них мужчин и подростков уткнулись в эти пыльные клубки.

Гром было утих, но тут же возобновился, удары его стали чаще и длились дольше, пока не рассеялись на проселке все кучки белых платочков и сарафанов.

Дополняя пулеметные очереди, посыпались из кустов частые винтовочные выстрелы. Людские фигурки никли, словно колосья, срезанные серпом. Даже в громе пулемета и винтовочной пальбы было слышно, как сливается людской стон и крик в непрерывный смертный вопль.

На другом конце села тоже надрывались голоса, звенели стекла, шла стрельба. Потом глухо грохнуло дважды, и эти два взрыва пироксилиновых шашек водворили там тишину.

А тут, на проселке, пегая лошадка несла мимо кустов плетеный возок. Тело диакона запуталось в вожжах и волочилось за возком. Отец Феодор, барахтаясь в кузове, все пытался перехватить вожжи.

Отец Феодор ухватился за облучок и поднялся в возке на ноги. Он протянул крест, будто для целования, навстречу близкому, но невидимому стрелку. Одинокó возвышаясь над полем смерти, священник опустил крест перекладной вниз и закричал во весь голос:

— А-н-а-ф-е-м-а! Анафема вам, иродам прокля...

Настигнутый пулей, он упал навзничь, и в тот же миг на дальнем конце села взлетела зеленая ракета.

Сигнал этот дал с того конца села второй пулеметчик, подъесаул Губанов. Дело, мол, кончено, путь свободен.

Капитан Зуров выкатил свое орудие на тропку, дал по дороге две последние очереди, добивая раненых в пыли, и подобрал с земли пустую ленту. Четверо стрелков бегом потащили горячий пулемет мимо сельских берез на соединение с губановской группой.

Днем 4 августа Макар Владимирцев одинокó шагнул из Прусова по лесной солнцевской дороге. Семенбакенщик послал Макара провожатым за Александром Овчинниковым. Тому, мол, сподручнее будет вернуться в Яшму вместе с Макарием и его матерью.

Пеших и конных попутчиков на этот раз не случилось. Только навстречу, еще у самого Прусова, по-

пались Макару две пароконные, тяжело груженные подводы с угрюмыми мужиками. Их было девять. Один указал на встречного подростка с узелком, на что другой пренебрежительно махнул рукой и кивнул в сторону прусовской околицы: близко, мол! Макару это не понравилось, пошел осмотрительнее.

Когда лес поредел и даль открылась, Макар не поверил глазам!

Села Солнцева в 80 дворов, с церковью и земской больницей... не было! Ветром несло угарный чад. Могильными памятниками селу белели в палисадниках высокие печные трубы. Лишь пожарный сарай с распахнутыми воротами уцелел посреди села, напротив остова сгоревшего храма.

Вдалеке, со стороны барской усадьбы, Макар заметил всадников на неоседланных лошадях. Макар хотел схорониться за березой, но понял, что всадники — одного с ним возраста. Сельские мальчики гнали табунок стреноженных коней — двухлеток из ночного и, оказывается, тоже не знали о случившемся. Они под утро проспали нападение бандитов. Каждый припустился к своему дому, но лишь у одного мальчика остались живы мать и сестра.

В больнице оказались сорванными с петель двери, но здание не выгорело, а было взорвано. Правое и левое крылья больничного корпуса остались без крыш, со вздыбленными полами. Перед входом, заслоняя доступ в больницу, лежал убитый доктор Попов. Макару пришлось переступить через его тело.

Внутри здания громоздилось месиво из железных коек, разбитой штукатурки и людских останков. Лишь в средней части, в палате слабых, дверь оставалась несорванной. Пересиливая ужас, Макар открыл ее...

На койке Сашки Овчинникова сидел бледный, как известка, больничный фельдшер. А на подушке той же постели Макарий узнал очень худое, небритое, испачканное кирпичной пылью лицо самого Александра Овчинникова. Синие Сашкины глаза напряженно взирали на вход в ожидании, кто же появится из-за двери, а фельдшер держал наготове кочергу, готовый защищаться от вторжения и таким оружием. Других уцелевших во всей больнице не оказалось — взрыв пощадил только «слабую» палату, а, кроме Овчинни-

кова, там уже никто не лежал. Лишь фельдшер случайно спал именно в этой палате во время своего ночного дежурства.

Макарка постоял в нерешительности среди палаты, не в силах сделать еще шаг. И вдруг ему показалось, будто оглушенный взрывом Овчинников пытается заговорить и приподняться навстречу. Мальчик кинулся к Сашке и, рыдая, уткнулся ему в плечо.

Поздним вечером 4 августа в село Прусово прибыл обоз. На нескольких крестьянских телегах привезли раненых и обгорелых людей из Солнцева. За телегами шли плачущие женщины и один мужчина — солнцевский фельдшер. Тяжелых больных отправили парходом в Кострому.

На другое утро, вызванный из Ярославля, прибыл в Прусово парходом «Пчелка» отряд рабоче-крестьянской милиции. Милиционеры, к своему удивлению, узнали, что бандитов, дотла спаливших Солнцево, уже разыскивают со вчерашнего дня!

Оказалось, что накануне прибытия милиционеров целая оперативная группа из девяти вооруженных чекистов вышла к реке, временно конфисковала катер у местного рыбацкого союза и спешно ушла в погоню за бандитами вниз по Волге, обойдя Диево Городище.

Моторный катер на следующий день привели обратно из Новодашкова, где преследователи сдали его под охрану пристанского милиционера, а сами ушли, видимо, в сторону железной дороги...



глава седьмая

СКИТНИЦА АНАСТАСИЯ

1

На унженской пристани в Макарьеве ждал рейсового парохода летчик в кожаном реглане, суконном племе со звездой и вышитыми крылышками на рукаве. Накануне он отметил у макарьевского военного коменданта свое отпускное свидетельство, удостоверявшее, что комиссару Военного учебно-опытного авиаотряда Сергею Капитоновичу Шанину разрешено увольнение от службы для розыска семьи. За четыре года войны и девять месяцев революции это был первый отпуск летчика Шанина, своего рода премия за действия его эскадрильи при подавлении савинковцев, в Ярославле.

Узнал он в Макарьеве немного. Дальняя родственница, двоюродная тетка, чье новое жилье в городе он отыскал с трудом, поведала ему, что осенью 1912 года Мария Шанина с дочкой Антониной поехали в Ярославль в надежде быть поближе к мужу, но по пути заболевшую Машу сняли с парохода. А вот где сняли — разве теперь узнаешь? Тетка сама провожала тогда Машу с Тоней на пароход и запомнила название: «Кологривец».

Оказалось, что пароход «Кологривец» уцелел и по-прежнему ходит на той же линии. Может, и часть команды осталась прежней? На счастье комиссара Шанина выяснилось, что пароход ожидается через сутки сверху и следует до Кинешмы.

...Длинный одноэтажный «Кологривец» был весь заставлен мешками, бочонками, деревянными сундуками. На палубе и на крыше, в проходах и на крыш-

ках трюмных люков ехал народ, в одиночку и семьями, фабричные работницы, мужики с ребятишками и военные с мандатами, кто в соседнее село, кто на край света. Кого ждала лучшая доля, кого — мать сыра-земля... Сергей Капитонович вдавился на мостках в человеческое месиво, ощутил под ногами железный пароходный настил, и через минуту, тоненько отгудев, пароходик заторопился на фарватер.

Сергей Шанин подождал, пока на борту все маленько утрясется и люди кое-как притерпят друг к другу, обомнутя. Затем летчик пошел в штурманскую рубку. Как всегда, были здесь лоцман и штурвальный матрос, вахтенный помощник капитана и обычный гость в лице судового ревизора. Он-то и дал Шанину новую нить для продолжения поисков.

— Гражданка с дочерью, говорите вы, товарищ красвоенлет? В августе 1912-го? Давненько! Однако был я тогда на этом пароходе. Ваша жена и дочь? Почему же раньше-то?.. Так, понятно. Я вас не из любопытства спрашиваю, а как будто припоминаю, что действительно примерно в ту пору врач снимал двух молодич с нашего «Кологривца». Одна — еще девочкой была, а другая... немного старше казалась. Думали все, что — сестры, оказалось, мать и дочь. У матери случился тиф, помню, помню. Их как будто на пристани Яшма ссадили. Мать уже на носилках выносили.

— Кому там сдавали больных? Кто принимал?

— Уж вот этого я, голубчик, не знаю. На месте расспросите.

До конца отпуска Сергею Шанину оставалось теперь двое суток, и нужно было непременно попасть из Яшмы еще и в Ярославль. Пароход вверх — часа через четыре. А между тем Шанин почувствовал, что в этой богомольной Яшме с назарьевским женским монастырем надо бы задержаться и поискать по-лучше.

Куда направиться, коли даже в земской больнице никаких следов Маши и Тони не оказалось?

Монастырь? В больнице сообщили, что там есть фельдшерский пункт. Говорят, оказывают помощь и пассажирам с пароходов, перевязки делают... Заглянуть разве?

И вот по гулкому двору, полному богомольцев по случаю летней назарьевской ярмарки, впервые шагает плечистый летчик в черном кожаном реглане и краснозвездном шлеме, похожем на богатырский. Он тоже впервые видит изнутри монастырские стены, башенки, двухэтажные корпуса келий, соборную паперть с десятками нищих и калек и, наконец, в глубине двора — красное кирпичное здание приемного покоя.

Выяснить о Марии Шаниной и девочке Антонине ничего не удалось. Не разжимая сухих узких губ, осторожная фельдшерица ответила, что ей нет необходимости хранить документы шестилетней давности.

Но тут-то Сергею Шанину повезло!

В приемный покой заглянула старуха монахиня, изможденная трудом рукодельница с воспаленными глазами, красными от бессонницы над вышивками. Назарьевские изделия знали и в Бельгии и в Персии. Старуха попросила перевязать ей порезанный палец. Она сочувственно прислушалась к беседе Шанина с фельдшерицей и решила надомнить мирянина.

— Вы бы, добрый человек, не пожалели труда на наше кладбище сходить. Там сторожем у нас пономарь бывший. Он, не в осуждение будь сказано, к винопитию сильно привержен, но всех покойничков в тетрадочку пишет, да и так, по памяти, любую могилку покажет. Не дай бог, конечно, там близкого человека найти, но если вы полагаете, что супруга ваша в тифозной хворости сюда вошла, то выход ей был один — стопами вперед вон в ту калиточку. Тропою и дойдете с богом. Рано ли, поздно ли все будем в сем месте тихом, скорбном.

Комиссар последовал мрачному совету. Перед самым закрытием кладбищенских ворот шагал он в сопровождении сторожа, к винопитию приверженного, по тенистой дорожке в сем месте тихом, скорбном. Дорожка привела Шанина к выступу кирпичной стены, и тут, на повороте дорожки влево, около молодой белоствольной березки комиссар медленно снял с головы свой остроконечный шлем.

Потому что на простом сосновом кресте увидел он жестяную табличку с давно засохшим на ней венком из лютиков. На табличке Сергей прочитал:

«Здесь упокоилась с миром раба божия Мария Алексеевна Шанина, усопшая 30 августа 1912 года. Жития ей было 29 лет».

Сторож оставил посетителя наедине с запущенной могилой.

...Часа через два незнакомец снова постучал в сторожку, извлек из кармана банку мясных консервов вместе с пачечкой керенок, еще ходивших, но быстро терявших цену.

— Приведи, дед, в порядок ту могилку. Цветы посади, песочком вокруг посыпь. Сделаешь?

— Спасѣ Христос, батюшка-кормилец, в лучшем виде все представляю. Кем она вам приходилась, Мария-то усопшая? Али жена? Ахти, господи! У нас в селе, почитай, из сотни баб едва ли единая мужика с войны дождалась, а ведь вот и наоборот бывает: мужик цел, а молодуха преставилась. Вы, чай, тоже воевали?

— Я военный летчик. Воюю с самой японской.

— Летаете? Ну чудеса! Чай, от хорошей жизни не полетишь?

— От хорошей не полетишь, а к хорошему прилететь можно... Не скажешь ли ты мне, дед, кто все-таки за могилой Марии Шаниной ходил? В запустении она, видать, недавно. Кто надпись заказывал? Кто веночек сплел и повесил? Девочка сюда не ходит? Впрочем, теперь уже... девушка? Не замечал?

В каморке сторожа сделалось совсем сумеречно. Сторож засветил свечку. Резче стали видны мешки отеков под глазами, дряблые щеки, оплывший подбородок. Рука со свечкой тряслась, и приверженность сторожа к винопитию стала куда как наглядной! Но перед гостем в добротной воинской справе старик изо всех сил старался соблюсти важность и достоинство.

— Про надпись ничего сказать не могу. Это монахини малюют, как им протоиерей наш, отец Николай, указывает. А за могилкой послушница одна ходила, монастырская. Может, такой послух на нее возложил отец Николай или мать-игуменья, а может, с хозяйном договорилась, это у нас дозволяется. За иными я кожу, перепадает на рюмочку-другую.

— Я дочь разыскиваю. Как ту послушницу найти?

— Не помню, батюшка, которая ходила. У нас их

с полсотни будет. Теперь уж я сам ту могилку поберегу.

— Постой! Ты на похоронах моей жены был?

— Кажись, был. Ее, что ли, с парохода снимали?

— Не помнишь ли у гроба девочку лет... двенадцати?

— Вроде бы не было такой. Панихиду сам отец Николай служил, благолепно, и кутью нищим раздавали, помню. Не сумлевайтесь, все чин по чину шло. А ежели девочка при больной была, ее скорее всего в приют определили — для послушницы молода была. Вам бы у отца Николая спросить, он все помнит. Только в отъезде он, в Костроме. Скоро воротится, ярмарка-то началась, самые дела для него...

— Дед, пароход мой, слышу, уже гудит. Но скоро я сюда вернусь, дочь искать, Антонину Шанину. Если услышишь о ней что-либо — сразу пиши мне вот по этому адресу... Это мой воздушный отряд под Москвой. До весны адрес не изменится. Ну до скорой встречи!

...Русинский пароход «Князь Пожарский», наверстывая опоздание, сократил стоянку в Яшме. Пассажиров и груза оказалось мало, время позднее, темное, капитан велел отваливать побыстрее.

Едва только подбегая к береговому откосу, Шанин услышал третий гудок: ту-у-у ту-ту-ту. Для спуска к пристани оставались минуты. Внизу виднелись четыре слабо освещенные пристани, и нельзя было сверху разобрать сразу, от которой отваливает пароход. Где же, черт возьми, та высокая монастырская лестница? Или рискнуть спуститься прямо с откоса? Там — заросли, круча, камни...

И вдруг перед летчиком фигурка босоногого вихрастого мальчишки.

— Дяденька военный? Вы с парохода? Опоздаете?

— Да, да, друг, обязательно успеть надо. Как бы туда побыстрее спуститься, чтобы ног не поломать? Без них и летать плоховато, не то что ходить!

— Бегите за мной, покажу. А то не поспеете!

Мальчишка кинулся в сторону, противоположную той, куда спешил Шанин. Колебаться было некогда — комиссар припустился за мальчишкой.

Внизу, у пристани общества «Русь», пароход про-

сигналил тонким гудочком: туу-ту-туу! Вахтенный отчетливо проговорил с мостика:

— Отдать носовой!

И сразу же в красивой, незамутненной тишине волжского вечера раздался звучный всплеск. Это с пристани упал в воду причальный канат. На носу парохода матрос руками выбирал его из воды. Пароход чуть сдвинулся назад — нос стал тихо отдаляться от дебаркадера.

— Сюда! Быстрее вниз!

Под ногами Шанина узкая длинная лестница-стремянка с перильцами. Похожа на пароходную сходню: доска с набитыми поперек брусками.

Стремительно работая ногами, мальчишка ссыпался вниз. Шанин еле догнал его — спуск был, словно на парашюте, в секунды! Полоса гальки. Пристанские фонари. Поднятые сходни. И — корма парохода, плывущая как раз под черным бортом дебаркадера.

Вот уже перемахнул кожаный реглан через пристанские перила. Прыжок над вспененной водой — и «Князь Пожарский» принял на борт комиссара Шанина. Сквозь шум колес и шипение пара донесло до комиссара тонкий мальчишеский голосишко:

— Товарищ военный! А вы правда по воздуху летаете?

Парнишка бежал вдоль перил дебаркадера, догоняя улывающую в ночь корму.

— Так точно, друг! Как ангел божий, летаю! Спасибо тебе! Может, прилечу к вам на аэроплане, найду тебя, покатаю! Как звать? Где живешь?

— Звать Макар Владимирцев. На горке живу, спросите дом отца Николая Златогорского. Всякий покажет. Он мой дядя. Слышите?

Летчик показал, что слышал и понял. А сам подумал:

«Опять этот отец Николай, протоиерей яшемский. Видно, тут его никак не минуешь!»

2

А сам отец Николай, протоиерей монастырского Троицкого собора в Яшме, представительный муж зрелых лет, но еще без пролысин и седин в шелковистых, хорошо промытых и расчесанных волосах, спешно собирался покинуть город Кострому.

Служебная его поездка прошла хорошо. Разрешение на устройство «Яшемской трудовой сельскохозяйственной религиозной общины-коммуны» было получено, иначе говоря, новая ипостась для сохранения яшемского назарьевского монастыря была благополучно найдена. Однако причина для спешного отъезда была серьезна!

Закончив дела в губернском городе, отец Николай сперва весьма терпеливо ожидал постепенного укрепления телесных сил старца схи-игумена Савватия и послушницы Антонины. Их привезли в костромскую монастырскую больницу вскоре после спасения с ярославской баржи.

Послушница Антонина исповедалась и причастилась у отца Николая. Выслушав исповедь, пастырь помолился за упокой души раба божия, доброго односельчанина Александра, принявшего смерть мученическую за други своя. Соболезнующее письмо священник послал старшему брату погибшего, Ивану Овчинникову.

Затем протоиерей в уединении поговорил со старцем Савватием. Поправлялся тот медленно, ослабел телом, но пребывал в здравом уме после пережитого. Оба иерея пришли к одному решению: послушнице Антонине отныне самим промыслом божьим назначен высокий удел духовного подвижничества.

Отец Николай всегда гордился Антониной, самой заметной, самой любимой послушницей в монастыре. Недаром он первым углядел и выделил эту сиротку... Сиротку?..

Господи, жив ли, нет ли ее физический родитель, можно ли без содрогания сопоставить непорочную юную христианку Антонину с безбожным революционером? Портрет этого человека умирающая Мария Шанина передала в руки исповедника, отца Николая. Он сохранен... На обороте адреса... Изредка отцу Николаю попадает на глаза этот снимок летчика-революционера с упрямым лицом, в кожаном шлеме, с печатью антихристовой на челе. Портрет хранится в заветной шкатулке отца Николая. Глаза летчика будто сверлят, пронизывают... Такие-то и отрекаются даже от предсмертной исповеди.. Жив ли, мертв ли он — не назовет его Антонина отцом! Есть у нее отец духовный, соборный протоиерей Николай Златогорский! Он

сделал для Антонины матерью Христову церковь, а кому церковь — мать, тому единственный отец — иже еси на небесех!..

И не сам ли отец небесный, в неизреченной благодати своей, устранил с пути Антонины другое препятствие к служению подвижническому — жениха ее, Александра Овчинникова? Парень, конечно, достоин был женской любви, но... отныне перст небесный указывает Антонине избранника выше!

Конечно, протоиерей несколько досадовал, что опаздывают они в Яшму к началу ярмарки. Ибо при таком стечении народа было бы легко распространить слух о чуде в Ярославле... Спасение узников на барже силою молитвы Антонины и Савватия — разве не чудо?

Ах, нужна, нужна яшемскому монастырю своя святая чудотворица, целительница, магнит притягательный для паствы! Многое у монастыря есть: и чудотворная икона божьей матери, и славное хозяйство, и молебны служат по пристаням, и крестные ходы по селам нередки, и народ не разбалован местный... Вот только не хватает своей собственной, местной святой, чья слава могла далеко разнестись по стране, возвышая имя назарьевской обители!

Давно задумывался об этом прозорливый протоиерей яшемский, и теперь... замысел может осуществиться! Подумать только: сотни безбожников утонули вместе с баржей, а она, чистосердечная христианка Антонина, и старец праведный Савватий молитвами избежали гибели и вымолили спасение также тем, кто ближе к ним держался! Отец Николай уже написал про это чудо и домой, в Яшму, и в соседний Юрьевец, и в Кинешму, и в Пучеж. Письма дошли, разговоры о чуде начались, слухи зреют...

И вдруг...

Произошло нечто столь неожиданное, что оно-то и заставило отца Николая заторопиться с отъездом из Костромы даже с риском для поправки спутников!

Отца Николая позвали однажды исповедовать умирающего в какую-то костромскую городскую больницу. Исполнив эту обязанность, он уже собирался покинуть больницу и неторопливо шел по коридору. Дверь одной из палат была открыта, и священник сразу обратил внимание на знакомое лицо с синими

страдальческими глазами. У этого больного были забинтованы нога и рука. Его принесли из перевязочной, причем говорили с ним, повышая голос, — при ранении пациент был, видимо, и сильно контужен.

Вот он повернул голову к двери, увидел идущего мимо палаты отца Николая, встретился с ним взглядом и широко приветливо улыбнулся как доброму старому знакомому.

Отец Николай хмуро прошествовал мимо, не ответив, но сомнений не осталось: на койке лежал не кто иной, как живехонький и притом явно уже выздоравливающий Александр Овчинников!

Неужели опять помеха святому делу?

Нет, нет, теперь никто не отнимет Антонину у бога! Ее жребий выше простого семейного. Обитель обретет свою святую в ее лице! Значит, скорее покинуть Кострому, скорее воротиться в Яшму и там свершить быстро, в тиши, тот обряд, после коего путей назад, в мир, уже не остается!..

Два знаменитых русских князя, самолетский «Князь Иоанн Калита», шедший вниз, и русинский «Князь Пожарский», торопившийся вверх, встретились ночью в Томне, под Кинешмой, у одной угольной баржи.

Пароходы стали бок о бок и лишь перед рассветом закончили бункеровку. Скучную ночную стоянку пассажиры проспали, стараясь не прислушиваться к шуму, топоту и свисткам.

Комиссар Шанин не нашел места в каютах и спал на кожаном диване в салоне «Пожарского». Он с головой укрылся своим черным летным регланом с крылышками на рукавах и не мог видеть, как перед самым отвалом обоих пароходов вышла из каюты на пустую палубу «Иоанна Калиты» тоненькая большеглазая девушка в черной одежде, будто прямо с нестеровского полотна.

Она придерживалась за перила как выздоравливающая больная. Неуверенно обошла всю палубу и стала на корме в тень, когда пароходы, включив дополнительные огни, стали работать колесами и медленно отдаляться друг от друга. На миг лицо ее, выйдя из тени, оказалось в прямом луче фонаря, и тотчас же с «Пожарского» послышался удивленный голос

молодого матроса, подметавшего внизу угольную пыль:

— Гляди-ко, боцман, какая монашка-красавица! Молоденькая! Вот бы к нам ее сюда!

Недовольный боцманский бас отвечал с укоризной:

— Мало ему девок на Волге! Монашка, вишь, потребовалась!.. Давай, что ли, кончай приборку! Вахту сдавать пора!

Луч фонаря соскользнул с черной женской фигурки на корме, сбежал вниз и расплылся слабым желтым пятном на воде. «Князь Иоанн Калита» разминулся с «Князем Пожарским». Перед взором девушки на корме «Калиты» близко промелькнули окна «Пожарского», где в салоне тускло отблескивало на диване чье-то черное пальто-реглан...

И опять за бортом «Иоанна Калиты» — лишь темная река в просторных и пустынных осенних берегах.

Как величаво ее медлительное шествие к югу, под буйные ветры Каспия! Течет и течет изо дня в день спокойная вода, обходит пережат за пережатом, бакен за бакеном. Течет и плещет в меловые скалы и глинистые обрывы, течет под солнцем и под снегом, под ливнями и градом, течет и под струями смертного свинца. Ведь еще так недавно и так близко отсюда вскипала эта волжская вода от пулеметной ярости и взяла навек в свои глубокие недра черную лодочку и отважного пловца... Жестокая река!

Уходит за корму пенная дорожка между ровными рядами крутых валиков-волн. Висит на синем щите небес узкий серебряный клинок, похожий на турецкий ятаган. Женская фигурка одна-одинешенька здесь на корме, одинешенька и в целом божьем мире!

Взойдет сейчас над этим миром осенняя безнадежная заря, погасит утренние тихие звезды, затуманит и холодное серебро клинка в небе. Будет снова день, еще один день неутешной печали.

Скорей бы к бревенчатому срубу в лесах, чтобы уж не видеть больше ни этой жестокой реки с парходами, ни мятущихся в суете людей, не слышать речей неправедных, не ощущать нечистых взглядов.

Вот он уже различим с палубы, остров спасения от скорбей, остров забвения всех горестей и печалей!

Виден высокий берег, белеет знакомая лестница,

ведущая вверх по откосу, к распахнутым воротам в каменной стене, а за стеною уже золотятся в рассветном луче кресты на соборных куполах и островерхих шатрах.

Но даже здесь, в святом месте, где спит вечным сном родная мать, не чает сердце обрести успокоение. Здесь перед очами все та же река с пароходами и большое село с суетой на ярмарках и пристаях. Нет, прочь даже отсюда, от места божьего, но многолюдного! Здесь лишь положено совершиться обряду, навеки отрешающему душу от всего земного. Сразу по свершении туда вон, за ту зубчатую, как пила, синюю стену на краю окоема, в глухой, заречной, заболотной стороне! Отец Николай, пастырь, обещал помочь, чтобы пострижение совершенно было быстро. Поскорее бы к скитницам, в соседство с лесным жилием старца Савватия.

«Князь Иоанн Калита» сбавляет ход. Его долгий гудок будит звучной своей медью утреннее эхо в яшемских верховьях и низовьях. Монастырской лестницей уже спускается второй священник собора, отец Афанасий, с хором знакомых послушниц и монахинь для встречи парохода...

Народу высаживается много — ярмарка в разгаре. Среди прочего люда сошла по сходням на яшемский берег целая артель — девять мужиков, торговцев маслом. Товар самый ходовой. Еще на пароходе после осмотра клади и проверки документов покупатели приценились к их товару и деньги немалые давали, но те цены своей не назначали и желали непременно совершить сделку на самой ярмарке.

Контроль на пристани было придрался, почему тяжелые ящики пришли не багажом, а как ручная кладь. Но контролеров задобрил деловитый староста артели — он убедил проверяющих, что груз принадлежит девятерым пассажирам, следовательно, превышение веса невелико.

Приезжие дня два постояли в Яшме, разузнали местные торговые новости и, верно, что-то передумали насчет продажи, потому что на третий день они купили лошадь и телегу, погрузили свои тяжеленные ящики и на пароме переправились через Волгу.

Видели их будто проездом в деревне Козлихе, а потом и слуху о них не стало.

Сразу по приезде, попарившись в баньке и переменяв дорожную зеленую рясу на обиходную, палевую, отец Николай осмотрел свои домашние владения и нашел их в порядке — попадья с помощью Макара и его матери убрала сад, варила варенье и готовила своих гостей в дорогу: у Макара скоро начинались занятия в кинешемской школе.

Протоиерей направился в монастырь, обошел закоулком торговую площадь. Оттуда, как отзвук морского прибоя, далеко разносило говор, ржание, бубны с карусели, гармошку...

Пониже главных ворот, откуда спускалась красивая лестница к Волге, на второй площадке, издалека виднелась над откосом надкладезная часовня с цветными стеклами. В ней было темновато и прохладно. Стекла отбрасывали внутрь часовни синие, желтые, алые блики. В бездонную глубину колодца падали капли с деревянной, окованной железом бадьи. Длина цепи — шестьдесят аршин! Поэтому колесо ворота так велико. Послуж водоношения считается у монахинь трудным — поднимают бадью обычно две черницы. Сестра-ключарь Евлогия на ночь запирает часовню на замок.

Монахини ее не любят, а послушницы боятся как змеи. Она издавна служит отцу Николаю источником сведений обо всех тайнах монастырского мирка, обо всем, что делается в кельях и даже в селе. Новости эти она обычно выкладывает в часовне.

Вот она уже спешит под пастырское благословение. Полы одежды развеваются, колышутся щеки, подбородок, все тучное тело. Сестра-ключарь понимает, что времени в обрез, но не в силах удержаться от изъявлений преданности:

— Уж как ждали! Сказать не в силах! Радость какая всем!..

Они спускаются в часовню и присаживаются на скамье для ведер. Протоиерей нетерпеливо морщится — к делу, к делу!

Глаза сестры Евлогии суживаются, лоб собирается в складки. Сначала новости, так сказать, внутренние...

— Преосвященный владыка Ефрем, епископ к нам сюда пожаловал. В карете о четырех лошадях, белой масти. В гостинице стоит монастырской с секретарем своим, Алексием. Эдак с часик назад велели принести

туда в креслице схи-игумена Савватия, что с тобою нынче прибыл, да и тебя поджидают, батюшка...

— Скажи, сестра Евлогия, поспевал ли отец Афанасий без меня к пароходам? Не отучить бы нам капитанов самолетских от литургий на пристани!

— Ох, провидец, твоя правда! Намедни «Князь Василий Шуйский» не стал молебна дожидаться, прогудел и отвалил. Наш яшемский, Дементьев, на нем капитаном. Греховодник! Покарал его всевышний: кто-то с берега либо с лодки выстрелил в пароход и капитана поранил пулей. Сейчас дома лежит, поправляется. Небось образумится теперь.

— Богомольцев нынче много? О чем толкует народ?

— О светопреставлении близком за грехи людские. Шутка сказать: брат на брата восстал! И еще, батюшка, и говорить-то грех, а только дивный слух про нашу обитель пошел: быдто наша-то Антонина-послушница...

— Ну-ну, чего жмешься? Договаривай, что начала!

— Вроде бы в чудотворицы господни попала, благодати сподобилась. Виновата, отец мой, ежели не то сказала.

— Какая же твоя вина, сестрица, если доброе чужое слово повторила с верой? Ведь не от злокозния выдумала, а от людей богоугодную новость услышала, не так ли? Про какие же ее благие деяния народ уже прослышать успел?

Отец Николай и вида не подал, что источником удивительных слухов является он сам.

— Слыхано в народе, будто исцелила одного воина Христова, чудом прирастив напрочь оторванную ногу. Слепым даровала зрение. Молитвою своей спасла множество людей, ввергнутых вместе с нею в узилище и обреченных на утопление.

— Так вот знай, сестрица, все это истинная правда!

— Так, так, так! Спаси, господи! А ведаешь ли, батюшка, что вчера какой-то военный про нее здесь всех спрашивал. На пароход торопился, сказал, еще раз приедет. На кладбище побывал, со сторожем толковал, пьяницей нашим непотребным. У могилы побывал...

— Тс-с-с! Ей самой, послушнице Тоне, про это ни слова! И сторожу вели держать язык... Надо его отослать в богадельню скорее, только обитель порочит... Стой! У Овчинниковых... нет ли каких перемен?

— Скоро, батюшка, еще одних похорон не миновать: матушка ихняя вот-вот богу душу отдаст, недели не протянет, сказывают.

— Все в руце божией... Иван-то Овчинников коней племенных для монастыря пригнал?

— Нет, батюшка. Ехать теперь за ними некому, без Сашки-то. Ведь догляд какой в дороге нужен!

— А задаток Иван взял большой... Ну ступай с богом!

3

По случаю престольного праздника и назарьевской ярмарки двери всех яшемских церквей не запирались от заутрени до всенощной, а в монастырском соборе служил сам владыко Ефрем, епископ одной из северных епархий.

Мать-игуменья, маленькая, плотная, седая старушка, вовсе сбилась с ног в хозяйственных хлопотах. Монастырь продавал пуды меда с пасек, племенной скот, птицу, масло, рыбу своих коптилен, рукоделия монахинь — вязальщиц, кружевниц, вышивальщиц.

Закупать, продавать ехали даже москвичи. Из первопрестольной везли карусели и балаганы веселить народ. Яшемская детвора замирала перед ларьками хохломских, холуйских, сергиевпосадских кустарей-игрушечников. Китайцы-разносчики предлагали шарiki на резинках и бумажные фонарики. Под монастырской стеной выстраивались возы с гончарным товаром, еще теплым после обжига.

И монастырь денно и ночью заботился о духовной пище для всей многоликой толпы костромичей, владимирцев, нижегородцев, ярославцев. Были торжественные богослужения в Троицком соборе, молебны с водосвятием, поездки причта в соседние села, литургии с монашеским хором на торгу и пристанях. А теперь еще и богоугодный слух о новоявленной святой...

Как раз о нем и велась неторопливая беседа в гостиничных номерах, превращенных в архиерейские покои. Владыка задумчиво слушал протоиерея Нико-

лая и схи-игумена Савватия, еще совсем слабого после увечья и тягот. Старца принесли в архиерейские покои в легком кресле, покидать его Савватий уже не мог. За чайком с сотовым медом и монастырскими наливками отец Николай почтительно напомнил преосвященному о просьбе юной послушницы Антонины постричь ее в монахини, пользуясь столь счастливым обстоятельством, как приезд владыки. Мать-игуменья, у кого Антонина была послушницей более двух лет, поддерживала просьбу. Преосвященный слушал задумчиво и в такт плавной речи отца Николая покачивал головой.

— А что думаешь об этом ты, отец Савватий? Не одолеют ли ее потом греховные сомнения? Да еще в пустыне вдали от матери-наставницы?

Старец долго жевал губами, потом заговорил убежденно:

— Не обессудь, владыко, коли прямо скажу: по слабому моему разумению Антонина-юница не токмо не поколеблется в вере и смирении, но, напротив, будучи в чине ангельском, обретет великую исцеляющую силу и звездой засияет на весь православный мир. Даже тот прославится, кто врата ей ко служению отверзнет, в сан посвятит.

Секретарь и послушник владыки искосу глянул на своего главу — не разгневался бы такому пророчеству! Нет, лицо епископа непроницаемо спокойно. Старик продолжал:

— Зрит господь! Сколько живу на свете — не встречал столь богоугодной души. Все помыслы ее только о благе ближних. Недоест, недоспит, лишь бы кому страдания облегчить. На барже многие страждущие к ней взор обращали. Какова же станет сила ее после твоего рукоположения?

— Избавилась от мученической кончины промыслом божьим, — задумчиво произнес владыка. — Два христианина, ты и она, спасение всем вымолили у бога. Это ли не чудо?

— Меня от похвалы уволь, — смутился старец, — я слабый, сахарок сберегал и просфор имел все же не одну, тем самым в бедствии себя несколько подкреплял. Она же маковой росинки, кроме воды речной, в рот не взяла, крошки от меня не приняла. Один кусочек хлебца с воли за две недели вкусила...

— Призовите ее сюда, — велел владыко, — Алексей, за дверью останешься, пока кликну.

Когда со стола исчез самовар, яства и наливки, старухи привели Антонину, бледную, запыхавшуюся: от дальних келий они с прислужницей бежали через двор. На лбу испарина слабости, но сразу пала на колени:

— Благослови, владыко!

Епископ сам опустился рядом с нею. Старец Савватий плакал и крестился на образ Спаса. Окончив усердную молитву, владыка оперся не на сильные рамена протоиерея, а на слабенькое плечико Антонины. Усадил у ног на скамеечке, спросил тихо и ласково:

— И ты, дорогое чадо, на утре жизни готова от мира отречься?

— Иного желанья не имею, владыко. Поколебалась я на барже; отец Савватий сам меня замуж благословил, но... жениха моего господь к себе призвал. Нет его в живых больше.

— Знаю, дитя мое. Тогда ты могла, не оскорбляя церкви, от послуха освободиться, чтобы стать наградой любящему тебя герою, готовому спасти людей. Но герою спасти никого не удалось, ты же молитвою этого достигла. А ныне ты хочешь принести обет, от коего человеческая власть освободить уже не в силах... Не с отчаяния ли готова порвать с прелестями мира? Это противно богу, ибо кто с отчаяния идет в монахи, того и под клобуком будут мучить земные помыслы. Иноком стать можно лишь во имя любви к ближним, ради кротости и смирения. Уясняешь ли себе это?

— Да, владыко. Буду учиться кроткой любви к ближнему и ко врагам нашим.

— Не бежишь ли долга родительского? Не оставляешь ли в немощи отца своего или престарелую мать?

— Нет, владыко. Мать погребена в обители, отца лишилась в детстве. Отец Николай долго его разыскивал... Я сирота. Обязанности имею лишь перед моими благодетелями, отцом Николаем и прежней хозяйкой моей, в Михайловском трактире.

— Похвально мыслишь! Еще спрошу: нет ли страха перед уходом от суеты людской? Радостно ли взглянешь на ножницы, что отстригут прядь волос твоих?

— С радостью жду избавления от муки сердечной. Не страшусь!

— Да будет тогда по желанию твоему... Аминь!

Отец Николай воротился из покоев владыки немного успокоенным. Планы близки к осуществлению, колебания владыки насчет пострижения Антонины преодолены. Пока проживет в далеком лесном скиту близ старца Савватия, а когда все утихнет и сама привыкнет к монашеству, можно и в монастырь вернуть, чтобы больше его прославить.

Дома еще длилась варка малинового варенья для зимы.

Хозяину предложили чаю со свежими пенками. Макар с матерью наперебой стали рассказывать ему про свою бесцельную, ненужную поездку в Ярославль по вызову покойного Зурова. Самым интересным за всю поездку было, конечно, их участие в спасении Сашки Овчинникова, беглеца с баржи, выловленного из реки бакенщиком Семеном и Макашкой...

У отца протоиерея чуть не отвалилась челюсть. Неужели весть о Сашкином спасении дойдет до яшемцев раньше, чем свершится главный замысел всей его пастырской жизни? Нет, этого допустить нельзя!

Макаркина мать далее сообщала, как они вместе с сыном привезли Александра в больницу к доктору Попову.

— Так ее же взорвали потом, эту больницу! — чуть не закричал отец Николай во весь голос. — Погиб он там, в Солнцево, со всеми вместе, когда село белые сожгли. Нечего надежды лишние, ненужные, греховные Овчинниковым подавать!

— Да я его и после взрыва... — начал было Макар, но пастырь окончательно рассердился, бросил чайную ложку на стол и отодвинул стул резко. Подозвал в сердцах жену.

— Когда Макашке надо в школу? Когда уедут?

— Хотели дня через три-четыре, к первому.

— Так вот, Серафима, нужно, чтобы поехали они... завтра, с утра пораньше... И смотри, чтобы Макашка никуда до отъезда со двора не бегал!

Холодными и ненастными сумерками, уже перед ледоставом 1918 года, в калитку яшемского монастыря

постучался одинокий путник. Одет он был в латаную и потертую крестьянскую одежду с чужого плеча.

Привратница Гликерия с неудовольствием открыла бедному богомольцу. У таких обычно не хватает на ночлег в гостиничном помещении, забираются в часовни, где акафисты читают круглые сутки... Путник переминался в нерешительности.

— Ну входи, что ли, родимый, во имя отца и сына и святого духа. В гостиную пойдешь или в часовню тебе стезжу показать? Проходи, калитку опять запру.

— Слушай, мать Гликерия, аль не признала?

— Да ты здешний, что ли? ...Батюшки-светы, святители-угодники! Никак Ивана Овчинникова... младший брат?

— Александром звать, коли забыла.

— Да ведь отпели тебя со святыми в соборе? И сейчас поминания поют, брат отцу Николаю заказывал.

— Вот как? Отцу Николаю? Чудно это мне...

— Иные всплакнули по тебе, удальцу, как передали, что утонул Александр Овчинников, ближних спасая. А следом за тобою и матушка ваша во гроб легла, скоро поминки справят — завтра сорок ден минет. На могилке-то побывал?

— Не успел еще. Нынче из Кинешмы пешой пришел.

— Из Кинешмы пешой? Значит, зажила нога?

— Нога? Эх, кабы только нога!.. Насчет ран и поминовений после потолкуем. Ты мне про самое главное скажи: Тоня-послушница воротилась в монастырь?

Сашка мял в руках шапку. Холодный ветер из Заволжья шевелил светлые Сашкины кудри, еще плоховато отросшие после больничных ножниц. Привратница вздохнула, помолчала значительно и головой показала.

— Антонина-послушница для мира умерла, Александр Овчинников. Уже два месяца, как в соборе сам владыка епископ ее в монахицу постриг.

Собеседника Гликерия покачнуло. Он даже ухватился за каменный выступ. Привратница хотела сказать что-то строгое, душеспасительное, но он перебил ее:

— Постой! Где сейчас Антонина?

Старуха нахмурилась укоризненно.

— Экой непонятливой! Ему толкуют, а он и в толк не берет! Нет на свете послушницы Антонины. И самое имя забудь, зане про него тут и другие спрашивали. Недобрые.

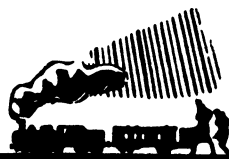
— Какие такие «недобрые»?

Мать Гликерия оглянулась по сторонам.

— Про это не велено говорить. Наезжал тут один, пароходом. Весь черный, и знаки на нем антихристовы.

— С нашей баржи небось... Тоже, знать, не может забыть Антонину-сестрицу! Эх, Тоня-Тонюшка... Можно ли хоть повидать ее? Издали бы, что ли?

— Да говорят же тебе, нет больше Антонины-сестрицы! Есть монахиня, инокиня скитская, святая целительница Анастасия. В лесах она спасается, а где — то не нам положено ведать!



глава восьмая

ПЛАВАЮЩИЕ И ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ

1

На Волге, около Яшмы, уже не горели бакены: навигация закончилась две недели назад. Только гребной паром еще перевозил яшемцев на заволжскую сторону, где открылась лесосплавная контора. Паромщики разбивали у причала тонкий ледок. По нему уже смело расхаживали вороны. Лишь кое-где мелькал на бугристом просторе речного плеса косой парус рыбацкого челна. Ледяной припой по берегам рос изо дня в день, ребяташки уже закидывали с него удочки.

Первую ночь в Яшме Сашке Овчинникову пришлось-таки провести среди богомольцев в монастыре. Идти к старшему брату Ивану просителем не хотелось: не миновать бы тогда прежней лямки по конскому делу. Вел его брат Иван корыстно, нечисто...

Но крестьянские работы закончились, в рыбаки с пустыми руками не примут, в ученики по шорному, валяльному, сапожному делу — великоват, да и душа к этим ремеслам не лежит. В отход либо для настоящего городского учения документы нужны, а они все — дома, у Ивана...

В устье того овражка, что отделяет от села Рыбачью слободку, прилепился домик с застекленной терраской и вывеской «Чайная Бессуднова». За стеклами терраски Сашка с улицы разглядел знакомого милиционера Петра Ивановича. Сашка вошел в чайную. У милиционера от удивления округлились глаза. Сашка уже привыкал к своей роли воскресшего Лазаря и поторопился предупредить обычный поток вопросов. Мол, жив, здоров, чего и вам желаю!

— Ну и чем промышлять думаешь? Опять с братом барышничать? Не та пора, что прежде, не те и ягодки! Присаживайся покуда!

Сашка холодно и отчужденно поглядел на собеседника. На столе появились чайники, сахар и хлеб. Убедительно и твердо Александр сказал:

— В барышные дела братнины я не влезал. Мое дело было — коней ковать, табуны перегонять, от волков, от воров, от огня их беречь. Шкурой своей не дорожил, палат не нажил. Но надоели мне эти конские дела. К другому тянет. Кто у вас сейчас тут партийным начальством?

— Думаешь записаться?

— Думаю. Уже надумал.

— А брат Иван что скажет?

— До его мнения в этом вопросе мне дела нет.

— Ну смотри, кума, тебе жить... В ячейку пойдём, провожу. Она в сельсовете, на площади. Михаил Жилин секретарем.

Милиционер надел фуражку. Поднялся и Овчинников. С Мишкой Жилиным у него сызмальства была лютая мальчишеская вражда. Избрание Мишки в партийное начальство Сашку обеспокоило, но он зашагал с милиционером в ячейку.

В комнате партийной ячейки с колченогим столом под двумя портретами Овчинников застал самого Жилина и еще двух сельских коммунистов. Когда поутихли шутки насчет чудесного явления Сашки из загробного мира, воскресший напрямик заявил, что пришел насчет работы и жилья, потому что, мол, он уже с июля месяца партийный.

— Чего, чего? — протянул Жилин. — Партийный ты? А ну покажи билет! Кто же тебя, лютого кулака, до партии мог допустить? Ты же Овчинникову Ивану, первому на селе выжиге и богатею, родной брат и самый верный помощник?

— Брат за брата не в ответе, если вместе не крали.

— Вот это дело! Вместе спекулировать ездили, вместе прибыль делили, вместе крестьянским коням порошку в корм подсыпали, ежели не у вас те кони куплены, а теперь, стало быть, не в ответе? А по монастырям шастать да по часовням — за это в ответе? Нет уж, братец, за дурачков ты нас не считай. От таких, как вы с Иваном, партию оберегать надо, как

яблоною от гусениц. Тебе-то, знамо дело, партийный билет надобен заместо мандата или пропуска. Небось мечтал к белякам примкнуть в Ярославле, а как не выгорело у них дело, к нашим примазался? Беднячком небось какому-нибудь гнилому антилигенту представился, в доверие втерся, а теперь надеешься корни пустить, как осот на ниве? Нет, Овчинников, в партию мы тебе ходу не дадим!

Овчинников обернулся взглянуть, слышит ли эту речь милиционер, но того отозвали в другую комнату. Активисты, сидевшие молча, доверяли секретарю. Поддержки не было.

— Помоев ты на меня вылил тут больше, чем хозяйка твоя в канаву льет. Пустые слова даже в обиду принять не могу.

— Ну-ну, не больно расходишься! Здесь тебе не ярмарка, дерьмо за добро выдавать. Предъяви билет или... катись!

— Приняли меня на барже смерти, в Ярославле, а билет на берегу выдать обещали. У белых минуты не был, хотя звали, сразу к красным подался. Кто после меня на барже уцелел, я еще сам не знаю, оглушен был. Съезжу, отыщу тех, кто меня принимал, на то время надобно. А покамест к брату в работники идти не желаю, однако, окромя хлеба с чаем, уже семь ден ничего не ел. Заработок нужен для поправки сил. Насчет же порошка лошадям — брехню эту слышал, но в подлость такую не верю. Ни от Ивана, ни от трактирщиков из «Лихого привета» о порошке намек не имел. Вот и весь мой сказ.

— Куда сейчас пойдешь? — Жилин смягчил резкий тон.

— К тебе не попрошусь, не бойсь!

— Ну вот что, Овчинников Александр! — секретарь поднялся с места. — Напиши заявление. Представь доказательства. Дело не шуточное, сам понимаешь. Две рекомендации представь от близко тебя знающих членов партии. Тогда поставим вопрос на ячейке...

Вместе с милиционером Сашка вышел из сельсовета.

— Может, по старой памяти к зазнобушке бывшей в «Лихой привет» завернешь? — подмигнул Петр Иванович.

Сашку передернуло. Он коротко кивнул милиционеру, бросил: «Нам с тобой не по дороге!» — и побрел было в сторону монастырского кладбища, но тучный Петр Иванович поймал его за руку и удержал силой.

— Постой, постой, брат, не сердчай! Совет желаешь мой?

— Ну слушаю.

— Ты Дементьева, капитана, Владимира Даниловича, знаешь? Он в Ярославле, можно сказать, человек свой, там и ячейка его, при пароходстве. Его слово для Жилина самое веское. Постигаешь?

— Он же, верно, с пароходом своим на ремонте в Городце?

— И не угадал! Раненый лежит здесь, в Яшме. На мостике под бандитскую пулю угодил...

— Спасибо, Петр Иванович, подумаю!

Первый сухой снежок слегка присыпал смятые бумажные цветы венков, ленты с черными надписями и хвойные лапы, успевшие пожелтеть. Теперь оба родителя Александра Овчинникова покоятся рядом, как жили...

Сашка сидел на скамеечке внутри ограды. Голову туманила дурнота, одолевала слабость.

Шаги сзади. Неужели брат Иван? Сашка не подготовил себя внутренне к этой встрече — как отказать старшему брату, если начнет просить, чтобы вернулся меньшей к прежнему ремеслу? Но шел к могиле не брат Иван, а подгулявший кладбищенский сторож.

— Александру свет Васильевичу почтение! Постой, постой! Вроде бы я нынче не перепил, а эвон видение какое примерещилось! Чай, за упокой новопреставленного Александра давеча, после поминания, с братом твоим водочкой утешались... Али ты помирать и не собирался еще? Ха-ха-ха! Чего молчишь? Раз пришел на могилку, значит, первое дело — выпить следует. Всухую — какие поминки? Сам господь в небеси возгневается. Премудрость вонме... Я и петь на клиросе, и в хоре, и один могу... А ты, я вижу, гордец. Нехорошо! Знаешь, какие люди ко мне ездют? И письма мне шлют. Вот на, читай письмо от воздушного летчика. Ты думаешь, он мне кто? Первый друг. Уже второе письмо шлет. Отец протоиерей отвечать не велит. А то, говорит, я тебя живо отсюда в богадельню.

На конверте твердым почерком было выведено: товарищу Хрисанфу Жарикову в Яшме от Сергея Капитоновича Шанина... Московская губерния... Военный учебно-опытный отряд...

Сашка развернул и прочел исписанный листок. Комиссар Отряда Шанин справлялся, нет ли вестей о пропавшей дочери Антонине...

Старик спрятал письмо в карман полушубка.

— Во! Читал? Это я нынче получил. Как мимо почты шел, мне и крикнули: зайти, возьми. Отец Николай не знает про это письмо, а то отобрал бы, как первое. Обижает он меня, яко зверь косматый. От епископа прятал, дабы не осрамил я обители перед преосвященным владыкою. Он тут новенькую в монахины постригал, а я в это время взаперти сидел из-за отца протоиерея... Довлеет дневи злоба его...

2

Владимир Данилович Дементьев, сын яшемского рыбака, был назначен капитаном на самолетский пароход уже при Советской власти. Прежнее начальство не благоволило к политически неблагонадежному судовому командиру.

За выздоравливающим капитаном ухаживала жена, Елена Кондратьевна, бывшая Сашкина учительница. Ее не было дома, когда Дементьев сел за чертеж речного буксира, превращенного в канонерскую лодку. Дементьев посылал свои проекты в штаб Восточного фронта, получил указания о доработке. Свой вынужденный отпуск он и решил, невзирая на протесты жены, использовать для проектирования. Ведь первые действия под Казанью волжской военной флотилии, созданной из подобных судов, прошли успешно. Этот опыт надо изучить и расширить. Сильнее укрепить фальшборты буксиров, кое-где приклепать стальные полосы к стенкам наподобие брони... Эх, заполучить бы с Балтики или хотя бы Каспия нескольких матросов-артиллеристов с боевым опытом!..

На крыльце что-то зашуршало. Не супруга ли возвращается? Нет, видимо, там человек чужой. Тень его падает на оконце в сенях, но странный гость будто прирос к двери и затаился.

В сенях прислонен к стене отлично отточенный топор. Дементьев потянулся за ним, но уловил из-за две-

ри не то вздох, не то стон. Сходить, что ли, в комнату за револьвером или открыть?

Дементьев отодвинул засов, но дверь не поддавалась. Словно кто-то решил не выпускать хозяев на улицу.

Владимир Данилович нажал на дверь сильнее — и почти к ногам его рухнул на порог человек в латаной одежде, худой шапке и рваных солдатских ботинках трофейного происхождения.

К удивлению своему, капитан узнал односельчанина. Станный гость оказался трезвым, но почти не мог держаться на ногах.

Когда домой вернулась Елена Кондратьевна вместе с прислугой, на кухне вопреки обыкновению была уже истоплена печь, пахло жареным тряпьем и банным духом. А в столовой сидел бывший ее ученик Саша, бледный, страшно исхудавший, облаченный в капитанский китель и форменные брюки. Капитан угощал гостя ужином собственного изготовления. Владимир Данилович был очень взволнован и сказал жене, что парня нужно поставить на ноги поскорее.

Сама же она должна, не теряя часа, выехать на лошади в Кинешму и там опустить письмо, адресованное в подмосковную летнюю часть, причем никто во всей Яшме не должен это письмо видеть...

Дня через три после ее возвращения из Кинешмы был еще слух от почтарей, что капитана Дементьева Москва вызывала к телефону. Слышно было из рук вон плохо — кажется, первый раз Яшма с первопрестольной говорила. Только разговор у Дементьева до того непонятный с Москвою получился, что ни телефонистка, ни телеграфист, ни почтари пересказать сельчанам ничего не сумели. Верно, Дементьев все о канонерках своих хлопочет, а сплетницам яшемским в этом деле никакого интереса нет.

Но уж вот над воскресшим Алексашкой довелось им посудачить всласть! Правда, с виду он даже покреп в доме капитана Дементьева, даже духом повеселел вроде, однако ни в какую ячейку партийную не ходил, как поначалу грозился. Надоел ему, видно, чужой хлеб! Прямехонько явился к брату Ивану, покаялся: мол, хватил беды на чужой стороне, прими-май, Иван, обратно! Дома и стены лечат!

Брат Иван, конечно дело, обрадовался, что даровой работник воротился, выпивка у них была большу-

щая. А вскоре сел Сашка на конька доброго и обычным манером подался вниз за конями. Говорили, что он их из Области Войска Донского, что ли, пригнать взялся для монастырского хозяйства.

3

Вид из окна на кинешемский бульвар стал безрадостным. Из-под сугробов видны лишь спинки садовых скамеек, а по дорожкам, вдоль голых лип, разгуливают одни ветры. Злыми налетчиками нападают они из-за Волги на притихший город. Занесенная река похожа на мертвую степь, где родятся бураны. На ее страшном просторе издали чернеют унылые вешки вдоль тропок да пятна прорубей, откуда возят теперь воду. Вон они, укутанные в шали и платки, ползут женщины с саночками по крутому съезду, шаг за шагом подтягивая салазки с кадушками, боятся расплескать трудно добытую из Волги воду.

Борис Сергеевич Коновальцев всего пять месяцев назад окончательно перебрался в Кинешму. И улицы, и набережная, и бульварчик кажутся ему убогими после Ярославля. Но старейший на Волге город-красавец разрушен, и лучшие его жители рассеяны по стране, как и семья Коновальцевых. Старший сын, поручик Николенька, убит красными во время июльской грозы. Дочь уехала к мужу в Москву, а сам Борис Сергеевич с супругой Анной Григорьевной пока осели в Кинешме до времен лучших.

Кинешемские родственники, приютившие у себя чету Коновальцевых, почли за благо добровольно самоуплотниться, уступив супругам две комнатки окнами на бульвар, и отдельное место на общей кухне. Все же свои люди, не какие-нибудь пролетарии всех стран...

Анна Григорьевна ухитрилась вчера в темноте купить возок угля, ворованного на станции. Все были уверены, что Анне Григорьевне подсунули «липу» и все бранили ее за легкоеверие. А оказался настоящий уголек! Есть ведь даже у жуликов своя совесть! И нынче Борис Сергеевич блаженствует. Растопил печку-буржуйку, добытую на рынке. За печку взяли недешево, пуд муки, но печка — роскошная! Верно, из какого-нибудь графского имения. Круглая, как бочонок, вся литая из чугуна, с бронзовыми украшения-

ми, колосниками под уголь и скульптурным орлом на крышке. Птица раскрыла хищный клюв и распластала никелированные крылья, готовая вот-вот ринуться на жертву.

Графская печка дала такое тепло, что оконные стекла не слезятся, просохли. Борис Сергеевич глядит на бульвар и на снежные заволжские дали. Из кухни, где хлопочет Анна Григорьевна, пахнет чем-то вкусным. По случаю воскресного дня не нужно идти на службу. Супруги карточек ради устроились служить: Борис Сергеевич преподавателем хорового пения, до коего он великий охотник, в здешней «муздрастуде», то есть музыкально-драматической студии при клубе, а Анна Григорьевна — секретарем в совтрудошколе. Значит, стала шкрабом — школьным работником...

Борис Сергеевич придвинул кресло поближе к окну и благодушно следил, как, минуя вешки и прорубы, ползет по снежной тропке крошечная человеческая фигурка. Поеживаясь в сладкой истоме, Коновальцев уютно философствовал: вот, мол, чернеет среди снегов козявочка, не разберешь даже, мужчина или женщина, а ведь тоже небось сердчишко у нее бьется, в голове какие-нибудь мысли роятся, в тепло ей охота, но гонит ее, козявочку, какая-то житейская надобность, и ползет она, болезная, в человеческий муравейник, город Кинешму... Борис Сергеевич даже поднес к глазам бинокль — единственную вещественную память о сыне-артиллеристе.

В бинокль видно — мужчина. Бородат. Папаха. Котомка за спиною. Вдавил голову в плечи, хоронится от ветра...

Неизвестно, что именно привлекло внимание Бориса Сергеевича к скромной фигурке, но провожал он ее взглядом до тех пор, пока человек с котомкой за плечами не исчез из виду, скрытый краем берегового откоса. Борис Сергеевич тотчас забыл о путнике и задремал. Ему пригрезилось, что он снова управляющий зуровского поместья Солнцево. Кругом лес. И вырастает перед ним высокая башня, откуда вот-вот ринется вниз орел с никелированными крыльями. Уже и клюв раскрыл... Из клюва истекает настойчивый звон... Трень-трень... Орлиный клюв звенит совсем как дверной колокольчик на кухне...

Очнулся. Прислушался. Хлоп — кухонная дверь.

Чужой голос с хрипотцой спрашивает про Коновальцевых... Шаги по коридору...

— Войдите!

Через порог переступает слегка запорошенный снежной пылью бородатый человек в папахе, с котомкой за плечами.

...Встречу бывшего управляющего с бывшим адъютантом нельзя было назвать сердечной. Анна Григорьевна сидела за столом с поджатыми губами. Ведь бедный Николенька зарыт в глинистой почве брошенного ярославского окопа, а вовлекший мальчика в эту безумную авантюру Михаил Стельцов снова явился в дом, на сей раз к мужу. Опять заговорщицкие планы? И как только сумел так быстро отыскать нас в Кинешме? Искал наших родственников, нашел нас самих. Счастлив этой удаче, уплетает за обе щеки и поглядывает, что налито в графинчике... Простая вода из Волги, да-с!

После обеда хозяин и гость ушли в спальню. Анне Григорьевне все слышно в столовой, а в коридор ничего не доносится.

— Ну рассказывайте... Откуда к нам?

— Это, знаете ли, длинная история.

— Да ведь кое-что известно из газет. Вы, что же, участник солнцевского дела?

— Участник.

— Н-да, жаркую вы там учинили баню. Ни села, ни жителей, ни посевов. Даже рощи вокруг села выгорели. Пустыню, стало быть, изволили по себе оставить? Ну-с, а обстрел парохода «Князь Василий Шуйский» и ранение капитана на мостике — тоже ваш подвиг?

— Наш.

— Все это, знаете ли, похоже на эдакие жесты безнадежного отчаяния. По моему разумению — нехорошо-с! Сеете ненависть, беду сами пожнете. Ни к чему благому не приведет!

— Это все дела минувшие. Сейчас надо вперед смотреть.

— А впереди, смею спросить, вы усматриваете маяк надежды?

— Судя по всему, помощь белому движению в России растет. Формируются новые армии. Тот запоздавший к июлю морской десант союзников все-таки высажен в Архангельске, хотя для нас и... несвоевре-

менно. Все-таки 17 кораблей, армада! Эх, кабы они тогда не опоздали — Москва уже пала бы!

— Желал бы, господин подпоручик, осведомиться, какова цель вашего визита ко мне. Наверно, не для обмена вчерашними новостями?

— Прибыл по заданию нашего командира капитана Павла Зурова.

— Вот как! Значит, Павел Георгиевич жив? Я-то полагал, что под рухнувшим кровом погребены оба, и отец и сын.

— Как и я, Павел Зуров случайно покинул дом перед взрывом. Отрядом, действия которого вам известны, командует он. Но мы сейчас прекращаем партизанские действия в тылу и выводим отряд в направлении Перми для соединения с главными силами Добровольческой армии.

— Прекрасно, но... я-то тут при чем?

— Капитан, покидая эти края, хотел бы все же иметь при себе юридические документы на свое поместье. За ними и прибыл к вам, Борис Сергеевич.

— Хм. Отнюдь не простая просьба. Вы же сами, подпоручик, деятельно участвовали в переоформлении документов на подставное лицо. Или забыли про Макария Владимирцева?

— Нет, конечно, не забыл. Но ведь это лишь прозрачная юридическая форма, а настоящим владельцем оставался...

— Позвольте! Операция была проведена дальновидными, профессиональными юристами. Всю недвижимость Георгия Павловича сразу после низложения монархии как бы ликвидировали из опасения конфискации указанного имущества у бывшего крупного жандармского чина. Дом в Ярославле продали поляку, имение переписали на Владимирцева, чтобы юристы могли далее продать Солнцево уже от имени Владимирцева и перевести деньги в швейцарский банк. Но случилась большевистская революция, продажа именина состояться уже не могла. Поместье было передано крестьянскому обществу. Если Советская власть не удержится, конфискация, возможно, будет отменена, но юридическим владельцем Солнцева является все-таки мой подопечный Макар.

— А нельзя задним числом... аннулировать эту сделку, поскольку она потеряла смысл?

— Все было исполнено в государственном порядке, и весь смысл передачи был именно в том, чтобы...не всякий догадался, какова цель операции. Все копии актов, подтверждающих права Владимирцева на Солнцево, находятся у нотариуса г-на Розеггера в Ярославле. Сам г-н Розеггер и его архив уцелели, я справлялся. Вас он хорошо знает. Обратитесь за бумагами туда.

— Ну а ваш... практический совет Павлу Зурову?

— Такой же, как был Зурову-отцу: держать этого юношу поближе к себе. Припугните его, будто красные рыщут по следу солнцевского помещика Владимирцева. Только... стоит ли сейчас овчинка выделки? Вы рискуете быть узанным.

— Это уж моя печаль. Дело все же о четверти миллиона.

— Пока красные в силе, эта сумма весьма сомнительна. Кстати, где же сейчас дислоцируется зуровский отряд?

— О, вы хотите сразу выведать военную тайну! Вам-то я готов ее открыть! Понимаете, некий Иван Губанов, подьесаул...

— Хромой пулеметчик, что ли?

— Именно! Вот он и подсказал нам отличное укрытие. Понимаете — заволжские скиты! Губанов показал нам дорогу через непроходимое болото. Глушь страшная, полно волков, население реденькое, к богомольцам привычное. Среди скитов нашли один заброшенный, на отшибе. Стены — дуб, срублены на века, крепкий тын, по углам — пулеметы наши на турелях...

— Откуда же турели, подпоручик?

— Это для красного словца. Привязываем пулеметы к тележному колесу... Круговой обстрел.

— Что же там, одни мужчины спасаются?

— Сперва видели одних мужчин, потом оказалось, что в восьми верстах есть и женский скит. Тут даже некоторая опасность есть.

— Почему?

— Да появилась там недавно какая-то новоявленная святая. Только мы стали нашу крепость обживать — привозят к соседям эту чудотворицу. По всей округе разнеслось. Переправа через болота — самая тяжелая, тайная, а все равно тянутся туда к ней усерд-

ные богомольцы. Пришлось нам кое-каким камуфляжем заняться. Бородки отпустили, из крепости выходим в подрясниках и скуфейках, Зуров заставил монахов сшить для нас...

— Ну а взглянуть на эту святую не довелось вам?

— Зуров ходил туда с неким ротмистром Сабуриным. Под видом монашествующих странников.

— Небось выдали себя?

— Нет, Зуров и Сабурин — оба недурными артистами оказались, умеют по-простонародному одеться и говорить. Так этот ротмистр Сабурин — уж на что цинический тип, но и то диву дался, как Анастасию-целительницу увидел. Оба решили, что целительница эта не шарлатанка, а просто страстная фанатичка, с большой силой воздействия на простые умы. При том молода, красива и очень скромна. Держится подкупающе просто, но так строго — что не подступишься. Ей там чуть не звери лесные уже подчинились!

— М-да, прямо лесная сказка о деве Февронии... Чего только на матушке Руси не водится! Что ж, Мишель, рад был вас видеть, прошу передать сердечный привет капитану Зурову. Готов всецело помогать ему в деле с поместьем, но... исход этой внутренней распри в России мне далеко не ясен. Понимаете, Мишель, «народ отвык в нас видеть древнюю отрасль воинственных властителей своих», как сказано у Пушкина. Предложил бы вам гостеприимство, но сами изволите видеть, живем в чужой квартире... Милости просим и впредь заезжать!

Утром следующего зимнего дня к директору Единой советской трудовой школы, что занимала дом бывшей кинешемской реальной гимназии, явилась мать ученика Макария Владимирцева. Запинаясь, она объяснила директору, что сын вынужден прекратить на месяц занятия, не считая каникул.

— По какой причине? — спросил директор хмуро.

— Сестра у меня в Яшме... заболела...

Директор, из прежних учителей-реалистов, сидел в ватной шубе и меховой шапке, так холодно было в кабинете. Да и собирался он на совещание в роно. Стал обматывать голову поверх шапки толстым шар-

фом, прижал к груди портфель. Мимоходом буркнул секретарю:

— Анна Григорьевна, выдайте гражданке Владимирцевой справку: сын ее Макарий освобождается от занятий на месяц по семейным обстоятельствам...

...В тот же вечер из сеней невзрачного домика на Нижней улице вышли два путника с котомками. Сильно подмораживало, в пустых фабричных окнах Кинешмы пылала оранжевая заря. Город дымил печными трубами, зажигал скупые керосиновые огни. Люди затыкали все щелочки, сберегая домашнее тепло перед зимней ночью.

Один путник, бородатый, в папахе, зашагал вдоль железнодорожного пути к станции, окруженной высокими елями. Там отправлялся поезд на Нерехту. На одной из товарных платформ стояло орудие под чехлом. Красноармеец в шлеме, тулупе и с винтовкой охрип, осаживая мешочников, что пробовали лезть на платформу.

— Браток, помоги! Ополченец я, в Ярославль надобно, в свою часть!.. А этих мы вдвоем живо спихнем!

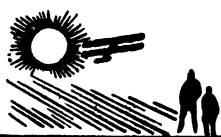
И бородатый ополченец с котомкой заорал страшным простуженным голосом:

— Осади назад! Видишь, груз воинский! Давай отселе!

Так он и отбыл на воинской платформе, прицепленной к поезду — максимуму, а на станции Ермолино его поставили на котловое довольствие части...

Другой же путник, покинувший дом на Нижней улице, был невесел. Черная шапка сползала ему на лоб, валенки пришлись не по росту. Вышла проводить его пожилая женщина в платке, наброшенном на плечи. Потеряв подростка из виду, она вернулась в опустевшую горницу и прилегла на постель, словно еще хранившую тепло того, кто ушел...

Долго без слез и молитвы, словно в оцепенении, следила она взглядом за последним лучом заката, медленно угасавшим в обледенелом оконце. Что-то говорило ее материнскому сердцу, что сын покинул этот дом навсегда.



глава девятая

„ЛИХОЙ ПРИВЕТ“

1

По дороге из Кинешмы в Яшму, у села Лугового, обогнал Макария Владимирцева обоз яшемских мужиков. Они возвращались домой с городскими покупками к рождеству, кто-то из обозников узнал попова племянника и мужики взяли Макара с собой.

Двигались не спеша — все трактиры и чайные остались позади. До самой Яшмы шагал Макар рядом с нагруженными санями, изредка присаживался на мешки и свертки, но скоро замерзал в своей шубенке и снова топал по снегу.

Утром, на зорьке, увидел он кресты яшемских монастырских храмов и сельских церквей в непривычном зимнем уборе из снега и морозного инея. Под куполами, на карнизах, присыпанных снежком, сидели нахохленные галки, и снизу казалось, что на церковные главы накинута пушистая горностаевая ма́нтия с черными точечками-хвостиками.

Мальчика не радовала эта рождественская праздничная краса. Он часто озирался назад, не скачут ли следом чекисты поймать и засадить в тюрьму солнцевского помещика Макара, еще к тому же и бывшего кадета. Как страшно говорил давеча про чекистов подпоручик Стельцов! Спасение в бегстве. Поэтому Макар в дороге. Через неделю заедет за ним к тетушке Серафиме сам подпоручик Стельцов. Вместе тронутся дальше, в леса, к белым партизанам...

Обозники выехали из лесу, пустили коней рысью. Миновали пасеку, кладбище и длинную монастырскую стену. Укатанная дорога с разлету выбежала на про-

стор торговой площади и еразу потерялась в ней, как речка в озере.

Вмиг обоза не стало: подводы удалялись во все стороны, исчезали в улочках и прогонах. Остался серед площади один Макарка, продрогший, голодный и несчастный. Уныло побрел к Волге. Вот и откос.

Макарка глянул вниз, ожидая увидеть ту же снежную пустыню, что и в Кинешме, но, к немалому удивлению, увидел нечто совсем другое!

На Волге, вдоль берега, тянулась расчищенная от снега ледяная дорожка, похожая на конькобежную. На дорожке былолюдно и шумно. Множество яшемских школьников работали там лопатами и метлами. Немало было на льду и взрослых яшемцев. Макарка узнал учительницу Елену Кондратьевну, ее мужа, капитана Дементьева, сельского коммуниста Жилина, милиционера Петра Ивановича и кое-кого из слободских мужиков. По концам дорожки воткнуты были шести, на них натянуты кумачовые плакаты: «Даешь красное рождество», «Привет агитэскадрилье».

Не успел Макарка оправиться от изумления, как снизу, с реки, раздались еще и звуки веселой музыки. Ребятишки так тесно обступили музыкантов, что их трудно было и узнать в толпе. Но Макарка глядел на эту толпу сверху и мог различить, что играют трое: матрос Клим растягивает межи русской гармоники, Михаил Жилин дует в трубу и еще какой-то парень в шинели бьет правой рукой в барабан, а в левой держит железную палочку и позванивает о медную тарелку, приделанную к барабану. Лучше, чем на летней ярмарке, это зимой-то!

Все тоскливые мысли как метлой вымело из Макаркиной головы. Он узнавал товарищей летних игр. Вылетели из головы чекисты, дядя Стельцов, забылись холод и усталость. Он завопил: «Ребятки! И я с вами!» — и рванулся вниз по стремянке. Пролетел мимо попова домика, даже и не глянув на него.

Этот бег-полет по стремянке напомнил Макару, как летом, в дни ярмарки, он помог приезжему летчику поспеть на «Князя Пожарского».

— К нам, к нам, Макарушка! — кричали две девочки из группы Елены Кондратьевны. — У нас мальчиков мало!

Им возражали школьники младшего возраста:

— Ишь хитрые! Сами-то какие здоровушие! Вам легко расчищать, а каково нам большие лопаты ворочать? Иди к нам!

Внизу Макар сбросил котомку на снежный отвал, схватил большую лопату, от которой вкусно пахло чуть прихваченной морозцем осиной. За расчистку он принялся так рьяно, что вскоре рядом с Макаровой котомкой лежала и Макарова шубейка. От мальчика валил пар. Наконец Жилин отложил трубу:

— Хватит, ребята! Сколько летчики просили — мы, им расчистили. Даже с запасом. Роздых всей команде!

Ребята угостили Макара пирожком с луком. Две молодки притащили из чайной большой самовар. От него шел дымный и парной дух, как от парохода. Прямо на льду молодки стали поить народ горячим медовым сбитнем. Макар еще и в очередь за кружкой стать не успел, как из-за откоса будто налетела снежная буря, и прямо над толпой простерли бело-голубые крылья две искусственные птицы.

До этого дня Макар еще не видел аэропланов — в Ярославле он их проспал, здесь же их отроду не бывало. Аэропланы сделали круг над излучиной Волги и столпившимся народом, потом головной самолет чуть-чуть набрал высоту и пошел на второй круг, а задний устремился прямо на расчищенную дорожку...

От страха Макар зажмурился и заткнул уши, потому что ждал крушения... Когда же отважился глянуть, не превратился ли аппарат в груды обломков и не проваливается ли под ним лед, аэроплан успел уже пробежать треть ледяной дорожки, и летчик в шлеме махал с борта рукой. Сквозь треск и хлопки мотора стали вновь слышны звуки гармоники, трубы и барабана. Толпа запела песню, которую Макар учил в школе: «Вставай, проклятьем заклеименный...» Самолет развернулся и отрулил на боковую площадку. Скоро оба аэроплана стали на ней рядышком. Четверо летчиков в кожаных костюмах, меховых сапогах и огромных рукавицах спрыгнули на лед. Школьники и взрослые сгрудились около аппаратов.

Прибежал и Макарка, с наслаждением вдыхая упоительную волнующую примесь бензина к морозному воздуху. Один из пилотов поднялся на крыло аэроплана, как на трибуну, и стал говорить речь. Он поздравил крестьян села Яшма с добрым начина-

нием — красным рождеством и стал передавать привезенные подарки — книги для сельских школьников. Пришло, мол, то желанное время, о котором мечтал великий поэт Волги Некрасов, и вот сегодня мужики понесут домой с ледяного аэродрома «не Блюхера и не Милорда глупого», а книги Белинского и Гоголя...

Голос летчика показался Макару знакомым. Теперь он смог разглядеть его в лицо. Да, это был тот человек, кому Макарка показал в дни ярмарки дорогу на пристань, к пароходу...

Летчик попросил минуту тишины и объявил, что сейчас оба аэроплана покатают самых лучших учеников здешней школы. Их по одному, а маленьких по двое поднимут в воздух. На задних сиденьях.

Макарку сразу отеснили. Он и не пытался протискиваться вперед, не смея и мечтать о таком счастье, как полет. Макар отдал бы за это полжизни, но сам понимал, что двум летчикам едва ли удастся покатать даже всех первых учеников...

И вдруг случилось чудо. Летчик спросил:

— Ребятки! Не знает ли кто из вас Макария Владимирцева?

Мальчик остолбенел. Но его тотчас подхватили под руки и потащили к самолетам. Он совсем близко увидел и натянутые струны расчалок, и красный пропеллер, и дутые шины колес, как у мотоциклета, и... лицо пилота в вырезе кожаного шлема.

— Здорово, друг! — услышал он будто сквозь сон. — Что же это ты, брат, даже без пальтишка? Видно, хорошо поработал лопатой на расчистке? Наверху холодно, простыть можешь. Этого парня, ребята, я первым подниму в небо. Я не забыл услуги, которую Макар Владимирцев оказал мне осенью. Помогите-ка ему потеплее одеться. Не забоишься, а Макар?

Нет, Макар, робкий тихоня среди сверстников, сейчас ничуть не боялся. Он воспрянул духом, волновался, но не от страха, от радости!.. Вмиг оказалась на нем шубенка. Учительница укутывала его и теплым шарфом, а милиционер Петр Иванович держал наготове меховой тулупчик, чтобы завернуть в него первого воздушного пассажира-яшемца. Кругом звенели, галдели ребячьи голоса. И вдруг что-то тревожное уловил Макар в этом веселом шуме. Всем существом своим он почувствовал, что над его безмерным сча-

сьем нависает угроза... Она исходит от привычного Макару, но такого ненужного сейчас слова:

— Попадья! Попадья!

И беда грянула! Резкий голос Серафимы Петровны прозвучал совсем близко, покрывая детский галдеж. Из расступившейся толпы шла к Макару, раскинув руки будто для материнского объятия, попадья Серафима Златогорская. Взор ее пылал гневом, способным испепелить крылатых гостей.

— Сейчас же отпустите ребенка, гражданин летатель! Что это вы за моду взяли, детей от родителей увозить? Макарушка, домой! Сию же минуту!

Кругом сделалось тихо. Серафима Петровна уже вцепилась в Макаркино плечо, рванула с него чужую шаль и прихватила при этом шапку с головы.

— Вы можете простудить ребенка, гражданка! — спокойно сказал один из летчиков. — Что ж это вы его на морозе раздели?

— Молчал бы лучше, разбойник! — потеряла остатки спокойствия Серафима Петровна. У нее срывался голос от негодования. — Думаете, мы не понимаем, что затеяно? Ступай, Макарушка, вон и батюшка наш, отец Николай, сам поспешает на выручку тебе. Иди, миленький, иди домой, не позволим мы этим летателям увести тебя, сердечного.

— Граждане! — обернулся летчик к толпе. — Кто она ему, скажите?

Отец Николай, супруг Серафимы, уже протеснился к аппаратам.

— Кто она ему, — сказал он мягко, — сие не столь важно, ибо она — близкая родственница. И на ней лежит ответственность за ребенка в отсутствие матери. А против желания родственников никому не дозволено вовлекать несовершеннолетнего в неразумные и опасные предприятия.

— Макар! — крикнул летчик мальчику. — Да сам-то ты чего молчишь? Если тебе хочется полетать, скажи это гражданину служителю культа.

Но Макар уже понял, что все погибло. Бледный, неподвижный, с опущенной головою, стоял он без шапки у крыла аэроплана. Слова летчика он понял, но даже не пошевелился и головы не повернул.

— Уведи отрока, Серафима! — отец Николай уже покидал поле боя как победитель.

— Шапку-то ему хоть наденьте, заботливые пастыри! — вслед им бросил летчик.

В наступившей тишине мимо милиционера, еще державшего в руках меховой тулуп, мимо сторонящихся школьников повела попадья убитого горем Макара. Он не заплакал, даже поправил шапку, неудачно нахлобученную ему попадьею на ходу, но во всем его облике было столько отчаяния, что и самим победителям стало не по себе.

Кто-то протянул Макару его котомку. Тот и не заметил этого движения из толпы, но Серафима Петровна тут же ухватила котомку за лямки и понесла сама. Супруг ее старался пропускать мимо ушей оскорбительные возгласы, звучавшие вслед, и еще на лестнице-стремянке, похожей на парходную сходню, стал пояснять Макару, что нынешний его отказ от греховного, небогоугодного удовольствия зачтется ему в будущем как проявление главной христианской добродетели — смирения.

Говоря все это, протоиерей пламенно мечтал, чтобы авиатор потерпел крушение, чтобы брякнулись о волжский лед и пассажир-постреленок, который полетит вместо Макара, и сам пилот. Но снизу донесся бодрый, уверенный стрекот мотора. Аэроплан выруливал на старт под крики детворы...

Только дома, без свидетелей, супруги Златогорские со всей строгостью допросили Макара. Серафима Петровна извлекла из котомки измятое, но особо тщательно заклеенное письмо, узнала руку Макаровой матери и стала читать. А стекла в доме содрогались от дружной работы моторов и радостных возгласов ребятишек на реке...

...Когда Макар, измученный бессонной ночью в дороге и потрясением на ледяном аэродроме, уснул, Серафима Петровна прочла мужу письмо из Кинешмы.

— Нет, ну ты подумай, отче, до чего малец ребячлив! Кинуть на снегу котомку с таким письмом! Попади они кому хитрому в руки — скольким бы добрым христианам голов не сносить!

— Погоди, Серафима, не трезвонь! — отец Николай хмурился и пожевивался. Сколько событий сразу! — Дай-ка письмо.

Он внимательно перечитал приписку, сделанную уже после подписи: «Сима! Пошли весточку новым

богомольцам, что брата Михаила старец Борис благословил податься ко святыням ярославским. Назад будет через недельку. Отрок должен дожидаться его у тебя. Потом вкупе с отроком брат Михаил пристанет к остальной братии. Если потребуется, пусть богомольцы справляются у Марфы-трактирщицы...» Приписку явно продиктовал Макаркиной матери сам «брат Михаил», то есть подпоручик Стельцов...

О «новых богомольцах» на заволжской стороне отец Николай знал давно. Монастырские и скитские решили сразу: гостям этим не мешать, помочь им пройти надежными лесными тропами на Керженец и Ветлугу, к скитам старообрядцев. С ними есть постоянные связи через нарочных. Вот-вот собирались уйти из-под Яшмы опасные постояльцы — и вдруг нынче утром новая напасть — прилетели эти бесовские аэропланы! В смутном предчувствии опасности отец Николай потек следом за матушкой на реку взглянуть поближе: нет ли среди прилетевших того...

Отец Николай, размышляя над вскрытым письмом, гладил костяным гребешком свои каштановые волосы. Они сухо потрескивали и взлетали навстречу гребешку. Яшемскому пастырю было над чем поломать многомудрую голову! Глянуть поближе удалось — рядом стоял! Худшие опасения подтвердились. Прилетел именно тот! Именно то лицо запечатлено на фотографии, шесть лет хранящейся в железном ларчике. Какие же у него могли быть прежние встречи с простаком Макаркою? Что за услугу мог раньше оказать ему Макар? Как примет инокиня Анастасия весть, что отец жив и давно ее разыскивает? О нет, нет! Этой встрече необходимо помешать. Иначе катастрофа! Ведь через свою любимую духовную дочь он надеется обрести незримую власть над обителью, надеется превратить захолустный монастырь в настоящую духовную твердыню с прославленной святой! И вдруг — такая угроза! Дочь может узнать, как пастырь «разыскивал» отца-арестанта, а дальше сам комиссар неизбежно проведает и еще кое-что... Ни епархия, ни сам патриарх Тихон не снимут с него позорного пятна. Да и как представить себе Антонину-Анастасию рядом с этим человеком! Невыносимо!

Как действовать дальше?

Прежде всего — удалить из Яшмы Макарку,

исключить повторение встреч мальчика с авиаторами. А как быть... с самой инокиней?

Ее отъезд был бы большой потерей для скитов и для самой яшемской обители, но угроза слишком велика, а тридцать верст за рекой — ничтожное расстояние для энергичных авиаторов. Значит, и саму Анастасию-монахиню нужно бы спрятать подальше.

Пожалуй, в тех же керженских лесных скитах старообрядцев, некогда описанных Мельниковым-Печерским, а нынче еще достаточно глухих и труднодоступных, чтобы следы Анастасии там затерялись, куда не минует угроза, не уйдут авиаторы восвояси из Яшмы не солоно хлебавши. И отправить ее придется, видимо, не с кем иным, как с «новыми богомольцами», то есть господами офицерами, что намерены пробраться лесами к тем тайным скитам.

Опасно? Слов нет, очень опасно! Захотят ли они взять с собою в дорогу женщину, монахиню? Как-то обойдутся с молодой инокиней в многодневном лесном пути? Не агнцы они, не столпы добродетели, но выбора нет. Да и сила духа ее велика, сумеет внушить к себе уважение... Значит, слать гонца в скит с приказанием инокине и с письмом к начальнику отряда Павлу Зурову... Единственным посланцем, которому можно все это доверить и кто знает тайную переправу через козлихинскую топь, может быть лишь второй священник, помощник отца протоиерея, отец Афанасий. Стар, но телом еще крепок...

Ох уж эти проклятые моторы на реке! Вот как эта власть анафемская для простых пострелят деревенских постаралась. В газетах писано было, будто на главном ихнем празднике, 25 октября, месяца два назад, над Красной площадью в Москве только один аэроплан перед глазами Ленина кружился, а тут — на поди! — два прислать не пожалели ради бесенят деревенских... Чтобы на празднике христовом школьники не в соборе стояли, внимая песнопениям, а на реке торчали около аэропланов. Впрочем, это все мысли попутные...

— Серафима, — кричит отец Николай, приняв решение. — Сбегай сама к Андрейке-мужику, пусть лошадь запрягает. Собери скоренько Макарушку в дорогу...

— Да ведь Стельцов его у нас искать будет?

— Ма-а-а! — отец Николай не терпит ни в чем прекословия, тем более от своих. — Не след тебе мужа перебивать, а тем паче — мужу перечить! Макар поживет до приезда Стельцова не здесь, не у нас, а у Марфы Овчинниковой, в ее трактире... Сейчас и напиши, чтобы воли ему не давала, с посторонними болтать не позволяла. Если проверка какая грянет — приехал, мол, к родным погостить. Как мальчика отправишь — ступай поживее за отцом Афанасием. Пусть нынче же с моим письмом за Волгу собирается.

2

От Яшмы до бывшего придорожного трактира, известного «Лихого привета», верст двадцать.

По правде сказать, слава у этого трактира была неважная — оттого и название такое народ ему придумал. Гости бывали там всякие, больше по торговой конской части, барышники, перекупщики скота, гуртовщики, прасолы. Зимой, когда битое мясо возили, там, в трактире, помногу прасолов собирались, гуляли, деньги копейками не считали...

...Все эти подробности рассказывал Макарке его возница, Андрейка-мужичок, на нескончаемо долгом пути из Яшмы к трактиру. Мальчик лежал в крестьянских санях-розвальнях, укутанный в крестьянский же тулуп. Сани заунывно скрипели, и таким же скрипучим голоском продолжал свое повествование Андрейка-мужичок. Он все это бормотал больше для себя, чем для Макарки...

...Да, вишь, случалось не раз — поедет обозик купеческий из Юрьевца либо Пучежа, а до Яшмы и не доедет! Хвать-похвать, никто ничего не знает, только в речке Елнати из-подо льда, глядишь, и вытащат купчишку. Понаедут полицейские, один раз даже товарищ прокурора на следствие приезжал, прыткий такой господин в пенсне. По лесу походят, наберут полны карманы земли, листьев прошлогодних, травы сухой, примерзшей. Мужиков соседних, из деревни Михайловка, опросят, дня три в трактире Марфином постоят, все обнюхают. У трактирщиков всегда один ответ: бога опасаемся, греха остерегаемся, тише воды живем, подозрения ни на кого иметь не можем, у нас все — тихие. Живем-дрожим, как по оврагам волки завоют. Помним ли постояльца? Как

не помнить, человек хороший, за постой все сполна уплатил, царствие ему небесное, убиенному! Ахти, господи, надо же случиться такому! Уезжает полиция ни с чем, а на другой год — опять грабеж, и опять мертвое тело в Елнати либо в Журихинском ручье...

Но были у хозяев «Лихого привета» свои всегдашние гости, кто ничего и никого не страшился... Больше всех уважали хозяева родственника своего Ивана Овчинникова. Говорят, с цыганами знался и насчет «темных» не брезговал, которые незаконно из армии выбракованы или конокрадами сведены. А перегонял тех коней Иванов брат Сашка, удалец известный. Да только не лежала у него душа к барышничеству, куда брат его клонил... Ему брат Иван не раз толковал: видишь ты, мол, Сашка, жизнь ученых людей? Попа, учительницы, крючкотворов разных? Уж они ли не всю-то науку до тонкости превзошли? А беднее нас живут, малограмотных! Так на кой ляд тебе вся эта наука сдалась, если даже сытости не обещает? Зверем на него Сашка работал, на Ивана-то... А тут — война. Начался призыв. С постоянного двора двоих мужиков забрали — Марфиного мужа Степана и свойственника их, Артамона-работника. Остался там один мужчина, почти столетний дед Павел. Хозяйничала на подворье одна Марфа-трактирщица с помощницей своей Тоней. Дела в трактире пошли, конечно, потише, но и баловство на дороге прекратилось — верно, не стало в лихом деле корысти, как одни беженцы да погорельцы издалека пошли. Ну и Сашка по-прежнему трактира не объезжал с конями своими. Призыву он по молодости годов еще не подлежал... Вот Марфа-то, соскучась, парня и приворожила. Да ненадолго!

Как-то попросила она Сашку взять до Юрьевца Тоньку-девчонку, оттуда назад привезти с товаром для трактира. Тоне шестнадцать минуло, невеста почти. Прокатил ее Сашка на троечке, да так прокатил, что у той глазенки и засверкали, что звездочки. Налюбовался Сашка дорогой на Тонечку, на бровки, на губки, на улыбку приветную, девичью — и сам не свой сделался! Слово вдруг от слепоты прозрел. Поехал дальше своей дорогой, на полубовницу бывшую даже и не глянувши. Разом Марфа ошибку свою поняла, да поздно! И не стало для нее ненавистнее человека, чем эта тихая девчушка, Тоня-сиротка... Мигом ее в мо-

настырь послушницей, и сплавила... Так-то... Тем временем с войны и мужики воротились, муж Марфин Степан и Артамошка-работник. Советская власть трактир закрыть велела, но... при дороге живя, нешто запретишь знакомому человеку или родственнику в доме заночевать? Ужином кого угостить? Только поаккуратнее стали, да ведь разве власть за всеми трактирщиками углядит?..

...Лошадка у Андрейки-мужичка была плохонькая. На ходу она сильно раскачивалась и как-то странно разбрасывала ноги во все стороны. Делая эти лишние движения, она потела, но двигались сани медленно, на ухабах ползли куда-то с треском, то подбрасывая Макара и возницу чуть не на воздух, то ухая в провал. Под рассказы старика и скрип саней Макарка задремал, ощущая, что полозья визжат все заунывнее и тише. Наконец скрип саней и Андрейкиного голоса прекратился вовсе. Мальчик проснулся, ощутил на лице редкие снежинки... Впереди было снежное поле, темнел лес.

— Ты слышь, паренек, — тормозил его Андрейка. — Уснул ты, что ли? Не поеду я дале. Потому как к этому «Привету» в одиночку... не того мне... Пешком дойдешь! Верст пять либо семь. Тулуп, вестимо, назад сvezу, в нем не дойдешь. Ну бог тебе в помощь, будь здоров!

Лошадка, нелепо разбрасывая ноги в стороны, ползла в сугроб, поворачивая вспять. Совершив маневр поворота, возница и лошадь исчезли. Макара двинулся к лесу. Малоезженую дорогу занесло поземкой, идти было трудно, ветерок мешал глядеть вперед, шапка напозала на глаза.

Слева, из-за деревьев, снова приоткрылся белый простор Волги. Сзади поднимался месяц, и на лесной дороге мальчик видел теперь только собственную тень. Он предпочел бы... собеседника поразговорчивее, пожалел даже о скрипучем дисканте робкого Андрейки-мужика.

Между дорогой и волжским откосом потянулась мелкая поросль голых кустов и молодых сосенок-елочек. Всматриваясь сквозь эту поросль в заволжскую даль, Макарка заметил на том берегу реки зеленовато-желтые огоньки...

Увидел он их сначала недалеко от противополож-

ного берега, на опушке темных зарослей, и подумал, что это деревушка. Лишь несколько минут спустя, когда огоньки мелькнули на снежной целине реки, Макар сообразил, что они движутся. Еще через несколько мгновений до него явственно долетел протяжный унылый вой.

Путь мальчика в лесу лежал навстречу этим огонькам и звукам! И хотя прошагал он уже не меньше пяти верст и придорожный Марфин трактир не мог быть очень уж далек, каждый следующий шаг доставался ему с трудом. Мальчик вздрагивал, когда с дерева падал снежный ком или скрипел ствол сосны. Позимнему темное небо вызвездилось, и первая луна девятнадцатого года, по новому календарю, высоко стала над лесным краем.

Брали сомнения: та ли дорога? Есть ли впереди таинственный и не слишком надежный трактир? Удастся ли избежать встречи с серыми тенями на дороге?

И вдруг слева от дороги в белом сиянии месяца Макар увидел плетень. Он долго тянулся вдоль дороги, а затем перешел в подобие тына или частокола. Макару вспомнились школьные картинки о городьбе древних славян.

Мальчик дошел, наконец, до ворот старинного покроя с навесом и толстой доской-подворотней. Сбоку имелась калитка, крепко-накрепко запертая изнутри. Вокруг была полная тишина. Даже лесные шорохи стихли.

Сквозь щелочку в воротах Макар увидел во дворе строение с закрытыми ставнями — жилую избу: проблеск света между створками ставней! Справа темнела конюшня.

На робкий стук Макара кто-то вышел в сени, стал унимать залаявшего цепного пса. Скрипя валенками по снегу, человек подошел к воротам, окликнул путника. Макар же вдруг испугался, что его могут не пустить, и тогда снова придется брести одному по темному лесу и ждать волков на дороге. Макар перхнулся, кашлянул и... умолк!

Человек во дворе спросил:

— Сколько вас?

В ответ (чуть не плача):

— Один.

— Откуда ты взялся?

— Из Яшмы.

— Ищешь кого?

— Ма-ма-рфу Овчин-чиннико-ву!

Засовы громыхнули, Макара впустили во двор.

— В избу проходи.

Ступени широкого крыльца были вымыты, и снег под крыльцом разметен. На ступенях лежал домотканый половик. Просторные сени освещала лампада перед ликом Николая-угодника, заступника странников и путников. Из горницы пахло духом зажиточного крестьянского жилья: мясными щами, кожаной обувью, кислым молоком, дегтем, гарным маслом и сосновым деревом — от дров, лучины и стружек, брошенных у печи для растопки.

Макар будто окунулся в теплую волну этих ароматов жизни, довольства и тепла. Но шапка сползла ему чуть не на нос, а чья-то рука слегка подтолкнула входящего, чтобы закрыть за ним дверь. Макар торопливо сдернул шапку и увидел богато накрытый стол, керосиновую лампу под потолком, киот с иконами в «красном углу», широкие скобленные лавки у стола и печи. Сутуловатый мужчина в полушубке, накинутом на плечи, — это он открывал калитку — показал на хозяйку.

— Ну вот она, Марфа Никитична Овчинникова, самолично!

Пока Марфа читала письмо яшемской попадьи Серафимы, Макар украдкой разглядывал обитателей придорожного трактира с недоброй славой. Женщина была на первый взгляд неприметна, не худа и не дородна, не стара и не молода; лицо — из тех, что запоминаются не сразу, а потом не скоро забываются. Двигалась она неслышно, легко и точно, как соболев или куница. Угрюмый бородатый мужчина — верно хозяин, Степан? А сутулый — работник Артамон?

— Иконам-то поклониться — голова отвалится, а? — Сердитый старческий голос шел сверху. Макар совсем растерялся. В школе он, правда, отвык класть поклон, и дома мать не принуждала. Он оглянулся...

Свесив ноги с печи, сидел под притолокой древний дед. Облысевший лоб его и голое темя окружали колежки всклокоченных тоненьких волосиков такой белизны, как пух у зимнего зайца. Смуглая сморщенная

кожа ссохлась и будто истерлась на сгибах. Нательный крест высунулся из-под черной рубахи, выпцветшие голубые глаза глядели строго. Сутулый помог деду слезть с печи. Макар положил поклон иконам, старик ободряюще потрещал мальчика по плечу.

— От яшемской попадьи, — сказала Марфа, складывая письмо. — У нас останется покуда. Раздевайся, что ли!

Работник Артамон скинул полушубок и подставил Макару ногу для упора, по-солдатски; помог стащить отсыревшие валенки, закинул на печь, а мальчику бросил хозяйские, сухие. Женщина налила Макару топленого молока из крынки и прикрыла кружку пирогом. В соседней комнате Макар через дверь увидел несколько застланных коек, а еще дальше, в третьей комнате, — угол ткацкого стана со множеством нитей и натянутым на раму куском готового половика.

— Отдыхай, ложись пока что!

Хозяйка указала Макару на лавку у печи, куда Артамон сбросил свой полушубок. Макар улегся на этом полушубке и стал прислушиваться к тому, что происходило в доме. Порядки здесь были давние, каждый знал свое дело, лишние слова не требуются, все идет само собой. Но хозяйева, видимо, кого-то ждали? Ради кого так празднично накрыт стол, приготовлена хорошая еда?

Незаметно мальчик задремал и, как ему показалось, сразу же был разбужен громким возгласом Артамона:

— Ну дождались вроде! Будто сам едет!

3

Макар вскочил и опоясался. Хозяйева без суеты одевались. Мужчины в полушубки, Марфа перекинула с плеч на голову белую оренбургскую шаль и подхватила на руки блюдо с хлебом-солью. Женщина вся будто осветилась изнутри, помолодела, взволновалась. Даже древнему деду помогли надеть враспашку суконный зипун, такой же, в каком нарисован был Иван Сусанин в Макаркиной хрестоматии.

Хозяин вынес фонарь, затеплив в нем свечку. Артамон уже возился у ворот, отмыкая засовы. Месяц над лесом играл в прятки: с разлету кидался в снежные облака и снова выныривал из них,

чтобы посветить едущим... Сквозь шорох и шелест ветра в ветвях слабо слышался конский топот. Кажется, по санной тропе идет на рысях конный взвод.

Ворота широко распахнуты навстречу. На крыльце — Марфа с блюдом. В освещенном прямоугольнике дверного проема — дед Павел. Разводит руками и кланяется, как в старину боярам. Еще минута — и на дороге показались кони. Да какие!

Они шли попарно, но... всадников на них не было. За первой парой показалась вторая, третья... И лишь когда первая прошла ворота, Макар понял, что это не верховые лошади, а упряжка, и что весь десяток коней, на диво ладных и статных, легко несет одни крошечные санки, покрытые ковром, и что в этих санках полулежит один-единственный человек!

Макар увидел барашковую шапку, темно-зеленый казакин, опоясанный красным шарфом, из-за которого торчал наган без кобуры. И пока седок, по обычаю, троекратно целовал в обе щеки хозяйку и пил вино из чарочки, поданной на одном подносе с хлебом-солью, Макар узнал наконец: на подворье прибыл не кто иной, как Сашка Овчинников.

Он поздоровался с Артамоном, поклонился хозяйину и обнялся с дедом. Мужчины стали распрягать коней и пара за парой вводить их в конюшню. Дед Павел давал советы, чем прикрыть да как почистить, и даже с крыльца сошел, чтобы огладить последнюю пару и очистить им ноздри от льдышек-сосулек. Пока двери конюшни не закрылись, Александр не уходил со двора. Мимоходом спросил работника:

— Ну как, Артамоша, хороши?

На что Артамон со вздохом восхищения ответил:

— Чудо как хороши, Александр Васильевич, чистая невидаль в нынешнее время. И кому нынче ездить на таких, кроме тебя, ума не приложу!

— Как охолонут, водички им подогретой нальешь... Овес-то есть? А то у меня в санках возьми, полшубком моим мешок непчатый ячменя прикрыт.

— Что ты, Саша, как для твоих у нас овсу не найти? Ступай в избу, заждались мы тебя!

Сашка помог деду Павлу взойти на крыльцо и, рука на дедовом плече, переступил порог горницы.

— Орел! Истинное слово говорю: последний в нашем роду орел ты, Сашаня, — бормотал восхищен-

ный дед, пока Сашка раздевался. Свой наган он переложил в карман. Оглядел стол с видимым удовольствием и заметил Макара.

— А, дружок мой, спаситель! Из воды меня, грешного, вызволил, под огнем на лодке греб, полуживого навестить не забыл... Здорово, брат Макарушка! Подрос ты, братец! Надолго ли сюда, в лесной приют? Аль проездом?

За ужином Сашка ел плотно, но на бутылку не налегал. Макару показалось, будто он все время держится чуть-чуть настороже. Налил рюмочку настойки и Макару. От этой первой в жизни рюмочки Макару стало повеселее и даже немного щекотно во всем теле, захотелось участвовать в общем разговоре.

— Вы по дороге волков из нагана не стреляли?

Сашка живо к нему обернулся.

— Не поверишь, а разочка два стрельнуть пришлось. Для острастки. Вовсе обнаглели, прямо стаями ходят. И здесь есть поблизости... Так выходит дело, ты только нынче из Яшмы?.. Как это тебя на опасной дороге одного бросили? Ну и Андрейка-мужичок! Поговорю я с ним как-нибудь по душам... Ну а что новенького в Яшме?

И Макар начал рассказывать об аэропланах на расчищенном ледовом поле, о «красном рождестве» на реке. Рассказчику льстило, с каким интересом слушает его Сашка Овчинников. Но, когда мальчик похвастал, что давно знает самого главного летчика, с которым он, Макар, чуть было не совершил полет над селом, Сашка неожиданно утратил к рассказу всякий интерес... Он встал, зевая, потянулся с хрустом в костях и обратился к хозяину дома:

— Слышь, Степан, коли не прогонишь, хочу у тебя остановку сделать на день-другой, перед сдачей монастырю коням надо роздых дать, а сам я давненько по волкам собираюсь. Ружье у меня с собой в саянках лежит. Приманку-то найдешь? И картечи, заряда на три-четыре?

— Картечи вдосталь, и обертка для приманки давно под телят кинута. И поросенок есть голосистый. Хоть сейчас можешь ехать.

— Слыхал я летом от старца Савватия, будто у его скита — знаменитые волчьи места. Самому бывать там не случилось мне.

— Эка невидаль — волчьи места! — презрительно бросила Марфа. — Этого гостя здесь, около нас, полно.

Дед Павел, не дослышав, подал голос с печи:

— Сюда, к нам, лишь на промысел волк зимой подается, а логовица его там, за козлихинским болотом. Дорогу-то по болоту знаешь?

— Коли не знаешь, в болото и угодишь! — Макара поразило злобно-насмешливое выражение Марфиного лица. — А заедешь не знавши — тут уж и целительница скитская не спасет!

Степан поднял на Марфу тяжелый взгляд. У Сашки чуть дрогнула бровь, но спросил он Марфу самым простодушным тоном:

— Какая такая целительница? Это ты про кого?

Марфа отвела взор.

— Будто и впрямь не знаешь!.. — И стала прибирать со стола, безжалостно стуча посудой. — Что мало пили, ели? Не угодила хозяйка?

— Чай, не последний раз за столом сидели, — сказал Сашка. — Нынче устал с дороги, от Пучежа только в Юрьевце немного размялся — и прямо сюда! А в доньшки и завтра поколотим.

Подозвал к себе Макара:

— Идем-ка, братик малый, к деду на печь. Уж недели полторы как в домашнем тепле не укладывался.

Мальчик обрадовался. Значит, Сашка не остался в обиде на Макаркино застольное хвастовство? Видно, просто ему не понравилось, что кто-то другой при нем завладевал вниманием слушателей?

Хозяин с хозяйкой удалились в другую комнату. Артамон постелил себе на лавке. Макара влез на печь. Тут было просторно, вполне хватало места на троих.

Дед тихонько свистел носом. Макара тоже клонило в сон. Мальчик прислушивался, как расходится на дворе ветер. Он по-волчьи гудел в печной трубе, но здесь, в тепле, слушать его было нестрашно. Наоборот, даже уютнее засыпать!

Вдруг Макара ощутил слабый толчок в бок и сразу открыл глаза.

— Тсс! — уловил Макарка шепот Сашки. — Ни слова не говори про летчика Шанина! А завтра попросись со мною на охоту. Там и потолкуем про Ярославль и про все... А теперь взаправду спи!



глава десятая

ПО ВОЛКАМ

1

За всю свою жизнь Макарка не ездил по такому лесу. Здесь было красивее и торжественнее, чем в кафедральном соборе. Казалось, могучие кроны этих сосен смыкались чуть не в облаках, образуя там, в вышине, сплошной свод, подпертый бронзовыми колоннами стволов.

Снежные карнизы со всех сторон окаймляли этот свод. Они нависали над тропой, готовые вот-вот сорваться и завалить маленькие плетеные санки и обоих седоков. С ветвей свешивались длинные пряди заиндевелого мха, похожие на серебряные гирлянды. Темно-зеленые ели клонили над сугробами мохнатые двухсаженные лапы.

Дремучий бор был недвижим и тих, вековые деревья словно отдыхали, и каждое вспоминало о чем-то своем, давнишнем. Ни шороха в ветках, ни дуновения. Только частые снежные хлопья бесшумно опускались на хвою, таяли на крупе коня, покрывали, словно накидкой, плечи седоков. Время от времени людям в санках приходилось шевелиться и отряхиваться.

Еле видимое сквозь тучу солнце перевалило за полдень, когда Сашка с Макаром объехали стороной деревеньку Козлиху. От Волги они удалились уже десятка на два верст, пересекли две лоцины, отделенные друг от друга отлогим, почти незаметным глазу хребтом, и вновь начали спускаться в низину, к Козлихинской пустоши. Сашка Овчинников, охотник бывалый и терпеливый, прежде не хаживал по этим

угодьям, но понаслышке знал дурную славу здешнего незамерзающего болота, с чарусами и топью.

Бор кончился. Пошли смешанные перелески и березовые рощи. Сашка выбрал одну из лесных троп, по которой козлихинские мужики летом вывозили сено, а зимой — березовые дрова. Снегом завалило пеньки на лесосеке; в снегу с головой укрылись кустики можжевельника и иная молодая хвойная поросль. По свежей пороше уже попадались кое-где следы вспугнутых лесных обитателей: вот вытянулся в ниточку лисий, в сторонке от заячьего, будто кумушке и дела нет до косога. Тут белочка перебежала низом с дерева на дерево, побывала ласка либо горностаи, расписались мелкой вязью мыши-полевки... А вот дятел, трудолюбивый кузнец, набросал на снежный сугроб под высохшей сосной целую грудку расклеванных шишек.

Давно заметил Сашка и еще один след в лесу: санки на широких полозьях, натертых воском. Различить его способен лишь опытный глаз — след хотя и недавний, но он совсем запорошен; Сашкин спутник еще не видит, что едут они по чужим отметинам... Между тем Сашка уже знает от Макара, что в ночь выехал посланец отца Николая за Волгу, и теперь у Сашки есть надежда, что напал он именно на этот след. Может, доведет до тайного скита? А там? Согласится ли Савватий проводить гостя до женской обители? Неужто Тоня откажется хоть словечком перемолвиться?..

Из-под складок овчинного тулупа торчит в санях Макаркина голова в большой шапке. Глядит во все глаза на лесные дива, но и охотничьей обязанности не забывает: на его попечении живой поросенок, завязанный в мешке. Мальчик пригрел его под тулупом, чешет поросенка между ушами и сует в зубы то хлебца кусочек, то сладкого жмыха — все для того, чтобы поросенок раньше времени не завизжал и не захрюкал.

— Не подмерзаешь, друг-охотничек? Небось надоело колесить? Да и лошадь приуствует, потеть начинает. Присматривай местечко для привала.

Макар предложил остановиться под красивой развесистой елью. Вся засыпанная снегом, она возвышалась одиноко над мелкоколесьем. Сашка засмеялся.

— Неладно выбрал! Снег с нее от костра таять будет, за шиворот тебе натечет. И дров сухих близко нет.

Выбрали выворотный корень палой сосны. Когда на корнях выворотня заиграл огонь костра, они и днем, при хмуром небе и лесном полусумраке, словно зашевелились, как сказочные щупальца. Обед быстро поспел.

Лошадь сочно хрупала овсом в торбе, даже поросенка пустили на притоптанный снежок, накрытый еловым лапником. Расплывчатое пятно солнца стояло вполдерева, когда охотники наелись, а лошадь отдохнула.

На этом лесном привале Макар по душам разговорился с Сашкой. Дескать, бог весть что там доведется испытать в белом стане, даже если доберутся они туда со Стельцовым ну и с остальными офицерами, что где-то здесь прячутся...

— Здесь? — удивился Сашка.

— Ну да, здесь. Отец Николай к ним давеча и посылал нарочного, отца Афанасия. Отсюда они на Каму пробираться хотят и меня берут с собою, от чекистов спасти. За мной, знаешь, как чекисты гоняются?

— Это за что же?

— Да так, за многое. Я в корпусе кадетском на офицера учился.

— Вон что. Сколько же тебе сейчас годов?

— Много. Четырнадцать уже исполнилось.

— Да, для чекистов ты — самый страшный зверь. Только тебя им поймать — и всей войне конец. А больше за тобой грехов нет? В русских людей не стрелял?

— Что ты, Саша, упаси бог. Только вот имение чужое на меня записано. Это, говорят, хуже всего. Чекисты меня считают и офицером и помещиком, значит. Ну и гоняются.

Сашка не очень хорошо понял суть Макаровой беды с чужим помещьем, но одно стало ясно: отец протоиерей спрятал Антонину подальше, потому что ее пострижение в монахини совершено было обманом при заведомо живом отце и женихе... А участники банды нашли приют в монашеском скиту. Увезти с собой тайными тропами должны не только обмануто-

го парнишку, но и новоявленную скитницу Анастасию, то есть Тоню.

Вспомнил Макар еще одну подробность. Об этом монахини сообщили Серафиме Петровне, а попадья при мальчике упомянула в разговоре с мужем. Отец Николай помогал в соборе обряду пострижения Антонины. При этом владыка Ефрем спросил протоиерея: не достаточно ли все-таки было бы возвести Антонину в чин рясофорной монахини? * Но именно отец Николай настоял на немедленном пострижении в монахини и отправке в самый строгий заволжский скит... Слушая мальчика, Сашка позабыл о дороге, и о переправе, и о монастырском курьере... Костерик уже угасал. Птицы стали ближе подлетать к месту привала. И вдруг издалека разнеслось по лесу ржанье чужой лошади.

Вмиг Сашка завалил остатки костра снегом, велел Макарке спрятаться под тулуп в санях, а сам припал к сплетенным корням выворотня. Стал близко слышен конский храп, голос человека, понукавшего лошадь. Из-за поворота тропы на Сашкин след, тоже почти занесенный порошей, выехали санки. Сашка узнал сразу — монастырские, лубяные, легкие, на широких вощеных полозьях... Закутанный в доху человек и не глянул в сторону затаившихся охотников, проехал мимо...

Охотники собрали посуду, сняли овсяную торбу с конской морды и тронулись по тропке, проложенной курьером.

Вовсе поредел лес, потянулся мелкий березняк, осинник, ельник. Глазу открылась обширная снежная равнина. В дальнем ее конце одиноко торчал стожок сена, иных признаков жилья здесь не было. Голые березки, чахлые сосны-уродцы, лозняк вставали здесь единственными преградами на пути зимних ветров, и перед каждым деревцем намело поземкой снежные холмики.

Поверхность козлихинского болота, сколько глаз хватил, была бугристой. Из-под сугробов торчали метелки камыша, аира и коричневые валики высушенной

* Рясофорная монахиня — особо отличившаяся послушница, получающая право носить черную рясу монахини, не будучи полностью отрешенной от мира.

куги. Но где же дорога, по которой здесь часа два назад проехали встречные саночки?

Чужих следов уже не было. Да и следы собственной лошади и полозьев стали на глазах расплываться, темнеть, набухать водой. Под копытами коня повесенному зачавкала грязь. Ноги лошади по коленные суставы ушли в раскисший снег. Впереди из-за предательски тонкого снежного покрывала, выпавшего только что, уже выступала рыжеватая хлябь. Над ней чуть курился тонкий парок. Снег еще продолжал реять в воздухе, выстилал сухую траву по берегам и растворялся в тусклых озерах болотной жижи.

Даже повернуть лошадь оказалось не просто. Она вдруг провалилась передними ногами, рванулась и чуть не опрокинула сани. Кое-как Сашка успокоил взволнованную лошадь и, не вылезая из саней, помог ей задом выбраться из мочажины. Сказал с облегчением:

— Легко, брат, отделались, даже валенки почти сухие. Верно люди говорят — не зная броду, не суйся в воду! Вдруг-то, с налета, до скитов не добраться. Не придется, стало быть, у старца Савватия заночевать, как мечтали. Ведь и он меня небось в поминание записал?

— Поминали вместе с Антониной, наверное, — подтвердил Макар. — Откуда же им знать было, что ты — живой?

— Ты-то знал, Макарушко? Шепнул бы Тоне...

— Да где же? Чай, ее к ярмарке привезли, а меня — сразу в Кинешму. Мне ее даже издали видеть не пришлось.

— Ну ладно, пора теперь об охоте думать. Берись сам за вожжи и поросенка слегка пощипывай, чтобы визжал. А я в задке саней с ружьем лежать буду. Волчий след в двух местах нашу дорогу пересекал. Бор проедем, на зареченскую дорогу выберемся, там и начнем, как смеркаться станет.

На малоезженую дорогу, идущую по лесным сугробам от деревни Козлихи к сельцу Заречью, охотники выбрались, когда дневные тени смягчились и поголубели, по небу пошли малиновые полосы, а снежные карнизы на разлтых елках обрели бархатный фиолетовый отлив.

Сашка Овчинников, не останавливая лошади, полез в передок саней и достал из-под сена приманку — туто скатанный ком, обернутый в рогожу. От приманки так и пахло хлевом. Охотник развернул рогожу и, стараясь не прикасаться даже рукавицами к бечеве и самой приманке, выбросил пахучий ком на дорогу. Он дал бечеве размотаться до конца, а конец бечевы привязал к заднику саней. Теперь за санями, на расстоянии сажен двенадцати от задка, тянулся, подпрыгивая на ухабах, привязанный темный сверток.

— А что там спрятано, в приманке? — шепотом спросил Макар.

— Теплый навоз. Степан заранее все приготовил. Собрал навозу в мешок, крепко завернул в старую овчину, мехом наружу, зашил сыромятной сшивкой и бросил в хлев под телка. Рогожу отдельно положил, тоже запаху набираться. Руками до всего этого прикасаться нельзя — волк чутыстый, он сразу человеческий дух разнохает. Овчину веревкой обвязывают, тоже выдержанной в хлеву. Потом все это в рогожу завертывают и берут с собой в сани. И еще — поросенка живого. Он в санях визжит, а приманка за санями волочится. Волк издали слышит поросичий визг, подходит к дороге, замечает: не то поросенок, не то собачонка по дороге пурхается. Он из кустов и кидается. Тут — не зевай, бей, потому волк — хитрущий зверь. Как поймет обман, больше не воротится. Теперь, друг, разговорам — шабаш!

Макар выпростал из-под тулупа завязанный мешок. Поросяенок недовольно хрюкнул, потом взвизнул и заверещал на весь лес.

Сани однообразно поскрипывали. Сашка пристально вглядывался в наступающий сумрак. Под кустами и деревьями уже расплывалась зимняя мгла. Только темные вершины леса еще отделялись от синего неба.

Снегопад прекратился, ночь рядила звездами лесную хвою.

Поросянок все орал. И вдруг далеко сзади, в про свете между кустами будто пошевелилась еле приметная тень. Курки Сашкиного ружья давно взведены. Он выбирает в санях поудобнее, напряженно глядит туда, где мелькнула тень. Может, почудилось?

Нет, это он, серый барин. Чуть заметный хруст ветки слева — и та же тень промелькнула ближе, шагах в двухстах. Голодному хищнику не терпится ухватить зубами прыгающую за санками добычу. Он смелеет. Перескочил через дорогу одним сильным скачком и пробирается в кустах направо. Ждет, пока сани завернут за снежный субой на дороге. Хитер!

Охотник разгадал маневр хищника заранее и чуть привстал в санях. Тут же зверь молнией ударил из куста на приманку. Лошадь захрапела и дернулась, не слушая вожжей, сани ушли в снег...

Два длинных снопа красных искр почти разом польхнули из обоих стволов. Сильный сдвоенный удар над самым ухом почти оглушил Макарку. Но он сразу же разобрал, как выскочивший из саней Сашка диким голосом вопит:

— Есть! Есть! Есть!

Скакнувшая в сугроб после выстрелов лошадь с дороги сбилась, увязла и рвалась из упряжи. Сани скособочило, Макар держался обеими руками за передок саней и всматривался назад, на дорогу. Там Сашка с кинжалом в руке наклонился над чем-то большим, темным и неподвижным, как срубленная ель. Слышал Макар только надсадный храп лошади. Наконец торжествующий Сашкин возглас:

— Готов! С полем тебя, друг-охотничек!

Лошадь дрожала и рвалась, когда вдвоем с Макаром Сашка взваливал волчью тушу на сани. Он зажег спичку. Макар увидел злую морду с оскаленными, словно в кривой ухмылке, зубами и полуприкрытыми, закатившимися глазами. Лобастая башка была вдвое крупнее собачьей. Поросянок, зачуяв запах мохнатого соседа, затих в своем мешке и не издавал даже слабого писка.

Усталая напуганная лошадь еле брела, Сашка вел ее в поводу до самой Волги. Полчаса переправлялись через снежную пустыню реки и ввезли добычу в ворота придорожного трактира.

2

Пока Сашка во дворе свеживал волка, Макар, измаявшись за день, закусил вчерашними яствами и уснул на лавке. Разбудил его шум голосов в горнице. Сашка, снявши казакин, в шитой рубахе сидел на

почетном месте в красном углу против хозяйки. Артамон, Степан и дедушка Павел кончали ужин. В двух бутылках оставалось самогону только что на доньшке. Тарелки с холодцом, солеными рыжиками и вареным мясом, до которых вчера не дошла очередь, нынче быстро опустели. Посреди стола, почти нетронутая, стыла большая миска щей: мужчины насытились холодным, а Марфа и куска не взяла в рот за весь вечер.

— Спели бы теперь, что ли! — сказал дед Павел, разомлевший от рюмочки вина и сытной еды.

Сашка Овчинников подсадил старика на печь и, возвращаясь к своему месту, снял со стены гитару. Ленты на грифе запылились и поблекли: видно, давно никто не касался этих струн. Они зазвенели жалобно, настраиваемые уверенной Сашкиной рукой на минорный лад. Александр переглянулся с Марфой, молчаливо испрашивая ее согласия. Она слегка кивнула, и в горнице тотчас затих всякий шорох. Прозвучал смелый аккорд, и без напряжения, приятным высоким голосом Сашка начал первый куплет старинной песни о разбойничках:

Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой?

И тогда Марфа-трактирщица, хозяйка «Лихого привета», подперла голову рукой, полузакрыла глаза и вступила в неторопливый лад Сашкиной песни. Так, вдвоем, они и закончили первый куплет:

Что призадумалась, девица красная,
Очи блеснули слезой!

Макар уже поднялся с лавки и, пораженный красивым звучанием песни, переводил взгляд с запевалы на Марфу. Ну и поет эта неприметная женщина!

Оба голоса, ее и Сашкин, набирали силу, смелели... Будто в синеве летних волжских вод взялись две прозрачные, звонко звучащие струи, обнялись, переплелись друг с другом и потянулись куда-то ввысь, в небо, до медлительных томных облаков, а переливчатая волна гитарного рокота все звала и звала их назад, в лоно родных берегов...

Время! Веди ты коня мне любимого,
Крепче держи под уздцы!..

Припев — последние строки каждого куплета — подхватывали все, даже дед Павел. Макар не впервые слышал на Волге эту песню, но здесь, в таинственном месте, в час ожидания опасных приключений на глухих лесных тропах, прозвучала она для Макара совсем особенно. Да и пели ее удивительно хорошо! Какой-то роковой обреченностью повеяло от напева и от слов. Покоренный задушевной силой мужского и женского голосов, Макар и сам стал подтягивать взрослым:

Едут с товарами в путь до Касимова
Муромским лесом купцы...

Сашка одобрительно кивнул и улыбнулся Макарушке, а Марфа... та и не глянула ни на кого из-под полуприкрытых век, бровью не повела, рукой не шевельнула. Последний куплет:

Много за душу твою одинокую,
Много я душ погублю... —

она начала сама, и так взлетел ее голос, столько неслезанной боли и любовного томления прозвучало в нем, что Сашка смолк, дал ей спеть куплет одной, и лишь струны под его пальцами переливчато рокотали все печальней и жалостней... Суровый Степан стал еще угрюмее и, не дослушав до конца, нетерпеливо потянулся к бутылке.

В его резком жесте было столько злобы и грубости, что у Макара вдруг заколотилось сердце. Ему припомнился дорожный рассказ Андрейки-мужика. Бог весть до чего может довести сейчас этих лесных людей старинная, бередящая душу песня! Макару чудилось, что вот-вот откроется всем какая-то горькая душевная тайна, вырвутся из сердец отчаянные и злые признания, от которых все сразу переменится в этом темном доме...

Но произошло совсем другое!

Неуловимо быстрым, предостерегающим движением Марфа далеко перегнулась через стол и прижала рукой гитарные струны. Мелодия оборвалась. Степан уронил бутылку, перескочил через лавку и притаился у дверей, вслушиваясь в звуки со двора. Там цепной пес захлебывался лаем, шла какая-то возня у ворот, скрипнул снег под окнами... Кто-то поднялся на

крыльцо. Послышался негромкий, но требовательный стук в запертую дверь, что вела со двора в сени.

— Чекисты! Ихняя повадка! — шепнул Артамон.

Сашка быстро вынул из кармана свой револьвер и сунул в миску с остывшими щами, от которых и парок давно не шел.

— После в сени неприметно вынесешь! — приказал он хозяйке. Тем временем Степан отодвинул засов и впустил гостей. Не задерживаясь в сенях, трое вооруженных вступили в горницу.

Первый — в кожаной тужурке с меховым воротником, двое других — в солдатских шинелях. У кожного — револьвер в кобуре на поясе, фуражка; остальные с винтовками и в старых солдатских папках. Все трое — в валяных сапогах, только у кожного они белые, совсем новые, у остальных — серые, поношенные. У человека в тужурке — клочковатая бородачка клинышком, его спутники — давно небритые, с отросшей щетиной.

Бородач в тужурке окинул взглядом горницу и подошел к столу. Приподнял и посмотрел на свет недопитую бутылку, толкнул ногой на полу другую, оброненную Степаном, потом насмешливо спросил хозяев:

— Что же это вы, товарищи, сразу и притихли? У вас тут пир горой шел, песни попевали, самогончику попивали — и вдруг такая тишина? Вы что ж, нас и за гостей не признаете?

Сразу же сменил шуточный тон на деловой:

— Ну коли пришлось потревожить ваш пир, прошу внимания. Хозяева нам давно известны, а вновь прибывшим придется предъявить документики... Вы кто? — повернулся начальник к Макару — тот сидел ближе к входу.

От одного слова «чекисты» Макар чуть не упал с лавки. Похолодела спина, хотя сидел он почти прижатый к печи. Мелькнула мысль о тюрьме, строгих вопросах, о том, как поведут его длинным коридором с каменным полом... Все это Макар так ясно представил себе со слов Стельцова... «Настигли! Настигли!» — выстукивало в ушах и в сердце.

— Вы даже отвечать не хотите, молодой человек?

Начальник нахмурился, а Макар.. молчал, как давеча на летном поле. Подала голос Марфа:

— Чего набычился, чучело? Есть у него документ, граждане. Покажи начальнику свою бумагу. Да ты оглох, что ли, идол?

Макаркино пальтишко висело на гвозде у двери. Марфа сама достала школьную справку. У начальника чуть дрогнули брови при чтении.

— Так тебя звать Макарием Владимирцевым? Ты из Кинешмы? Фамилия... знакомая как будто... Очень приятно встретиться с тобою, так сказать, лично. Что ж ты тут делаешь в лесу? Не скучаешь? Давно из Кинешмы?

— Сродственник он нам дальний, — начала было Марфа. — Погостить приехал из города, подкормить-ся малость.

— А ты не лезь, пока не спросили! — вдруг со злостью оборвал ее Степан. — Без тебя начальники разберутся, кто кому сродственник...

Макар и вздохнуть был не в силах. У него так сперло дыхание, что он и впрямь мог упасть со скамьи. Сашка Овчинников не выдержал:

— Вы бы, гражданин военный, мальчонку зря не пугали. Сами видите — сомлел со страху.

Кожаный начальник с любопытством посмотрел на Макаркиного защитника. В горнице никто и шевельнуться не смел.

— А вы кто такой, господин адвокат? Подойдите сюда! Дайте ваши бумаги.

Овчинников пересек комнату и протянул начальнику документ с оттиснутым в углу фиолетовым штампом: «Яшемская трудовая сельскохозяйственная религиозная община-коммуна». Начальник спросил почти ласково:

— Скажите-ка, вы не родственник яшемскому конскому торговцу Ивану Овчинникову?

— Брат родной.

— Вот как. А лошади, которых в конюшню поставили, чьи?

— Были казачьи, станут монастырскими, а покамест я за них перед братом в ответе.

— По нашим сведениям, эти лошади... приобретены сомнительным образом. Придется кое-что тут проверить... Вы, что ж, прямо из Области Войска Донского следуете?

— Так точно, прямохонько оттуда.

— У кого же эти кони приобретены и на каких условиях?

— Кто продавал — тот знает. А до других — это не касается.

— Ого! Ну нас-то, положим, все «касается»... Где-то, значит, фронт переходили! Оружие имеете?

— Двустволка в санках валяется, с охоты нечищенная, иного оружия нету. А что до фронта... Какой там фронт! В одной станице красные, в другой — белые, в третьей и вовсе не разберешь, какого колера казачки. Чего ж такой фронт не перейти? Окопов, проволоки, часовых покамест незаметно. А степь — она широкая.

— Оружия, говорите, нету? Проверим! Дело служебное. Сабурин, Букетов — посмотрите. Карманы и верхнюю одежду.

Один из подчиненных бегло обыскал Сашку, другой ощупал и встряхнул на вешалке его казакин и полушубок. Все трое отошли в угол посоветоваться вполголоса.

Сашка погладил Макара по голове.

— Не робей! Ишь как напужался. Нешто взрослые сделают худо такому мальцу?

А старик дед Павел, молча наблюдавший всю сцену с печи, наклонился к Сашке и что-то прошептал ему на ухо. Сашка явно удивился... Мальчик, чуть оправившись от испуга, отважился приподнять голову и поглядеть внимательнее на начальника чекистов.

Странно! Лицо начальника изменилось, когда он прикрыл рукой свою бородку и поправил усы. На них легла тень от лампы, почернила их. Скошенный уголок тени превратил растрепанные усы в маленькие, четко подстриженные... Макар где-то видел это лицо без бороды, с черными усиками под носом. Уголки с кантами... Старый полковник Зуров, только сильно помолодевший!.. Одно лицо! Да и голос начальника чекистов сильно похож на дядюшкин.

...Ясно припомнилась ночь, полковничий стол и голос человека, только что положившего телефонную трубку:

«Значит, матушка твоя и Борис Сергеевич остались на Нижнем Острове, в шалаше?..»

Почти тот же самый голос раздался и сейчас:

— Вот что! Есть у нас особый разговор к Алек-

сандру Овчинникову. Эй, хозяин! Может, и для незваных гостей бутылочку найдешь? Самогонку-то варишь? Сказать, где аппарат прячешь?

— Этим не занимаемся, а поставить — отчего же, можно! Артамоша, поищи-ка там!

Новые гости скинули шинели, уселись за стол. Начальник, уже без тужурки, посадил Овчинникова рядом с собой.

— Давай-ка мировую выпьем. Парень ты, видно, хват. Скажи мне прямо: вот с этих коней, что ты провозжаешь, много ли тебе самому прибыли останется? Сколько заработаешь?

Сашка пожал плечами.

— Моего тут интересу, прямо сказать, немного.

Начальник весело засмеялся.

— Это, брат, я сразу смекнул. А теперь спрашиваю: хочешь ты один всю выгоду, весь барыш получить? И еще хороший подарок в придачу взять?

Овчинников глуповато ухмыльнулся и развел руками.

— Как не хотеть? Только казна монастырская скучовата, а брат Иван — того прижимистее. Где ж я могу к своему интересу прийти? Пустые слова! Деньги Иван возьмет, коней — монастырь. А мне — куртаж да выпивка. Весь интерес!

— Понимаешь, Овчинников, у нас есть военное задание, государственное — перейти фронт в расположение противника, в тыл белым армиям. Требуется нам бывалый проводник, такой, как ты. Мы тебе и предлагаем: выведи нас хоть на Дон, хоть на Каму, к белым. Поедем верхами, на этих твоих конях. У монастыря мы их отберем, теперь кавалерийские кони считаются имуществом военным, подлежат изъятию с возмещением... после войны. Просто удивительно, как их у тебя по дороге не конфисковали!

— Да уж мы знаем, как проехать. Не впервой.

— Такой удалец нам и нужен. Как прибудем на место — коней тебе вернем. Делай с ними что хочешь. Хоть монастырю верни, хоть продай для своего интереса. Сразу на ноги станешь. И брат тобой помыкать больше не сможет.

— Если мы теперь коней монастырю не представим — мораль на нас падет. На меня и на брата Ивана. Задаток брали. Мне — позор, брату — разорение.

Потому несогласный я. А то бы поехал с вами, знамо дело.

— Скажи, а в Пермские леса ты пути-дорожки знаешь? Сумел бы провести нас туда так, чтобы... словом, не через людные места?

— Мы людными местами и не ездим. Под Пермь я прошлый раз подавался, большую партию оттуда пригнал. Каждую деревню, каждую тропу знаю. Да только не могу! Брату — раззор!

— Что ты заладил: брат, брат! Нечего время на болтовню терять. Перед монастырем и перед братом мы тебя оправдаем, расписку с божьих слуг возьмем, чтобы молчали про этих коней. Чья тебе расписка надобна: игуменьи, келаря, матери-казначей?

— Да больше отец-протоиерей с нами дела имел. Он в конях поболее игуменьи смыслит. У него и задаток брали.

— Вот и отлично. Сейчас прямо к нему и махнете! Расписку с него вытребуете, чтобы перед братом тебе чистому остаться. С тобою вместе двоих своих молодых пошлю. Вернетесь с распиской отца Николая — и в дорогу! Завтра же! На Каму. К Пермским лесам...

— Эх, граждане, — словно размечтался вслух Сашка Овчинников. — За таких коней и золотишком получить можно, не керенками такие пахнут! Не против я с вами на Каму податься. А кони точно ли моими останутся?

— А то чьими же? Выходит, по рукам?

Военные, встав из-за стола, опять пошептались. Один, видно, в чем-то не соглашался с начальником. Макар уловил фразу: «Не напрасно ли распыляем силы?» Этот военный был не первой молодости, с живым, нервным, уже слегка отечным лицом, двигался торопливо, кривил губы при разговоре. Начальнику пришлось даже слегка голос повысить:

— Вечные препирательства, товарищ Сабурин! Даю вам с Букетовом ровно... — он глянул на ручные часы, — семь часов на поездку в Яшму с Овчинниковым. Заложика, Александр, парочку своих гнедых. Остальных мы покараулим до твоего возвращения сюда. Ну хлопните по стакашку на дорогу!

— Что ж, — сказал Сашка, выкушав «посошок», — не прочь я на своих слетать. Артамоша, заложика там

любую пару. За два часа в Яшме будем, а утречком снова свидимся. Ждите!

Сашка скосил глаза на миску с остывшими щами. Марфа поняла, подхватила миску, сняла со стены полотенце. Сашка стал прощаться с дедом и мимоходом шепнул Макару:

— Не бойся! Эти тебя не обидят!

Марфа повозилась в сенях с миской и внесла в горницу нечто завернутое в кусок влажной газетной бумаги.

— Мяса на дорожку я вам из щец вынула, Александр Васильевич! Дорожкой пригодится, покусаете!

— Давай, давай, хозяйюшка, от гостинца грех отказываться! — И Сашка небрежно пихнул сверток в карман полушубка, брошенного на плечи поверх зеленого казакина вместо тулупа.

У Макара сердце колотилось так, будто с каждым толчком грудь его наливалась горячей кровью. Замысли Сашки он не понимал. Ведь помирился же тот с этими военными, кто бы они ни были? Зачем же тайком берет наган, вынутый Марфой из щей?

На дворе Сашка уже разбирал вожжи, два конвоира с винтовками усаживались в санках за его спиной. Начальник подошел к санкам.

— Одно помни, Александр Фвчинников! Я тебе верю и остаюсь ждать твоего возвращения. Но при малейшей хитрости или обмане первая пуля будет тебе. И не одна — сразу две!

— Эх, начальник! — обиделся Сашка. — Хуже-то ничего на дорожку не пожелаешь? Лишь бы поп Николай не заупрямился насчет документа — тогда как, а?

— Вот уж на этот счет не тревожься! — крикнул начальник. — Выдаст все, что потребуем!

Макара и опомниться не успел, как санки исчезли. Только снег взвихрился за легким возком.

Во дворе Макар разглядел еще одни розвальни, на которых чекисты прибыли в трактир. Они — тоже в виде легкой берестяной лодки на широком вощенном полозе, как монастырские. Значит, тоже рассчитаны на Козлихинское болото?.. И еще одно неожиданное открытие сделал Макар во дворе: у четвертого чекиста, что оставался все это время наружным караульщиком, оказался картавый говор с польским акцентом.

Тоже знакомый: не этот ли поляк-прапорщик вел. его по ярославскому откосу к особняку Зборовичей? И откликается на имя Владек! Жаль, что этим открытием не успел поделиться с Сашкой.

Начальник чекистов, которые и Макару стали казаться мнимыми, разложил на столе в горнице карту из кожаного портфеля. Эту десятиверстку Макар знал еще по занятиям в корпусе. Не успел начальник углубиться в работу над картой, как лампа над столом зачдила и начала угасать. Только две лампадки мигали у икон. Из соседней комнаты неслышно вошла Марфа.

— Подлей-ка в свою люстру! — скомандовал Владек.

— Ну, батюшка, сам подольешь, коли у тебя есть что лить! — отрезала Марфа, выкрутила фитиль и вообще погасила свет. — Последний фунт керосина для дорогого гостя с лета сберегала. А вы, не прогневайтесь, и в потемках погостите!

— Что ж, тогда — на боковой фронт! — приказал начальник. — Когда солдат не воюет — он либо ест, либо спит. Хозяйка! Давно этот постоялый двор держишь?

— Двора не держим, а кто заедет — не отказываем. Сами видите — у дороги живем. Как пройдем не порадеть?

— В барышничестве участвуете с Овчинниковыми?

— Да мы и сами Овчинниковы. Но, про что спросили, — нет, не занимаемся!

— Скрытная ты! Ну что ж, постели нам здесь.

Вдруг дед Павел стал тихонько слезать с печи. В свете лампад волосы его казались серебряным сиянием вокруг головы.

— Глуховат я стал, не все слышал, про что тут толковали, одно скажу: пустые ваши хлопоты! Век вам попусту по свету гоняться, а с Овчинниковыми не совладеете! Отступись, батюшка, от недоброго дела, а то сгинешь! Вот-те крест святой!

— Ты сам, дед, из поповичей, что ли?

— Какой я тебе попович! Просто говорю всуерьез, к душе твоей крещеной обращаюсь. А сам я природный лошадиник. С малолетства до старости все при конях. Только при чужих.

— Барышничал, что ли?

— Как есть. Всюю жисть.

— Грешил, значит, всюю жисть?

— Такой уж мне предел положон, его же не преступишь.

— Ишь ты! Где же промышлял этим делом?

Старик всматривался в лицо начальнику. Тот деланно улыбался, хмурился — и наконец, словно не выдержав пристальных, в упор направленных дедовых глаз, полез в карман за махоркой. Она была в красивом портсигаре.

— Ты чего в потемках на меня уставился, дед?

— А ты, барин, может, в малолетстве не слыхивали, как дедушка твой, генерал от инфантерии, велел мужика своего оброчного, Павку Овчинникова, при всем солнцевском народе розгами выпороть?

— Какой я тебе «барин», старик? Подвыпил ты нынче! Я, дед, уполномоченный Нижегородской чрезвычайной комиссии. Мы — власть рабоче-крестьянская. РСФСР. Понял?

— Этих слов я не разумею, — сказал дед. — Речь я к тому веду, что вы и по нынешнему времени в большие господа вышли... Не обессудьте!

На лице начальника отвердела улыбка. Мигали лампадки, голубая и розовая. Тикали часы-ходики. Гудел в печи зимний ветер. Дед потянул гирьку от часов, положил поклон перед иконами и опять полез в тепло, наверх, где уже улегся на овчине притихший, совсем сбитый с толку Макар Владимирцев.

3

Попадья Серафима Петровна ожидала супруга со венощной. Отец протоиерей опаздывал — небось Евлогия опять новостей ему припасла.

Забот прибавилось. Случай на реке несколько поколебал прежний педагогический авторитет отца-протоиерея среди крестьян. Вечером было собрание в школе. Елена Кондратьевна осуждала отца Николая вслух, называла его поступок на реке жестоким по отношению к мальчику. Скажите на милость! Сама безбожницей росла, а муж ее — капитан Дементьев — того чище! У него летчики в доме и поселились. Второй день как их нелегкая принесла, а шуму-то, шуму! Нынче утром бочку бензину им из Кинешмы привезли, опять кого-то по воздуху прокатили — не на-

хвалятся! Дух, говорят, вон из груди так сам и выпирает, сердечко к горлышку подкатывает — куда там карусели или качели! И самой бы любопытно, да грех-то какой!..

Главный летатель опять на кладбище ходил — хорошо сторожа-пьяницу успели в богадельню отослать еще перед зимней никольщиной...

Стучат... Калитка скрипнула. Верно, сам... Нет, не он: на лыжах кто-то. Уж не из летателей ли, легких на помине? Господи, страх какой!..

В сенях Серафима Петровна не узнала бородатого гостя с котомкой и парой лыж под мышкой. Лыжи и палки прислонил к стене, снял папаху и набожно перекрестился на иконку...

— Забыли меня, Серафима Петровна? Наш Макарушка, верно, спит уже?

Батюшки! Никак подпоручик Стельцов? Вот что может сотворить с красавцем, офицериком-душечкой, один год эдакой окаянной жизни!

Подпоручик обрадовался, что истоплена банька.

Попадья заметалась в хлопотах — ведь ждали только через неделку.

— Сам не надеялся за два дня управиться! Туда и обратно — на воинских эшелонах! А в городе нужных юристов нашел сразу, за час все бумаги получил, по всей форме! Взяли, правда, дороговато, пришлось поиздержаться... Без гроша остался... Ну да недалеко теперь...

— А в городе-то как?

— Что-то там чистят, разбирают, чинят... Дым из труб идет, значит, как-то существуют людишки...

Из сеней — привычный шорох. Опрятный отец Николай обметает валенки веником.

В кабинете хозяина было душновато, пахло мятой, висел немецкий барометр. На подоконниках — много бутылочек, заткнутых тряпицами — богомольцы приносили отцу Николаю святой воды из отдаленных обителей: вот эта — от Зосимы и Савватия на островах Соловецких, эта — из Сергиева Посада, есть из Почаева, Киева, с Керженца... На столе — распятие, а рядом — небольшой чугунный ларец каслинского литья... Затейливый и прочный ларчик!..

Здесьние вести удивили подпоручика. Зачем капитан Зуров дал согласие взять с отрядом инокиню Ана-

стасию? Оказывается, вновь прибывшие летчики чересчур заинтересовались новоявленной скитницей, и для ее же блага и безопасности...

После жаркой бани гость с удовольствием надел хозяйское белье и в домашнем халате сел к столу.

— Почему решили на лыжах путешествовать?

— Случайно на базаре в Кинешме увидел и вспомнил, как юнкером призы брал. Ни одна подвода меня не обогнала. Теперь еще двадцать верст до «Лихого привета», оттуда лошадь для нас с Макарушкой у Марфы выпрошу. А лыжи в походе — ого как пригодиться могут!

— Может, спсали бы, с дороги? — В этом любезном хозяйском приглашении явственно звучала просьба не принимать его всерьез. Время перевалило за полночь.

— С вашего позволения — часика два сосну. В третьем часу разбудите, чтобы добраться затемно во избежание лишних дорожных встреч...

Гостя уложили в кабинете хозяина на кушетке. Свою котомку он развязал, достал оттуда револьвер и сунул под подушку. Матушка так перепугалась, что уснуть не смогла, и разбудила гостя до срока.

В соседней спальне мирно похрапывал хозяин дома. Повторить чаепитие гость отказался, но стаканчик монастырской вишневки выкушал. Собранный в дорогу, воротился в кабинет за котомкой и стал завязывать ее при свете ночника.

На железную крышку ларчика падал луч света. От гостя вчера не укрылось, как хозяин покосился на свой ларец, когда гость пожаловался на денежные затруднения в дороге. Ларец-то, верно, полнешенек... И не тяжел... И укладист... Не прихватить ли для отряда? Легко завертывается в меховой жилет...

Шаги попадьи! Уже пути назад нет — обернутый жилетом ларец в руках. Если не сунуть в котомку — гость сию же минуту будет избалован как воришка!.. Его бросает в жар, пока увязывает котомку. Форменная же кража, подпоручик Стельцов! Эх, до чего еще доведет скользкая дорожка этой «Вандеи»...

Матушка помогает гостю надеть котомку. Вечером она показала попадье полегче, но все равно, столько пройти и проехать с одной котомкой за плечами! Бед-

няжка! Кончится ли когда-нибудь вся эта кутерьма в России?

Запирая за гостем дверь, попадья различила три удара часового колокола. Глухая ночь — а человек снова в пути! Слава богу, все же спровадили из дому опасного гостя.

Александр Овчинников гнал гнедых не жалея. Привычный к быстрой езде и одетый тепло, он изредка через плечо озирался на дремавших спутников. Оба, в шинелишках и папахах, на первых же пяти верстах посинели, съежились и застучали зубами. Луна стояла высоко, лесную дорогу было хорошо видно. Морозец забирал по-рождественски. Ветерок задувал навстречу. На десятой версте Сашка еще приослабил поводья. Позади слышал глухую молотьбу: седоки стучали озябшими ногами в днище саней.

На пятнадцатой версте даже самому Сашке ветер показался холодноватым! А седоки его даже колотить ногами перестали, коченея с каждым получасом все больше. Обняли винтовки, клякут носами...

Проскочив Журихинский ручей, Сашка гикнул. На последних верстах он дал коням полную волю. Ветер так и свистел. Реденькие огни Яшмы мчались навстречу возку. Вон — окно в больнице. Этот, наверное, в сельсовете, на площади, а тот — чье-то жильё... Сквозь визг полозьев Сашка услышал медный голос часового колокола — в монастыре пробило три часа.

Первые домики Рыбачьей слободки. Впереди — мост через овражек. Справа, перед мостом, немного выдвинуто вперед знакомое крыльцо дементьевского дома. Навстречу, впереди, маячит одинокая фигура какого-то запоздалого лыжника...

Сашка сдерживает коней, оглядывается на седоков.

Вкривь торчат два винтовочных ствола. Папахи надвинуты на глаза, воротники шинелей налезли на затылки. Оба почти в забытьи, прохваченные до костей. Сашка натягивает вожжи. Разлетевшиеся кони выгибают крутые шеи, переходят на шаг. У дементьевского крыльца Сашка выскакивает из саней, взбегаёт на ступеньки. Наган уже в руке...

— Руки вверх! Бросай винтовки!

Стукнули о днище саней упавшие винтовки. Око-

ченевшие руки еле вытянулись вверх и жалко торчат из шинельных рукавов. Месяц освещает крыльцо, сани, две темные фигуры в шинелях с поднятыми руками. Изнутри дома негромкий возглас:

— Кто там? Что за шум?

— Сюда, Владимир Данилович! Пособите! Двоих тут на прицеле держу!

Та из фигур в шинелях, что была потоньше и повыше другой, метнулась было в сторону, откуда шел встречный лыжник. Овчинников повел наганом вслед бегущему и выстрелил. Беглец не сделал навстречу лыжнику и десятка шагов, споткнулся и упал на снег. Испуганный лыжник шарахнулся в переулок и припустился наутек. А позади Сашки распахнулись двери дома. Из сеней на крыльцо выскочили пятеро мужчин с револьверами наготове. Человек в кожаном шлеме окликнул Сашку:

— Это ты, товарищ Овчинников?

В ответ — радостный Сашкин голос, чуть охрипший с мороза:

— Я самый, товарищ комиссар Шанин! Здравствуйте, Сергей Капитонович!

Овчинникову повезло! Отправляясь в путь с двумя бандитами за спиной, он ведь и не подозревал, что в доме капитана Дементьева остановились все четверо авиаторов красной эскадрильи! Сашка рассчитывал только на собственные силы и на капитана. А тут такая подмога подоспела!

Через минуту оба задержанных были уже на кухне Елены Кондратьевны. Раненый в плечо Букетов трясся от холода и боли. Сашкина пуля задела его чуть выше подмышки. Жена Дементьева искала бинт для перевязки.

Ротмистр Сабурин, окоченевший почти до бесчувствия, невнятно произнес:

— Ради бога, сперва стакан чаю или просто кипятку, господи! И разрешите присесть у печки. Потом — что угодно. Песенка спета. Я бесповоротно сдаюсь!



глава одиннадцатая

МАРФА-ТРАКТИРЩИЦА

1

Часы-ходики в большой горнице неумоимо выстукивали: так и так! Так и так!

От пережитого волнения Макар не спал, хотя с полуночи в лесном доме водворилась тишина. Оба гостя скинули валенки и, не раздеваясь, легли по соседству с Артамоном на овчинах, брошенных по лавкам. Макару чудилось, будто не один он, а все в доме не спят из-за предчувствия какой-то опасности. Из конюшни время от времени доносило глухой мягкий удар. Это Сашкины горячие кони били копытами о деревянную стенку. Если такой удар раздавался громче, начальник поднимал голову и вслушивался в ночные шорохи. Вздыхал рядом с Макаркой и дед Павел.

Макарка ожидал, что кто-нибудь не выдержит этой тишины, но ему стало еще страшнее, когда дед Павел громко вздохнул и приподнялся...

— Барин! А барин! — услышал Макар дедов голос. — Слышь-ка, Павел Георгиевич! Уж коли нам обоим не спится, давай потолкуем. Будет притворяться-то. Отца твоего я с малолетства знал, да и ты — весь в него. Против тебя я, барин, никакого зла не имею, только спросить тебя про дело одно хочу.

Зуров сел на лавке, свернул самокрутку, протянул к лампаде лучинку. Спросил спокойно:

— Ты, дед, из наших солнцевских, что ли, Овчинниковых?

— Ну да, из солнцевских. На нашем краю, сюда, что от церкви к прусовской дороге, почитай, все одни Овчинниковы. А на том конце, к Дальним полям, там

разные: семей пять Кучеровых, Генераловы, Павловы, Ратниковы... При мне всех-то дворов поболее восьмидесяти было... Пошто же ты, барин, мужиков наших спалил и побил?

В ожидании зуровского ответа дед тоже стал шаривать кисет. Капитан Зуров босой прошелся по комнате, стряхнул пепел в горшок с геранью, отдал свою самокрутку деду для прикурки, а получив обратно, брезгливо швырнул самокрутку на печной шесток. Насмешливо переспросил:

— Ты про что, старик, толкуешь? Наплетут бабы невесть что!

— Ай не ты спалил? Может, в газетке напраслину пропечатали? Читал мне Степан, будто тебя и букетовского племянша мужики опознали, когда раненых вы с ним на улице добивали, да не всех добить успели. Я не больно-то газетке и поверил. Чай, с крестом на шее ходишь.

— Слушай, дед, а меня-то самого разве мужики не спалили? От всех строений в усадьбе — ни кола, ни двора! От дома дедовского — одни головешки. Чем же за это расчесться было? Око за око!

— Значит, ты и спалил? Бог тебе судья. Ты скажи-ка мне, Павел Георгиевич, давно ли семейство твое солнцевским помещьем владеет?

— Давно ли? Считаю! Стольник Никита Зуров от царя Михаила Романова в дар получил тысячу десятин костромской земли. Матушка Екатерина еще две тысячи прапрадеду моему подарила. А потом тезка мой, генерал, дед, полтысячи соседу в карты просадил. Вот и считай, давно ли мы нашей землей владеем, двумя с половиной тысячами десятин.

— Стало быть, лет триста, если от первого царя считать? Выходит, триста лет мужики не на себя, а на тебя работали. Сочти, кто кому зуб за зуб должен. А сожгли вас, говорят, не наши, а солдаты беглые. И то небось ни жены, ни детишек твоих из винтовок не побили.

— Нет у меня ни жены, ни ребятишек.

— Плохо, что нет. Своих вспомнивши, может, чужих не тронул бы. Я вот сам новым порядкам, власти красной не больно рад, царя жалею... Но в обиду не прими, барин: вы, господа офицеры, злодейством своим народ прямо в коммунию толкаете. Проклял тебя

народ. Осталась тебе теперь одна дорожка — в туретчину либо в немецчину! В России тебе больше не жить.

— Будет панихиды петь! Когда к власти опять вернемся, не все старые порядки назад введем. Похлебка сперва прокипеть должна на огне, а потом, к еде, и приостывает. Сейчас все кипит, но недалек час, когда мы народ образумим. У красных дела плохи. Пермь уже наша. Слыхал?

— Туда, что ли, тебя Сашка проводить взялся? Еще снегу не слишком много, лесами проберетесь. Позднее и верхами по сугробицам не пройти будет.

— Нынче уходим... Что там за возня у ворот? Не Сашка ли уже?

Но в ворота стучался не Сашка, а какие-то обозники из Юрьевца, попросившие приюта на остаток ночи. В горницу сразу ввалилось много укутанных в платки баб и чужих мужиков. Прежним гостям пришлось потесниться. Зуров велел собираться в путь, не ожидая Сашку. Подозвал Марфу.

— Получи-ка за постой и угощенье!

Марфа небрежно прикинула на вес плотную пачку неразрезанных денежных знаков. Даже по обесцененному курсу они представляли собою порядочную сумму.

— Что больно расщедрился? Тут — за десятерых, товарищ дорогой!

— Может, не последний раз проездом. Зачти вперед. Собери парнишку и вели своему Степану и Артаману проводить нас верхами в Заволжье, чтобы кони дорогой не разбрелись.

С такими постояльцами не поспоришь! Владек и Макарка с опаской сели на горячих донцов, зато темно-гнедой красавец, которого взял в шенкеля Зуров, сразу почувял опытного наездника.

— Ну, хозяйка-певунья, прощай пока! Не забудь сказать Сабурину: пусть он скорее направляется в женский скит, за инокиней, чтобы не пришлось нам из-за нее четырнадцать верст крюку давать. Санки дай, чтобы скорее они до отряда добрались. Сашку с Букетовым прямо за нами следом пошлешь на его лошадах. Не спутай смотри!

Нет, Марфа ничего не забудет и не спутает! Далась же им всем эта святоша Тонька! И поп, и попадья, и

даже мнимый чекист — все о ней хлопочут! Писала Серафима-попадья в письме Марфе, присланном с Макаркой: если станут спрашивать про Тоню-девочку, смотри, не скажи лишнего, не признавайся, что она несколько лет в трактире прожила. И дорогу в скит не вздумай кому показать, пока монашку не увезут подалее новые «богомольцы»...

Вот как ловко получается! Тоньку окаянную увезут. Кажется, и гора с плеч? Так нет же! Кого провожатым берут? Никого иного, как Алексашку! Желанного, бесценного, любимого! И поедет он, ненаглядный, с монашкой лесной дорогой, по тайным местам...

Наслышана Марфа, что в тайных скитах приключается. Ах, Тонька-разлучница, постница проклятая! В путь-дорожку готовится. А в дороге чего не бывает! Там проводник пригожий на ручках перенесет, как боярышню какую, там ступить пособит, там шубку накинёт, а там и скинет... Святоша! Может, и песенку споют вместе, божественную. Вот посмеются-то над незадачливой, брошенной любовницей, Марфой-трактирщицей!..

Она проводила всадников взглядом. Уже вон они, на том берегу. Степан с тройкой, Артамон с парой Сашкиных коней, а три головных всадника — Зуров с Владеком и Макаркой — исчезают за деревьями заволжского леса...

У Марфы было много хлопот с гостями-обозниками, но злые, горькие думы о близкой встрече Сашки со святошей не давали покоя ни на минуту. Жгучая боль, жесточайшая на свете, от которой нет спасения ни во сне, ни на яву, — боль ревности, с такой силой терзала женщину, что она вслух тихонько стояла...

В кабинете Дементьева летчики выслушали Сашкин доклад. Иван Егорович Ильин, летнаб с шанинского «сопвича», караулил на кухне арестованных бандитов.

— Ну, Александр, поздравляю! И церковников раскусил, и, главное, на след банды в лесах напал. Как говорится, на ловца и зверь бежит! Сам понимаешь — уничтожение этой преступной банды основная задача нашей авиаэкспедиции. «Красное рождество» было

лишь попутным, отвлекающим мероприятием... Итак, главарь бандитов сейчас под видом чекиста спокойно ждет твоего возвращения в трактир?

— К утру. Но, конечно, вместе с этими двумя.

— Если бы удалось взять его врасплох — шайка была бы обезглавлена. Сколько там этой отпетой публики и где прячутся — пока неясно... Дайте-ка сюда старшего из задержанных.

Пилот второй машины, комэск Петров, привел ротмистра Сабурина. Он уже несколько оправился и начал обретать воинскую выправку. На вопросы о звании и имени отвечал точно.

— Где находятся и что представляют собой лесные укрепления вашего отряда в Заволжье? Нарисуйте подходы и огневые точки.

Ротмистр передернул плечами.

— Рисовать... не обучен-с!

— С какой целью прибыли в Яшму? Куда должен был доставить вас крестьянин Овчинников?

— По-видимому, туда, куда доставил: в красную контрразведку.

— Товарищ Петров! — чуть повысил голос комиссар Шанин. — Господин ротмистр от дачи показаний отказывается. В силу данных мне полномочий в военных условиях приказываю: вывести бандита во двор и расстрелять на месте именем революции. На обратном пути приведите ко мне второго, который ранен.

— Есть расстрелять и привести второго! — повторил Петров. — Ступайте вперед, господин ротмистр!

Небритые щеки ротмистра Сабурина, покрытые красными прожилками от мороза, заметно посерели. С места он не тронулся, но вытянулся перед комиссаром в струнку.

— Виноват, гражданин комиссар! Вы неверно меня поняли. Разрешите спросить: если я дам исчерпывающие сведения обо всем, что мне известно, вы... отмените этот приговор?

— Если вы скажете правду, я отменю расстрел на месте, а передам вас в руки советского правосудия. Ничего иного обещать не могу.

— Я понял вас. Извольте задавать вопросы.

— Численность шайки? Сколько пулеметов? Зачем прибыли в Яшму?

Ответы ротмистра были пространны и исчерпываю-

щи. Сергей Капитонович пошептался с Овчинниковым и летчиками.

— Так вот, господин Сабурин, прошу вас считать, что никакой задержки в пути у вас не было. Ясно?

— Н-н-н-е совсем...

— Сейчас поймете. Вы немедленно отправитесь вместе с вашим провожатым Овчинниковым к протоиерею Николаю и... до конца исполните зуровское задание. Письменное свидетельство протоиерея вы отдадите Овчинникову. Советую вам уговорить священника Златогорова выдать вам и Овчинникову этот документ, ибо только в этом случае вас будет ожидать не расстрел, а взятие под стражу до суда. Имейте в виду: упрашивать вас мы не станем!

— Извольте. Я согласен.

Когда арестованного увели, Сашка остался наедине с комиссаром Шаниным.

— Сергей Капитонович! Они сейчас в дорогу собирают и ее... Помешать этому надо. Нам бы в первую голову Тоню выручить!

— Эх, Саша! И думать-то о ней тяжело!

С тех пор как Сергей Капитонович узнал от Сашки про судьбу дочери, всякое напоминание о ней причиняло ему боль. Сашка прекрасно понимал, как трудно комиссару Шанину, летчику, революционеру, вникнуть в трагедию дочери-монахини.

— Понимаешь, Саша, — глухо ронял слова Сергей Шанин. — Просто средневековье какое-то: инокиня, скитница, святая целительница... Двенадцатилетней гимназисткой я ее потерял, такая девочка милая была... Умница, вся в мать, училась прекрасно, жила в светлом мире... Как подумаю, кажется, что все это будто сказка про околдованную дочь... во власти каких-то, понимаешь, черных сил...

— Понимаю, Сергей Капитонович, да бежит время-то! Спасать ее надо немедленно из бандитских рук. А уж там, дальше, видно будет... Очнется она, я такую надежду имею.

— Молодец ты, Саша, как на тебя глянешь! И что уже надумал? Говори. Обсудим вместе.

— Слушай, Сергей Капитонович, а самолеты ваши на что? Нешто нельзя посадить сперва на самолет этого ротмистра, чтобы он точнехонько Тонин скит

показал, а потом мы слетали бы с вами и вывезли ее оттуда. Нешто против семерых-бандитов — если не соврал ротмистр — мы с вами вдвоем не сладим? А то ведь, пока она там среди них, по банде смело не ударишь. Дело я говорю?

Легчик ласково потрепал парня по плечу, улыбнулся устало.

— Говоришь дело; мол, отыскать, прилететь и забрать? Да одна беда: машины наши — не птицы небесные, где захотели, там и сели. Лес глухой на сотни верст. Не посадишь самолет в таких местах, а посадишь — не взлетишь. Разведку лесов мы, Саша, второй день ведем и даже как будто скиты эти обнаружили, но с воздуха такую банду атаковать трудно. Тут не авиаторам, а тебе — главная задача. Дементьев пошел по домам, активистов мобилизовать на ликвидацию банды. Ты с офицером к попу сходи и доставь документ Зурову. Увидит попову подпись — поверит. Скажешь, будто оба офицера за инокиней прямо из Яшмы отправились. Задержишь в трактире главаря — тем временем активисты переправятся через Волгу, ударят по бандитам. Ну и... дочку мою отобьют у них. Думаю, и ты из «Лихого привета» к операции поспеешь. А наше дело с Петровым и Ильиным — вас с воздуха поддержать и направить, особенно если банда уже на походе окажется...

2

Глухой ночью в темный предутренний час отец протоиерей Златогорский послал матушку Серафиму за вторым соборным священником отцом Афанасием. Старичок еще не отдышался от вчерашней поездки в заволжские скиты и решил ни за что не соглашаться на новую поездку.

В кабинете отца Николая оказался яшемский парень, барышник Алексашка Овчинников, и один из новых «богомольцев». Еще вчера с ним прощались в скиту Савватиевом... Ротмистр Сабурин, помнится.

— Садись, отче, — со вздохом сказал протоиерей, придвигая вошедшему стул. — Целую ночь одно беспокойство! Ведь всего часа полтора, как господин подпоручик Стельцов от нас на лыжах ушел. Нужен покой и иерею.

— На лыжах? — переспросил Сашка и поглядел на ротмистра. Но тот по-своему понял Сашкин взгляд и решительным тоном заявил отцу Николаю:

— Вернемся к прерванной беседе, батюшка! Напишите начальнику известных вам нижегородских чекистов, что кони, сопровождаемые Александром Овчинниковым, изъяты у монастыря для военных нужд. А мы подтвердим, что изъяли. Я уполномочен Зуровым подписать это в оправдание вам. Мы спешим, батюшка!

— Да господь с вами, господа мои хорошие! Могли я дать соизволение на изъятие племенных жеребцов? Как полагаешь, отец Афанасий? А ты, Овчинников, что скажешь?

Сашка пожал плечами.

— Им кони нужны добрые и проводник хороший. Без меня и коней им не уйти. А мне перед братом надо чистым остаться. Вот и решайте. Коли не согласны — тогда поедем домой, господин ротмистр. Чуете, что вам сейчас начальник скажет?

Ротмистр поежился под Сашкиным взглядом и чуть не заорал на отца Николая:

— Какие тут могут быть колебания! Сию минуту пишите расписку! Либо с нами собирайтесь в наш отряд как заложник!

В растерянности отец Николай только сейчас заметил, что железного ларца, где он хранил и письменные принадлежности, нет на привычном месте. Верно, Серафима куда-то переставила... Нашарил запасную ручку в столе и под диктовку сурового ротмистра написал расписку для Овчинникова... В свою очередь, и Сабурин сочинил документ об изъятии лошадей для нужд Нижегородской ЧК. К документу даже печать приложил. На ней значилось: РСФСР. Комитет военно-ветеринарный. Печать эта, взятая Сабуриным некогда на ярославском складе, не раз служила службу зуровцам.

Когда светские лица покинули домик над откосом, отец Афанасий хмуро спросил хозяина:

— Пошто меня-то тревожил? Поступал бы по усмотрению, как всегда.

— Как ты в толк не возьмешь: кто же, кроме тебя, мне подтвердить мог, что это действительно офицер из зуровского отряда, а не какой-нибудь сообщник

Сашкин? Да и свидетель нужен при эдакой сделке! Ущерб обители, да что поделаешь? Иди досыпай, а мне не до сна!

Распиской протоиерея комиссар Шанин остался весьма доволен, но все карты грозил спутать встречный лыжник! Он видел, как проводник задержал обоих офицеров, видел, куда они были доставлены. Далеко ли лыжник держит путь? Прямо за Волгу или к трактиру?

На летучем военном совещании у капитана Дементьева решили пустить по следу лыжника двух человек верхами — Овчинникова и Дементьева с задачей — действовать, как подскажет обстановка, если лыжника не удастся догнать и задержать на пути к Зурову или отряду.

Летнаб с шанинского аэроплана Ильин стал во главе группы из четырех яшемских коммунистов. Группа эта получила карту района действий, сигнальные ракеты и винтовки. На крестьянских лошадях группа еще в сумерках двинулась наискосок, за Волгу, чтобы перехватить банду на марше. Авиаторы Шанин и Петров спустились на ледяной аэродром греть моторы и готовиться к разведке, чтобы взаимодействовать с группой Ильина.

Сабурина и Букетова сдали под стражу милиционеру Петру Ивановичу. Нижегородским губернским властям по телеграфу сообщили, чтобы там готовились к перехвату банды в ветлужских и керженских лесах, в случае если бы яшемцам не удался маневр окружения и поимки.

Опасаясь погони, Михаил Стельцов не сразу выбрался из проулка на большую дорогу, а пустился сначала в сторону села Нагорного. Под луной было довольно светло. Лыжник пересек несколько отлогих овражков с наметанными ветром сугробами и притаился за чьим-то овином.

Он долго вглядывался в неясную сизую мглу, слегка замутненную предутренней морозной дымкой. Нет, погони как будто за ним не послано. Значит, не опознали!

Утишив сердцебиение, он вернулся на юрьевецкий тракт уже усталым: сугробы и буераки измотали его.

Двадцать верст малоезженной дороги дались ему нелегко. Озабоченный, злой, вспотевший, брел он, то и дело озираясь назад. Котомка давила плечи. Совсем развиднелось, когда он добрался до ворот «Лихого привета».

Нет ли засады?

Вопреки обыкновению ворота открыты настежь: только что въехало несколько крестьянских подвод из Семигорья. Среди мужиков-обозников стояла Марфа в накинутом на плечи полушубке. В течение всего декабря именно Стельцов поддерживал связь с трактором, и потому из всех офицеров отряда Марфа в лицо знала только его. Он медленно двигался около ворот, будто вовсе и не желая заглянуть в трактир. Марфа узнала подпоручика, подошла ближе и улыбнулась ему приветливо.

— Кто на дворе? — спросил тот сухо.

— Чай видишь, обозники, семигорцы. Давно их знаем, люди торговые, свои. Чаю напьются и съедут. Что в избу-то не идешь?

— Постой! Мальчишка этот, Макарий Владимирцев, у тебя?

— За Волгой уже. Час будет, как начальник ваш его с собой увел. Восемь коней с ними. Нынче уйдут на восток.

— А где... Сабурин с Букетовым?

— В Яшму подались с проводником вашим, Сашкой. Насчет лошадок сговориться по-доброму с отцом Николаем. Вот-вот воротятся. Отсюда еще за монашью заехать должны.

— Стой, стой! Проводник у них в казакине и полушубке?

— Он самый. Санки ковром крытые, пара коней. Встретился, что ли?

— Ты давно его знаешь?

— Подоле, скажем к примеру, чем тебя, батюшка. Родственник наш... Да что ты меня будто в полицию допрашиваешь? Не хочешь в избу — будь здоров! А мне ласы точить некогда. Прощеньца просим.

Женщина решительно направилась к дому. Стельцов сошел с лыж.

— А ну воротись!

Стельцов глядел ей, чуть сощураясь, прямо в глаза. Наигранно ее спокойствие или искренне?

— Знаешь, куда этот твой родственник доставил Сабурину и Букетова? Прямо в засаду к чекистам. Дом в слободе у овражка, высокое крыльцо. Букетов побежал, проводник его убил. Сам видел.

Марфа отшатнулась в непритворном ужасе.

— Врешь, врешь! Помстилось тебе! Кони-то у вас, за Волгой. Брату его — полный раззор, если с такими конями что неладно будет. На Сашку не грехи, не клепи! Куда он от коней денется? Как он к чекистам пойдет, коли сам только что с белого Дону коней пригнал и ребятам твоим их уступил?

Стельцов поверил, что женщина потрясена. Он заставил ее пересказать подробности Сашкиного договора с начальником отряда. Потом она передала кое-что про ночной разговор Зурова с дедом Павлом. Стельцов рассказал ей, как безжалостно Сашка из нагана пристрелил беглеца, как вызвал из дому вооруженных летчиков и совсем по-приятельски с ними здоровался...

Вот тут пришла очередь задуматься Марфе!

Неужто Сашка затеял все дело только для отвода глаз? Лишь для того, чтобы отыскать в лесах Тоньку и переловить «богомольцев»? На волчью охоту ни с того ни с сего к болоту отправился? Дорогу к скитам выспрашивал?..

По лицу женщины Стельцов все более убеждался, что она не притворяется, не играет заученную роль. Она убита вестью о предательстве проводника. Верно, и за нею он знает немалые грехи?

Бледное Марфино лицо со сдвинутыми бровями из растерянного и недоумевающего становилось тверже, злее. Она еще пыталась найти Сашкиным поступкам какое-то иное, невинное объяснение, но сама все отчетливее понимала замысел бывшего своего возлюбленного... Значит, надежда, уже было вновь вспыхнувшая в Марфином сердце после того, как спели они с Сашкой так ладно и согласно, снова гаснет, что сырая лучина! Уж нечего ждать от всей этой постылой жизни. Не вернуться запретные радости, не будет песен под гитару, свиста полозьев в лесной тиши, когда рука любимого охватывает Марфин стан, не будет всего безудержного, грешного счастья! Она, Марфа, послужила только прикрытием хитрых замыслов, была всего лишь хозяйкой удобного трактира, отку-

да сподручнее закинуть удочку на недозволенную рыбку... Ну коли так, Саша, то и она, Марфа, в долгу не останется!

Оглушенная своим горем, она и не слышит, что еще толкует ей подпоручик. Видит, что у него губы шевелятся, а силы прислушаться, вникнуть нет... Эх, бросить бы все, уйти самой в лесную обитель, к таким вот «монахам» вроде Стельцова, вместе с ними резать, палить, крушить, сживать со света!..

— Вижу, Марфа, напрасно я про тебя плохо подумал, что ты с ним в сговоре. Пора мне своих догонять. На лыжах за сутки полсотни верст отмахал. Мочи больше нет. Дашь лошадь с подводой?

— Лошадь тебе есть. Начальник оставил Сабурину подводу, чтобы ловче было монашку к вам привезти. Бери, да сам и поезжай за целительницей святой, а то еще в лесу потеряется сокровище такое!

— Что ты на монашку-то взъелась? Нам сказывали, впрямь святая. От самого отца Николая слышал. Говорит: истинная чудотворица.

— Как же не чудотворица! Сашка только через нее свое чудо и сотворил! Она поллюбовница его! На все дела нынешние его и подстрекнула. Чай, вместе они у вас, у белых, за супротивство в тюрьме сидели, на барже, что ли, какой... Чудес ради и в дорожку с вами напросилась!

— Вот оно что! Почему же поп Николай за нее горой?

— Поп-то Николай хитер больно! На что ему дурь-старухи темные? А эта вроде блесны-приманки. В мутной воде много рыбки на такую блесну наловить можно! Впрямь чудотворица!

— Ты, Марфа, умна чертовски. Ну ладно, запрягай.

— С вечера не распрягали, только подругу отпустили да разнуздали. Лошадь накормлена, отдыхала всю ночь. Сейчас я тебе поесть на дорожку вынесу, коли приослаб.

— Погоди, Марфа, дай-ка топор. Да местечко укажи укромное.

— Ступай вон в баньку. Там и топор найдешь.

В полутемной баньке Стельцов примостился на лавке под низким оконцем, развязал котомку. Он поддел топором верхнюю крышку железного ларчика.

Замок был прочен, пришлось попотеть. Наконец крышка поддалась, Стельцов высыпал содержимое на лавку.

Два аккуратных столбика-колоночки. Ого! Золотые десятирублевки! По полусотне в каждом столбике. Золотые серьги с изумрудами. Дамские часики французской фирмы. Медальон с бриллиантовой застежкой, а в медальоне — две головки — женская и детская. Обручальное кольцо с гравированной надписью «Сергей». Пять сторублевых царских ассигнаций, сунутых в нателную сумочку. Письма... «Отцу Николаю Златогорскому в Яшме». Фотография мужчины в летном шлеме. А, черт, какая странная находка!

С фотографии глядит на Стельцова военный авиатор в шлеме с очками. На обороте надпись: «Верному другу», подпись — Сергей и два адреса, один — в Ярославле... Почерк этих записей на обороте портрета и почерк писем к отцу Николаю — один и тот же! Письма датированы сентябрем 1918 года, можно сказать, тепленькие! Подпись: красный военлет, комиссар авиаотряда Сергей Шанин.

Вот это открытие! Вон какие у коварного яшемского пастыря «верные друзья»! Вот кто, значит, вызвал в Яшму летчиков! Именно это имя выкрикнул Сашка на крыльце дементьевского дома! Ясно, что и сам поп, и скитская монашка, и Сашка-проводник — все это красные агенты чекистов! Недаром Иван Губанов так подозрительно отнесся к святой целительнице, уверяя, что и она, и ее вздыхатель Александр Овчинников попали на баржу как большевики...

Значит, немедленно в путь, а ларец как доказательство с собой. Впрочем, ценности и деньги — можно, пожалуй, в карман, на черный день, а документы — назад в ларец. Он теперь не запирается, приходится перевязать бечевкой.

Вот и Марфа! Тоже понимает, что расслаживаться нельзя. Надо предостеречь отряд. А как быть с монашкой? Кто с ней-то разочтется за предательство?

И, будто прямо отвечая на эти мысли Стельцова, заговорила сама трактирщица:

— Слышь, господин офицер! — Лицо женщины выражает недобрую и уже неколебимую решимость.

Сухие губы сжаты, вокруг рта резкие складки. Странная пустота во взгляде, будто из этих глаз ушло все человеческое тепло, как из выгоревшего, спаленного пожаром жилья, где только злые искры тлеют в золе и изредка вспыхивают под ветром. — Уж не знаю, как вам и сказать, ваше благородие. Жизнь наша темная, лесная, но свои законы и у нас есть. Мы иудина греха меж собою не прощаем. Сами судим, сами наказуем. Сашка покамест далеко, но и с ним разберемся. А с той, со змеей, скорее расчесться надобно. Я в долгу оставаться непривычная.

— Правильно ты говоришь, Марфа. Эта монашка, оказывается, хуже ядовитой змеи. Но... за мною погоню ожидать надо, даже если Букетов убит, а Сабурин на допросах молчит. Сама понимаешь: к монашке завернуть — мне не с руки!

— Как не понять. Тебе не с руки — другие руки найдутся. Сама сейчас в женский скит махну. А ты прямо к своим торопись.

— Разве нам не вместе ехать? До болота? Другой дороги к женскому скиту как будто нет?

— Есть еще один брод запасной, ключовский. В холодную пору знаючи, конечно, — пробираемся. Туда и поеду.

— Ну что ж, ни пуха тебе ни пера, Марфа! Прощай!

— Прощеньца просим и мы. Приедешь к своим — передай, чтобы не сумлевались: Марфа Овчинникова сама змею задавила!

Дорогу к мужскому савватиевскому скиту, где квартировал отряд, нынче было различить не трудно. Стельцову путь был надежно проторен: Сашкина охота, монастырский курьер, зуровская группа — все это превратило глухую стежку в зимний проселок.

Стельцов миновал Глухой бор и спустился к Козлихинскому болоту. На карте оно обозначалось как «непроходимое». В обход требовалось бы пятнадцать-семнадцать верст. Но старцы-скитники давно открыли новым «богомольцам» тайну этого незамерзающего болота, где след подводы или всадника терялся в болотной жиже.

В многоверстое Козлихинское болото вдавался с севера холмистый полуостров твердой суши, покры-

тый лесами. Женский скит находился в западной, мужской — в восточной части полуострова. Расстояние между ними — верст восемь.

С юга, то есть со стороны Волги, достичь полуострова можно было только вброд, через болото. Обычно переправлялись потайной тропкою, на пол-аршина скрытой под болотной бровкой. Тропа шла гребнем бровки, но и сам этот подводный гребень был местами глинистым и вязким, непривычная лошадь пугалась, могла броситься в сторону, потерять бровку и утонуть в трясине. Проходить или проезжать бровку было нѣпросто, и лучше всего годились для переправы легкие саночки-лодочки, почти плывущие за конем над бровкой. Узнавали эту бровку по береговым створам. Для этого спокон веку служили особо затесанные деревья на твердом берегу. Проводники умели видеть эти деревья не только днем, но и ночью на фоне светлого неба. Тропа выходила к полуострову в полутора верстах от мужского скита. Лишь нынче Стельцов узнал от Марфы, что есть, оказывается, и прямой брод к женскому скиту, доступный лишь зимой, и то после сильных морозов.

Стельцов определил первый створ и понудил лошадь ступить в жижу. Вокруг саней заклопала вода, смешанная со снегом.

Сажень через восемьдесят бровка поворачивала, и ориентироваться следовало уже по второму створу. С берега невозможно было найти какие-либо признаки подводной бровки — ни травки, ни комьев грунта, ни кустов из воды не торчало.

Почти полверсты Стельцов следовал прямо и выехал на третий створ, последний. Миновав еще сто сажень, он выехал на твердый грунт. Опять пошла наезженная за ночь дорога. Еще верста лесом — и он у своих...

По выходе из болота на лесную тропу к самому скиту Стельцов увидел совсем свежие следы многих коней. Стал виден высокий тын скита-крепости. Там кричат и громко разговаривают. Даже охранение не выставлено или уже снято? Сквозь скрип полозьев Стельцов слышит мотор самолета. Воздушная разведка?

Тотчас в крепости звучит резкая зуровская команда.

А в других санках-плетушке ехала теми же местами трактирщица Марфа, держа направление к ключовскому броду... В отличие от Стельцова Марфа ехала нехоженой и неезженной целиной, помогала саврасой лошади выбирать дорогу полегче.

Глухой бор она пересекла наискосок, по сеновозной тропе. На пути она знала крестьянский хутор. Там жил на отшибе старик рыболов с немой женой. Они проложили в лесу несколько тропок, одну из них Марфа и выбрала.

После бора, в смешанном лесу, она часто вспугивала зайцев и видела, как мышкует за стогом сена рыжая лисица-огневка. Движения зверя были изящны и точны. Марфа обычно старалась подольше полюбоваться красивым хищником, увлеченным охотничьей игрой. Но нынче не до того ей было! Она приподнялась в санках, легонько щелкнула кнутом, и живой комок рыжего пламени стремительно скрылся за кустом.

Тропа потерялась среди мелколесья — видимо, давно никто не проверял брод в западном краю болота — те, кто посещал скиты, пользовались тайной бровкой в восьми вестах вправо.

Уже открылась Марфе унылая целина трясин и топей, и за ними — как будто на глаз и не больно далеко — лесистый холм на том берегу, уже в Заболотье. Женщина помнила направление брода — сначала брат правее холма, на устье речки, а с середины болота сворачивать прямо на самый холм, как только глаз сможет различить крест на вершине. Там скитское кладбище, а за устьем речки и холмом, на следующем подъеме — самый скит, в полтора десятка келий в виде рубленых домиков.

Большой ручей, откуда скитницы брали воду, назывался Теплым, верно, потому, что рождался от теплого ключа в глухих лесах. На коротком своем пути к болоту Теплый ручей принимал справа студеный приток и, добежав с ним до холма, превращался у самого устья в маленькую речку. Ближе к устью поток этот назывался Ключовкой. В устье поток перемерзал, а с ним и край болота, куда он впадал. Опасно было выезжать из незамерзшего болота на ледовую кромку Ключовки — конь мог обломать кромку льда и угодить в полынью.

Перед началом брода Савраска наострил уши и стал. Бывалый конь будто раздумывал, правильно ли ступил в зыбкую хлябь. Стало так тихо, что Марфа смогла расслышать вдалеке какой-то чужой, нелесной звук... Молотилка, что ли? Или веялка? Нет, трещит звонче, вроде мотоциклета... Господи, в Яшме-то летчики...

Мысль о них еще только мелькнула, а уж вот он, аэроплан ихний... Вынырнул из-за вершин, огромный, стремительный, на миг затмивший небо. На ястреба или сокола похож, а цветом — белый, с голубоватым отливом. Две темно-красные звезды на крыльях. Задрал голову, Марфа углядела, как эти звезды будто покачнулись, белая птица немного накренилась и стало видно пилота. Он был один, перегибался через борт с открытого сиденья. Женщина ясно различила очкастую голову, плечи... Верно, и он заметил с неба одинокую подводку на краю болота.

Взглядом она провожала его до самого окоема в стороне Заболотья, у мужских монашеских скитов. Саврасый испугался мелькнувшей птицы и незнакомого шума, попятился назад, осаживая санки в мокрый снег. Сырость проникла внутрь плетеного кузова, сено на дне отмокло, и Марфа стала на колени, подсунула под валенки край полушубка. Когда конь успокоился, стронул сани и вошел в болотное месиво, Марфе послышался в отдалении нестройный рассыпчатый звук, будто кто-то тряхнул большой погрешкой, потом отдаленный треск и шорох, но сани пошли в бок, и днище покрылось водой, как в дырявой лодке. Все силы Марфы ушли на борьбу с болотом. Кое-как она выправила сани, но валенки намокли.

Вон стал виден крест на холме!

Марфа шевелит вожжами, причмокивает, и лошадь берет левее. Теперь полозья, дровни, плетеный кузов саней, валенки — все быстро покрывается ледяной корочкой на сильном морозе. От конской спины валит пар, и шерсть индевет, седеет.

Кромку льда в устье Ключовки Саврасый одолел легко. Копыта уже гремят о желтые наледи. По неглубокому надледному снегу сани прошли сотню сажен руслом речки, и наконец Саврасый вытащил их на отлогий берег Ключовки. Да, недаром этот брод заброшен!

В негнущихся, одеревенелых валенках Марфа сошла на твердую землю и отбила кнутовищем ледяные корочки с валенок. Лошадь всхрапывала, отряхивалась, трясла оглобли. Марфа дала Саврасому передохнуть и сама огляделась. Прорубь, откуда берут питьевую воду. Мостки для полоскания белья. Тропа от проруби к лощине. Там уже видны скитские домики, приземистые, малоприметные среди леса.

Марфа не знала, где поселена новая скитница, и поехала на звук маленького колокола. Благовестили в часовне по окончании заутрени.

Строения скита лепились на обратном склоне холма и противоположном откосе лощины. Восьмигранное здание часовни «иже под колоколы» * — на отдельном холмике среди лощины, окружено старыми елями и соснами, но по высоте не достигает и половины стволов этих деревьев.

Встретить подводу вышли на тропу две старухи, и Марфа спросила у них, где келья Анастасии. Старухи мялись — одна была глуха, другая вовсе дряхла и слабосильна. Но, уразумев, о чем спрашивает приезжая, обе зашамкали наперебой:

— Юницу нашу, господню радость, видеть желаете? Доброе дело! Избавление от муки душевной и телесное исцеление получить надейтесь! Ступайте с верой и обряцете радость! Вон поезжайте за гору, там она спасается, Анастасия. Помогите ей, господи, своей благодатью! Осени, господи, младую главу духом святым!.. Батюшки-светы, да ты, странница, никак Ключовским бродом пожаловала? Да как это тебя отец небесный сохранил?

Марфа уже не слушала причитаний, тронула коня. За поворотом она увидела домик среди темных елей. Над трубой чуть вился пар. Ни забора, ни палисада при доме не было — только дровяной сарай и земляной погреб.

Женщина привязала лошадь к дереву и поднялась на крыльцо. Толкнула дверь, обитую войлоком, миновала полутемные сени и очутилась в келье лицом к лицу с той, кого так давно и так глубоко ненавидела.

* «Иже под колоколы» — сравнительно редкий тип церкви, где колокола, «звон», висят над молельной, а не в отдельной звоннице или колокольне.

Но Марфа не сразу и признала свою бывшую прислужницу Тоню в этой строгой и величавой женщине в черном. Ряса до пят... Платок до черных, будто кистью наведенных бровей... Глаза огромные, скорбные, взгляд глубокий...

— Здравствуй, Тоня!

Ни смущения на лице инокини, ни улыбки привета, ни даже удивления, словно хозяйка «Лихого привета» каждый день жалует сюда в гости. Но поклон монахини — низок и смиренен.

— Здравствуйте, Марфа Никитична! Зовут меня сестра Анастасия. Мирское имя уже и сама даже забываю, дай бог и вовсе позабыть скорее. Спасибо вам, что потрудились келью эту провести. Дайте, я вам раздеться помогу. Не угодно ли щец горячих с дороги? Еще, наверное, не остыли в печи.

— Нет уж, благодарствую. По делу я к тебе. Уходить тебе пора отсюда. Слух пошел, красные власти все леса перерыли, тебя ищут. Отец Николай велит тебе переехать со мною к провожатым твоим. Нынче же с богомольцами дальше отправишься, в глубокие леса, ко скитам керженским, что ли... Время дорого... Чего стоишь-то?

Осматривая келью, Марфа увидела на стене черную схиму — наплечную накидку, клобук на голову и епитрахиль, род передника, надеваемого на шею и спускающегося на грудь схимнице. И клобук, и остальные части схимы были испещрены мрачными знаками, символами смерти и отречения от мира. Тут повторялись кресты и распятия, черепа, скрещенные кости, изображения ключей, петуха и лестницы. Все это было вышито белым по черному полю вместе со старославянскими надписями — пророчествами.

— Не рановато ли тебе в схиму облачаться? Чай, не старица еще? — съязвила посетительница мимоходом.

— Схимы я никак еще не могу быть удостоена, ничем пока ее не заслужила, — ответила молодая монахиня. — Просто жила в этой келье до меня святая старица-схимница. Рассказывали, что сорок лет более трех слов в сутки не произносила. А мне веле-но беречь и хранить ее схиму, пока достойная хранительница сыщется и этой схимы удостоится.

— Ладно, знаю, что ты — скромница. Только поживее в дорогу собирайся, каждая минута на счету!

Скитница Анастасия только головой покачала.

— Напрасно себя побеспокоить изволили, Марфа Никитична, ехали в такую даль за мною по трудной дороге. Вчера старец Савватий присылал ко мне скитника...

— Неужто Савватий еще жив?

— Не встает с ложа и временами заговариваться стал. Людей иной раз в лицо не узнает, память не всегда ясна. Кончины ждет близкой, а вот вчера обо мне вспомнул и прислал сказать, что гости его лесные, недавние, хотят меня в дорогу взять, а он меня ехать с ними не благословляет.

— Почему же так? Ведь сам отец Николай ехать велит.

— Отцу Николаю неизвестно, что люди эти недобрые, не богомольцы они, и идти с ними погибельно. Мы со старцем Савватием давно бога молим, чтобы простил их тяжкие прегрешения, а они ими похваляются.

— Что же это за люди, по-твоему?

— Белогвардейские офицеры, что из Ярославля бежали. С ними, рассказывают, и Иван Губанов, что служителем был на скотном дворе, а на самом деле — каратель, подъесаул казачий. Пулеметчиком он в белом отряде, и не могу я, грешница, на руки его взглянуть! Сколько он ими в одном Ярославле крови пролил! И похвалялся отцу Савватию, что непрестанно баржу нашу с берега обстреливал, всех беглецов смертью убивал. Он, значит, застрелил в воде и Сашу Овчинникова, да будет тому память вечная, благодарная! Могу ли я с убийцей его к одной погибели вместе идти? Нет, нет, Марфа Никитична, обо мне не хлопчите! Перед богом я грешна, как все, а перед красной властью вины не имею, и не надобно отцу Николаю за меня опасаться. Места, лучшего, чем здесь, не найти. Здесь надеюсь и в гроб лечь, когда бог велит.

А Марфа уже и не слушала, не вникала в слова Антонины, как только прозвучало у той на устах Сашкино имя. Сердце зашло от яркой ненависти к этой черной змее, бесстыдно посмевавшей упомянуть его

здесь, при той, у кого она отняла, отколдовала всю радость жизни...

Хмурое лицо Марфы потемнело, как Волга в грозу. Она отвела взгляд, чтобы соперница не прочла в нем своего приговора...

Снаружи, за окном, будто скрипнул снег под чьи-то шагами. Опасаясь, как бы ей не помешали, Марфа рванула кожаную застежку полушубка и сунула руку за отворот.

Пораженная неожиданным движением и, главное, страшным лицом Марфы, Антонина вдруг на полуслове смолкла, отступила назад и подняла руку перекреститься. Ослепленная гневом женщина поняла это движение так, будто Тонька хочет защититься...

Выхватывая из-за отворота нож, Марфа зацепилась рукоятью за кожаную застежку. Это чуть приослабило замах, когда Марфа кинулась на инокиню.

— В гроб, говоришь, змея? Ложись в гроб за Сашку!

У Антонины в глазах сделалась ночь, и вдруг она всем телом ощутила странную легкость, будто разом потеряла вес и может уплыть по воздуху...

Через мгновение она ощутила в груди что-то постороннее, мешающее вздохнуть, но не поняла, что с нею, и даже не удивилась, когда в темном дверном проеме появилось четверо незнакомых мужчин. Лица их были странно испуганными, а сама она никак не могла объяснить этим беспокойным людям, что теперь-то все стало очень хорошо и очень просто!



глава двенадцатая

ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

1

Макарка Владимирцев помогал Губанову разбирать пулемет, уже снятый с наружной огневой позиции. В жилом помещении скита сегодня с утра не топлено, дверьми хлопают, никто не бережет перед уходом домашнего тепла. Монахам-скитникам в соседних лесных убежищах велено было с утра не покидать жилищ, пока отряд «новых богомольцев» не покинет своего укрепления и не уйдет через болото.

Губанов узнал Макара, когда Зуров привез его в леса. И Макар вспомнил, как обучался у Ивана Губанова в Яшме игре в бабки и даже получил от него в подарок полный набор — одиннадцать штук ровненьких, чистеньких, одинаковых бабок.

Степан и Артамон, трактирщики из «Лихого привета», приглядывались к сборам отряда. Они сами отслужили в солдатах всю войну и могли судить, что командир Зуров выступает в поход со знанием дела. Заботливо готовили бьюки с продовольствием, оружием, боеприпасами. Макар уже знал маршрут: сперва на город Макарьев, потом на Ветлугу и Вятку, а там и до Перми. Фронт, по слухам, передвигался с востока на запад — значит, навстречу отряду.

С часу на час ожидали возвращения Сашки, Сабурина и Букетова, возможно, уже с монашкой. Офицеры сочно острили, как она поедет с ними, и капитан Зуров начинал втайне жалеть, что связался с такой обузой. Верхом-то небось не сможет, понадобится подвода, снизится проходимость... А Губанов, напротив, доказывал, что подвода и без монашки обязательно

нужна, чтобы держать наготове пулемет под тулупом ради маскировки. И всем было немного жаль трогаться с безопасного, насиженного места.

Губанов рассказал мальчику об участниках похода. Представлены все роды войск. Зуров — артиллерист, Букетов и Горельников — пехотинцы, Кулагин — сапер, Пантелеев — военный врач, Сабурин — кавалерист. Стельцова и Владека Зборовича мальчик знал уже раньше, но ожидали Стельцова из ярославской поездки не ранее как через неделю.

Облачная дымка редела, и сквозь нее стало просвечивать жирным пятном зимнее утреннее солнце. Не снят только второй пулемет с турели, устроенной из пня, вбитой в него тележной оси и колеса, к которому привязан за катки пулемет. Конструкция Ивана Губанова, дает обстрел на все 360 градусов... Легко и удобно стрелять вверх... Ведь в Яшме — аэропланы.

На сердце у Макара становится тревожно. Что за странная пошла война? Раньше кадетам объясняли, что они, как люди русские, должны сражаться за веру, царя и отечество и стрелять в иноземцев — австрияков, немцев, турок, мадьяров. А теперь вот Иван Губанов готов стрелять в Сергея Шанина... Жутко это и трудно понять!

— Почему не снят второй пулемет, подьесаул? — сердито кричит Зуров. — Или до вечера будем собираться?

— За мной дело не станет, капитан! По первой команде нас с «максимычем» — на подводу и — уж можете за арьергард не опасаться!

Совсем было собрался Иван Губанов отвести рукоять затвора вперед и высвободить ленту, как слева, с запада, стал слышен легкий треск, точно ветер крутил где-то оторванную веточку с присохшим листком. В лесу часто трещат на ветру такие веточки, как флюгарки...

— Воздух! — кричит Зуров истошно и сыплет бранью. — Лошадей — под навес! Винтовки — к бою! Губанов — пулемет!

Но маскировать лошадей было поздно, а они-то и выдавали отряд!..

Тень крыльев мелькнула над двором, вершинами сосен, скитскими кровлями... Макара успел узнать две красные звезды... Но уже оглушил мальчика долгий

гром. Ошеломленный Макар все же успел заметить, как что-то оторвалось от самолета и полетело, крутясь, к земле. И звук в небе изменился, стал неровный, с переборами. Несколько секунд — и где-то не очень далеко справа сильно затрещали древесные кроны, будто ураганом их захватило и поломало...

— Сбит! — выкрикнул Губанов торжествующе. Он еще вел стволом вслед исчезнувшей мишени. — Ручаюсь, господа, не дальше как в версте ссыпался!

— Никак второй летит? — пробормотал Степан-трактирщик. — Слышь, Артамоша, вроде бы отлева... А может, минует?

— Да, идет второй! Вон там, с юго-востока заходит, — мрачно подтвердил Зуров. — Плохо дело!

Однако звук мотора отклонился и стал слабее. Летчик набирал высоту — либо ради безопасности, либо для обзора. Его заметили высоко над лесом, в стороне...

— Этого не достанет и Губаныч! — посетовал доктор Пантелеев. — Сдается мне, господа, что поезду дан третий звонок!

— Навьючивай! — скомандовал Зуров.

Михаил Стельцов правил лошадью. Дорожная котомка его валялась в ногах, рядом с парой лыж, свисавших над задком саней. До скита-крепости было совсем близко...

После зуровской команды, винтовочных залпов и пулеметных очередей он погнал было лошадь галопом, но из ворот вышел ему навстречу целый караван: шесть всадников, две запасные навьюченные лошади и в арьергарде — подвода. За ней на некотором расстоянии — оба трактирщика верхом на одной лошади.

Навстречу раздались удивленные, обрадованные возгласы:

— Миша! Стельцов! Как успел так быстро обернуться?

— Воюем, значит, господа? — У Стельцова от возбуждения лицо покраснелось и блестели глаза. — Вы, господа, кажется, сбили самолет типа «сопвич». Упал, сдается мне, на болоте... Капитан Зуров! У меня чрезвычайные новости!

— Пока поворачивай за нами, Михаил, потом пе-

ресядешь на запасную лошадь. Поговорим на ходу... Если самолет сбит, надо взять летчика или его документы! Выкладывай свои «чрезвычайные новости».

Отряд перешел на рысь. Зуров держался рядом со Стельцовым, и тот на ходу доложил командире: проводник Сашка — предатель и красный агент, яшемская «святая» и сам яшемский поп Николай действуют как пособники чекистов. Поповский ларец с изобличающими документами — здесь, в котомке.

— Постой-ка, Миша, а как дело... в Ярославле?

Стельцов расстегнул полушубок, вынул из-за пазухи кожаную папку и протянул командиру.

— Вот получай сполна все свое Солнцево! Надоели мне в пути твои бумаги — страх! Сто бутылок шампанского — и то не откупишься!

— Неужто все тут уместилось? — От радости у Зурова даже голос осекся. Он не удержался и приоткрыл папку. Документы он знал хорошо: старинный план поместья, купчая на имя Макария Владимирцева... Зуров сунул папку за пазуху и по-гимназически даже ремень проверил, плотно ли затянут... Не выпала бы... Сказал с чувством: — Ну, Михаил, этой услуги я тебе никогда не забуду, слово русского офицера!

— Сочтемся! Теперь, Павел, береги мальчишку! Четверть миллиона стоит..

Отряд приблизился к болоту. Зуров поскакал в голову колонны.

— Тихо! Отставить разговоры! Зборович! Горельников! Вперед — на рекогносцировку! Остальным — спешиться!

Спешенные повели коней в поводу, оба назначенных в разведку ушли верхами к опушке. Вот оно, болото! Зуров поднес к глазам бинокль.

У противоположного берега лежал подбитый самолет. Не сгорел, не развалился, и похоже, что пилоту удалась вынужденная посадка. Хвост немного задрался и заслоняет кабину, в бинокль нельзя понять, пушта ли. Подойти к самолету можно лишь с того, материкового берега, а перебраться туда подводной бровкой опасно: если летчик затаился в кабине или близ самолета, он перестреляет людей на переправе.

Но у капитана Зурова уже созрел особый замысел!

Положение резко ухудшилось. Есть ли хоть малая

надежда ускользнуть лесами и достичь Перми? Ведь на поиски подбитого самолета сейчас будут посланы крупные силы, сухопутные и, возможно, авиационные. Уйти целому отряду, разумеется, не дадут, его возьмут в клещи и раздавят. Значит, выходить из этой игры надо иначе. Жаль слаженного боевого товарищества... Но, в конце концов, это лишь маленькая группа... В сравнение со всей белой армией — так, песчинка, затерянная в лесах...

Капитан Зуров вспоминает перхуровский прорыв из Ярославля. Ловко обставил тогда Александр Петрович бегство из безнадежного кольца. Вот агония «поволжской вандеи» и ее последний трофей — самолет на болоте!..

Зуров приказал обоим трактирщикам следовать за разведкой. Чавканье копыт отдаляется — разведчики достигли середины болота. Опасливо трусят за ними Артамон со Степаном на одной лошади.

Все спокойно. Ни выстрела, ни шороха. Около самолета разгуливают вороны. Пилот мертв или без памяти, да и выбраться ему все равно нельзя: далеко от берега.

Разведчики, слава богу, уже на том берегу! Губанов сует в карман иззябшие руки. Зуров велит начинать переправу всем остальным. Пошли две подводы, губановская и стельцовская, сапер Кулагин с двумя запасными лошадьми, доктор Пантелеев... Их переправу с берега прикрывает капитан Павел Зуров, кавалер ордена Анны второй степени. Около себя он оставил бывшего кадета Макария Владимирцева. Ему тоже вручена винтовка, для огневой поддержки отряда на переправе.

2

Стельцовская лыжня довела Сашку Овчинникова и капитана Дементьева до «Лихого привета» и здесь оборвалась у самых ворот трактира. На подворье оказался один дед Павел. От него Сашка выведал, что ночные гости с хозяевами трактира подались за Волгу, а Марфа — за ними следом, тоже с каким-то спутником. На лыжах пришел, отсюда с Марфой на лошади поехал...

— Опоздали мы с тобой, — сказал Дементьев. — Вострят лыжи! Теперь за любым деревом может быть

засада. Снимут пулей с коня почище, чем летом с мостика.

— Знать бы броды через болото! Я бы прямо к женским скитам махнул, Антонину выручать. Стельцов, верно, за нею и поехал.

Всадники пересекли Волгу. Начался левобережный лес. Конники очутились перед развилкой: один санный след ушел вправо на Козлиху, другой резко свернул на запад.

— Вот тут и гадай! Выходит, Стельцов и Марфа ехали на разных подводах и здесь расстались? Обязательно надо оба следа проверить. Езжайте вы налево, мимо хуторка рыбацкого, а я прямо возьму.

И Сашка остался один на один с Глухим бором; неведомыми засадами, лесной тишиной и тайной своей тревогой за Антонину-Анастасию. Ехал он явно по маршруту Стельцова — в одном месте, желая оглядеться с холма, тот становился на лыжи: стало быть, взял с собою для предстоящего зимнего марша...

Что это? Пулеметная очередь? Опять... Несколько винтовочных выстрелов. Нарастающий свист, отдаленный треск и удар, будто большое дерево повалили. Значит, одна из групп уже ведет бой где-то на болоте или в Заболотье?.. Легкий треск авиационного мотора. Это обещанная воздушная разведка. Сашка помнит, что у Шанина и Петрова аэропланы разные, отличить их друг от друга он не умеет, но одно помнит твердо: комиссар Шанин летит один, комэск Петров — с бортстрелком. Шанинский же летнаб Ильин повел яшемскую группу в обход скитов.

Вот и самолет-разведчик! Высоко забрался, делает круг, снижается над болотом... Не подбит ли второй?

Последние три версты Сашка ехал крупной рысью. Мелколесье расступилось, открылся край болота... А по его целине...

Всадники! Как раз посредине переправы, двое, друг другу вслед, на Сашкиных донцах. Позади обоих конников трусят на крупе крестьянской лошади два седока: это Степан и Артамон.

Долой с коня!

Вмиг укрыть его в частом ельничке! Сам Сашка Овчинников должен быть неприметен для противника — светлый полушубок и барашковая шапка. Он прячется в заиндевелых береговых зарослях.

В сотне шагов от берега, в болотной проталине, раскинул крылья подбитый самолет. Стойки колес ушли в болотную жижу, нос уткнулся в кочку, видна красная лопасть погнутого винта. Хвост задран, а в кабине откинулся назад сам пилот. Чуть белеет его лицо в вырезе шлема. Задняя, вторая кабина — пуста. Значит, подбит не «Фарман-30» Петрова, а шанинский «сопвич». Сашка помнит эти названия, гордится тем, что знает такие слова, но... смысла их еще не разумеет...

Жив ли комиссар? Бандиты прикончат его сразу, ведь он незащищен в открытой кабине.

Сашка чуть отступает назад, выбирает высоту, удобную для стрельбы. На гребне высоты лежит колода — остаток разбитого молнией дерева. Сашка успел занять позицию за колодой раньше, чем оба разведчика выбрались из кустов. Крадутся уже в спешенном строю — коней оставили трактирщикам...

И тут доносит с болота новый тревожный звук: опять копыта чавкают. Мать честная! На переправу двинулась вся банда!

Один всадник. Второй... Запасные лошади с вьюками. Подвода с санками, ездовой лежит в передке, а на задке — стволем назад — пулемет. Еще подвода, санки лодочкой, из них лыжи торчат... Верно, Стельцов...

Разведчики же — вот они, близко, сейчас увидят летчика в кабине. Стрелять нельзя — спугнешь тех, на болоте! Успеют кинуться назад. Пусть караван углубится в самую топь, где не развернуться на узкой подводной бровке!

Передний разведчик кричит летчику петушиным голосом:

— Эй, пся кржев, пшеклентый чекист, руки вверх!

Летчик в кабине неподвижен. Оба разведчика разом вскинули винтовки...

Сашка выстрелил. Сраженный наповал, пан Владек упал. Стреляя по второму, Сашка дал промах, разведчик по-заячьи отскочил в сторону, но изготвиться к ответному выстрелу Сашка ему не дал... Теперь все внимание переправе!

А там, на потайной бровке, началась паника.

Оба головных всадника ожесточенно шпорили и нахлестывали коней. Первая подвода, с пулеметом,

мчалась вдогонку конникам, вторая пыталась повернуть назад. Под неярким дневным светом, среди белой пустыни болота, они все были приметны, как клопы на беленом потолке. Вдобавок подводная тропа приближала их, хоть и под углом, к незримому стрелку. Выход брода на материк был от Сашки уже не в версте, как начало брода, а саженьях в двухстах. Бултыхание конских копыт в болоте, ржание и храп испуганных донцов, понукания и крики ездовых и всадников становились Сашке все слышнее.

Но и по нему начали стрелять.

С того берега из частого ельничка в начале переправы раздалось несколько выстрелов. Значит, кто-то ослеплен прикрывать переправу огнем!

Дрожь била Сашку, пока он менял обойму! Но, как только он припадал щекой к прикладу, видел сквозь прорезь прицела своих врагов, дрожь пропадала, и ему казалось, что он берет мушку хладнокровно...

Однако ни один выстрел не попадал в цель! Сашка стрелял и стрелял по конникам, а те продолжали скакать к берегу, задняя подвода вырвалась за ними вслед, другая застряла посреди болота. И вдруг с этой застрявшей подводы ударил пулемет — короткими очередями по Сашкиной высотке. А у Сашки в запасе последняя обойма, пять патронов!

Он был искусным стрелком из охотничьего оружия, а боевое знал плохо. И все-таки сообразил отнять ружье от плеча и осмотреть прицел. Вот где причина промахов! Он по горячности забыл установить прицельную рамку на дальнюю дистанцию, пули ложились ближе цели! Он поставил прицел на цифру «8»...

От первого же выстрела головной всадник свалился в грязь. Вокруг Сашкиной головы взвизгивали пули «максима», и Сашка не подозревал, что вторично в жизни находится под выстрелами того же пулеметчика.

Но на этот раз казачий подьесаул Иван Губанов бил не в лодку с безоружным пловцом и сидел не в блиндаже! Сашка долго выцеливал скорченную в санках фигуру за пулеметным щитком. После Сашкиного выстрела пулемет смолк. После повторного — лошадь рванулась, забилась, сани вздыбились, пулемет и тело стрелка сползли в грязь.

Оставались конник и подвода с лыжами!

Прицел — на одно деление ниже! Выстрел!

Всадник — мешком с коня. Теперь запасные кони-донцы с вьюками мечутся по болоту, и скачет к берегу уцелевшая подвода, санки лодочкой, с торчащими лыжами. Сашка соображает — это Стельцов! Вжался в сено на дне санок, чтобы укрыться от красных стрелков. Сашка жмет спуск, стреляет. Снова стреляет. Последний патрон! Неужели уйдет!

До материкового берега ездуку в санях еще сто аршин. Пятьдесят... Каждый шаг приближает его к стрелку, но лошадь ускоряет бег. Минута — санки уйдут за сугробище.

Сашка стреляет!

Михаил Стельцов, чуть привскочив, нахлестывает лошадь, и Сашка, уже безоружный, вскакивает в оже-сточении, срывает с головы шапку и топчет в отчаянии и злости...

И вдруг совсем близко гремит новая пулеметная очередь. Сашка от неожиданности присел, озирается... Откуда? Враг или подмога? Там, вдалеке, лошадь, уже было вылетевшая на бережок, валится оземь, Стельцов выпрыгивает из саней и тут же падает, сраженный новой очередью...

Только когда все уже кончилось, Сашка сообразил, что помощь пришла ему... из кабины самолета! Комиссар Шанин жив, очнулся и... сражается!

— Сергей Капитонович! Товарищ комиссар!

Эхо разносит Сашкин голос по болоту. Летчик из кабины слабо машет рукой и кричит что-то Сашке в ответ.

3

Капитан Зуров понял сразу, при первом же выстреле с материка по переправе, что сражение на болоте проиграно. Но никто никогда не посмеет упрекнуть капитана Зурова в непредусмотрительности.

— Огонь! — шепчет он растерянному Макару. А сам, припав на колено, целится по самолету у того берега и делает несколько выстрелов. Мальчик зажмуривает глаза, затаивает дыхание и тоже жмет на спуск. Винтовка в его руках рывкнула, больно стукнула по скуле, сильно отдала в плечо...

Этим Макаркиным выстрелом и завершилась зуров-

ская операция огневого прикрытия переправы. Командир отряда вместе с маленьким адъютантом покидают поле проигранного боя. Зурову ясно, что маневр окружения отряда выполнен искусным тактиком — пропустить без выстрела разведку и ударить по переправе, для этого нужен опыт и... редкое хладнокровие!

Зуров быстро ведет мальчика назад, к скиту. Несколько сорок, треща и переругиваясь на своем сорочьем наречии, слетают с тына крепости. Будто понимали, что люди сюда воротятся... Не все воротились, правда!..

Командир велит Макару скинуть шубейку. В углу избы свалена ветошь. Зуров роется в ней, извлекает подряски, рясы, мятые скуфьи.

Времени мало! Командир и адъютант преображаются в монахов-богомольцев. Через плечо — нищенская сума, достаточно просторная для бумаг, консервов и браунинга!

Притворяться слепым Зуров научился давно. Это искусство спасло его в Рыбинске и на дороге из Рыбинска в Ярославль. Сейчас он воспользовался клейкой картофельной массой, остывшей в котелке. Макарка дивится: из-под вывернутых век неприятно просвечивают глазные белки... Заправский слепец!

— Слушай меня, Макар! Дело идет о нашей жизни. Запоминай: я — слепец Никодим, а ты мой поводырь Сергей. В козлихинском скиту знаем схи-игумена Савватия, ходили к нему за исцелением, теперь посланы им к святой целительнице Анастасии... Повтори! Возьми в карман эту бумагу: податели сего собирают милостыню для престарелых священнослужителей в Ипатьевском монастыре... Еще раз все хорошенько повтори!

Встретить красную засаду у женской обители весьма мало вероятно, ибо женский скит — дальше от переправы. Можно будет отсидеться среди скитниц, обманув «целительницу», даже если она и в сговоре с красными властями. А потом выпросить лошадь и провожатую для страшной переправы. Дальше — видно будет!

Чтобы мальчик более естественно играл роль поводыря, Зуров велел ему еще и петь по-нищенски. Макар с малолетства наслушался на церковных папертях такого пения.

До цели пешего странствия — женских скитов — оставалось всего версты две. Впереди послышалось конское ржание.

— Не трусь! Иди прямо на людей и на лошадь! — шепнул Зуров. — Стоит им заметить, что ты боишься — и мы схвачены!

Стали слышны голоса нескольких мужчин. Фальшивым, но довольно громким голосом Зуров и сам затянул первый псалом Давида:

— «Блажен муж иже не грядет в совет нечестивых»...

Разговор впереди смолк. Окрик:

— Стой! Кто такие?

Слепец размашисто крестится и широко осеняет крестным знамением встречающих. Макар видит трех всадников и узнает летчика из авиаэскадрильи, деревенского секретаря Мишку Жилина и пристанского матроса Клима. Никто из них и внимания не обращает на бледного поводыря, все глядят на слепца. Макар поражен, как натурально он себя держит: •

— Мы — люди божии, спаси Христос! С поклонения святым местам идем, от схи-игумена Савватия к женской святой обители.

— Что там за стрельба была, в вашей стороне?

— Далече стреляли, батюшка, на пустоши, за болотом, а кто да кто — нам неизвестно. Сказывали нам старцы, будто охотники надьсь волков били.

— Ты, дед, слепой, что ли?

— Воистину так, сыночек! Двадцать лет, как света божьего не узрю. Отрок водит.

— А документ у тебя какой-нибудь есть?

— Как не быть, родимый. Кажи бумагу начальнику, Сергей!

— Идете зачем к женским скитам?

— К чудотворной целительнице Анастасии, родные. Старец Савватий надоумил. Дескать, через ее ангельскую молитву исцеление очесам обрести.

— Ну коли так, можете оглобли назад поворачивать! — сказал Жилин. — Нету там больше вашей целительницы. Ей самой теперь целители нужны. Зарезали вашу святую...

— Свят, свят, свят! И праведницы не пожалели! Все едино, отрок Сергей, веди к старицам, помолимся за душу ангельскую.

— А вы тут богомольцев с винтовками не встречали? Я мальчика твоего спрашиваю, дед. Как тебя? Сергей, что ли?

Вопрос задавал летчик, Иван Егорович Ильин. Макара похолодел от страха и молчал. Зуров же, напротив, уставил прямо на говорящего незрячие очи и говорил натуральным тоном:

— Отрок Сергей у нас напуганный сызмальства, людей с ружьями страсть как боится. Охотники какие-то вроде вас верхами быдто утречком к болоту мимо скита Савватиева проехали. Нам-то, грешным, сие и ни к чему!

— А про самолет ничего не слышали? Где он тут спустился, в какой стороне?

— Самолет? Что ты, батюшка, такого здесь отроду и не слыхано. Чай, мы не впервой в этих местах богоспасаемых. Когда Яшмой шли, мужики чего-то про еропланы толковали, а здесь — нет!

— Эх, Иван Егорыч, — в сердцах сказал Жилин летчику. — Сюда бы вместо темноты этой божьей ребяташек наших ящемских! Мигом бы к шанинскому самолету привели! Ну поехали искать, что же делать? Может, кого потолковее встретим.

— И мы с тобою, Сергей, побредем. Прощевайте, люди добрые, господь вас храни!

Обе группы разошлись в противоположные стороны. Зуров угрюмо молчал, поводырь ежился и раздумывал над всем происшедшим. Вот когда возродились вдруг в его памяти слова матери: «Спроси в душе своей у господина или у служителей храмов божиих, как поступить по господней воле».

Так ведь он, Макара, поступает сейчас именно так, как наставили его служители храма! Там, на болоте, медленно уходят в трясину красные звезды на крыльях, может быть, тонет раненый летчик... Стоило бы Макару сейчас показать рукой направление, и всадники сейчас точно знали бы, куда скакать на помощь гибнущему. Или, в худшем случае, где искать тело летчика. Но тогда мог легко раскрыться маскарад Павла Георгиевича Зурова, белого офицера, виновника гибели солнцевских крестьян...

Так как же было Макару поступить по-божески — помогать зуровскому обману или помочь розыску сбитого зуровцами самолета?

Тяжело стало на сердце у Макара от этих мыслей! А тем временем они уже дошли до женской обители.

Здесь ни тишины, ни покоя не было! Почти все население женских скитов толпилось на берегу оледенелой Ключовки, у проруби. Снег на Ключовке был расчищен и разметен, лопаты и метлы валялись на берегу. Все скитницы еще обсуждали с горячностью некое чудо, свершившееся здесь только что, у всех на глазах...

— Где же праведница убиенная? — спросил Зуров. — Кто секиру-то на нее поднял?

— Не убиенная, а пораненная до полусмерти, — отвечала старуха черноризница, утирая слезы. — Ох, кормилец, что тут было — и пересказать словами нельзя. Схватили убивицу окаянную, потому как сперва четверо чужих на лошадях прискакали, а потом и пятый через болото по ее следу пожаловал. Немножко не успели, Анастасьюшку от ножа спасти.

— А где же инокиня пораненная? Ай отправили?

— Кабы отправили! А то, вернее сказать, на крыльях унесли. Токмо, архангельские ли те крылья или... сказать страшно, чьи.. про то единый господь во небесех ведает. Нам, убогим сиротам, мать бо-жия того не открыла.

— Ты толком-то Расскажи, матушка, как оно было...

— Нешто перескажешь! Анастасьюшку как подняли с пола, так уж без памяти. Кое-как перевязали ее старицы, а тут этот прилетел, кружить над нами стал...

— Ероплан, что ли? — подсказал слепец.

— Он, кормилец. Тут один из поимщиков убивицы, в кожаном весь, голова круглая, достает из кармана пистоль, и веришь ли, три звезды красных в небо взлетели! Стали тому коршуну с земли знаки подавать. Нам кричат — ежели желаете, чтобы сестра ваша жива была, помогайте лед расчистить. Что тут было — и не скажешь! Как спустился к нам коршун-то, положили на него Анастасьюшку, на старый след машину эту наставили, еще с полчаса снег перед ней разметали, а потом — завыл, затрещал — и нет его. Да сказал еще летун, что еще раз к нам сюда прилетит, второго коршуна выручать. Пришлые-то вам не

встретились? Пошли того коршуна на болоте искать. Может, говорят, летун еще живой, сюда его везти хотят на лошади.

— Слышь, матушка, запрягите и мне с отроком лошадку!

— Что ты, божий человек, мало погостил у нас?

— При делах столь дивных... в яшемскую обитель помолиться спешим. Только бродом переправьте, а там уж отрок и пешой доведет.

— Нет ли у тебя, странник божий, сольцы фунтика? Давненько солью бедствуем.

— С фунтиком-то, сверх денежки, я бы до самой Яшмы доехал.

— И мы доведем, коли найдешь.

— Ну господь с вами, так и быть. Запрягайте!

Яшемский пастырь, отец Николай Златогорский, окончательно убедился, что ночью его ограбили. Неужели Стельцов?

Отец Николай последний раз открывал ларец перед его приходом. Через полтора часа после ухода Стельцова явились те двое, Сашка Овчинников и ротмистр Сабурин, но к их приходу ларца как будто уже не было на месте. Матушка призналась, что котомка Стельцова показалась ей поутру потяжелее, чем с вечера. Батюшка обозвал жену старой дурой и разиней, но от этого на сердце не полегчало.

Ларец теперь, очевидно, уже в руках господ офицеров, в партизанском отряде. Обнаружат там золото — трудом накопленные деньги, плата за бесчисленные крестины, свадьбы, похороны, панихиды, освященные дома, водосвятие...

Еще находились в ларце некие предметы. Умиравшая Мария Шанина отдала все это отцу Николаю в час предсмертной исповеди. От Антонины пришлось эти предметы утаить, чтобы скрыть правду об отце. Сначала отец Николай намеревался просто пожертвовать украшения и ценности Марии Шаниной в монастырскую казну, но... как-то не собрался. Решил поберечь их до совершеннолетия Антонины, тем более что монастырское имущество с самого 1917 года находится под угрозой государственной конфискации. А как докажешь теперь, что он просто-напросто не присвоил себе эти шанинские драгоценности? Если банду пере-

ловят и документы Шаниной вместе с украшениями попадут в руки красных, отца Николая могут разоблачить как укрывателя ценностей, как лживого пастьера, обманувшего свою духовную дочь...

Стучат! Кого еще несет так поздно? Господи Иисусе, да это Макарий Владимирцев! И в каком виде! В нищем оборвыше трудно узнать родственника-поповича! Как юродивый!

— Отче Николай! Вас просят сейчас же, минуты не теряя, прийти на кладбище.

— Да кто меня там ждет-то?

— Отец Никодим.

— Не знаю и не ведаю.

— Он говорит, что ведаете. Насчет вашего пропавшего ларчика.

— Ах, вот оно что!

Ни о чем больше не расспрашивая отрока Макария, священник тотчас оделся. Где Серафима Петровна? К соседке понесло болтать о вчерашних делах! Что за спешка такая у этого отца Никодима?

Темно. Слабый мороз. Чистое и просветленное небо в звездах. Скрипящий снег под ногами. Вот и кладбищенские ворота.

Вошли в калитку.

— Где же он, твой отец Никодим? Один он там или... с кем-нибудь?

— Один, один. Ожидает в часовне.

Кладбищенская часовня озарена негасимой лампадой перед образом спаса. На каменном полу — облетевшие и все еще не потерявшие осенних оттенков листья, кленовые и липовые. В слабом свете лампад они кажутся нарисованными, будто на полу выложена мозаика из затейливых красно-желто-зеленых изразцов.

В углу — темная сгорбленная фигура человека в монашеском одеянии под овчинной шубой. Человек распрямляется и загорживает выход, как только отец Николай переступил порог...

...Макарка, как ему было велено, ждал у кладбищенской калитки. Он слышал, как в часовне что-то негромко и глуховато хрустнуло, словно там переломили сухую палку... Потом по кладбищенской аллее быстро прошел к воротам «отец Никодим». У Макара жарко и часто стучало сердце. Он боялся

спросить, что совершилось в часовне, но уже и сам догадывался о самом страшном и столь же непонятном, как и все события этих дней...

...Через три недели, после трудного ночного марша в предгорьях Урала, усталый Макар плелся следом за неутомимым Зуровым. Смутно запомнился Макару этот бесконечно долгий путь в потемках, мимо каких-то лесных хуторов, оледенелых и обветренных скал и холмов, поросших ельником. Мальчика не оставляло чувство, что происходит с ним нечто непоправимо-тяжкое, ненужное и опасное, но даже вдуматься в это хорошенько не хватало сил.

Он и опомниться не успел, как после спуска в лощину тропа снова пошла на подъем и внезапно из темноты прозвучал окрик часового:

— Стой! Кто идет?

В свете ручного фонаря Макар узнал почти позабытые им, возникшие будто из сновидения красные погоны на плечах усатого унтера и овальные кокарды на казачьих папахах.

Тогда преобразился и Макаркин спутник. Он распрямил плечи, наглухо застегнул ворот гимнастерки, обрел прежнюю выправку и прежний, барственный оттенок, басок:

— Ну-ка, братец, доложи своему офицеру: капитан Павел Георгиевич Зуров из Ярославля, выполняя офицерский долг чести, перешел фронт! А ты, — обернулся он к Макару, и мальчика поразило презрительное выражение зуровского лица, — ступай-ка пока с нижним чином на кухню!.. Потом я определю тебя куда-нибудь поближе к себе... Может быть, моим вестовым...



глава тринадцатая

ПАССАЖИР И КАПИТАН

1

Тихо стало в штурманской рубке «Лассалья». Давно умолк рассказчик, молчали и те, кто, слушая далекую быль, думал и вспоминал свое...

Ночь тихонько пришла из Заречья, стерла краски берегов и очертания мысов, позволила луговым и лесным туманам, отдающим дымками осенних костров, перебраться на реку и не спеша принялась зажигать на ветвях прибрежных сосен первые неяркие звезды. Те, что были поярче, слетали с ветвей в синюю бездну Волги и плыли золотыми рыбками в тихой и темной воде, среди огней бакенов.

Со всех сторон обступила пароход влажная мгла. Бортовые огни на мостике чуть расплылись в этой мгле и тоже стали казаться мерцающими небесными светилами: одно — красное, как планета Марс, другое — зеленое, как звезда Капелла.

Уже стали неразличимы лица рассказчика и слушателей в рубке «Лассалья». Как раз за спиной Макария Владимирцева горела дежурная лампочка, и на задней стенке рубки лежала тень рулевого колеса с рукоятями по всему ободу. Пошли по рукам фотографии, что принес давеча Владимирцев, — их подносили к лампочке и передавали дальше. Тем временем и новая смена вахтенных поднялась на мостик, а старая не ушла, пожелала дослушать до конца.

— Дай-ка свету побольше, — приказал капитан вахтенному помощнику. Тот включил белый фонарь и навел рефлектор на сидящих. Фигуры капитана и Ма-

кария Владимирцева оказались в сильном световом луче. Капитан протянул обе руки пассажиру.

— Неужто до сих пор не признал? — засмеялся он добродушно. — А я тебя, Макарий Гаврилович, сразу опознал, как только ты имя свое произнес. Гляжу — верно, он самый, дружок мой яшемский, Макарка-попович, своей персоной... Ну хлеб-соль тебе на Волге-матушке!

Долговязый пассажир схватил протянутые ему руки.

— Александр!.. Господи! Саша Овчинников! Понимаете, и мне временами чудилось, вроде уж... не ты ли, да отгонял всякую мысль... Невозможным казалось опять кого-либо из той жизни повстречать... Ах, Саша, Саша, неужто и впрямь!..

Потом сгорбился, спрятал лицо в ладонях, чуть не заплакал:

— Ах, люди вы мои хорошие, зла не попомнили, простили Макария Владимирцева, мальчишку обманутого...

— Злом мы здесь тебя не поминали, Макар, только жалели. Ведь будто в воду канул. Все полагали, что с бандой в болоте погиб. И вот, поди же, на пароход к нам попал, пассажиром последнего рейса!.. Только, коли уж ты меня признал и припомнил, что же ты второго своего знакомого с тех времен не приветить? У колеса штурвального-то кто у нас нынче на вахте? Забыл Егорыча, летнаба с шанинского «сопвича»?..

— Иван Егорович Ильин, бывший летчик, ныне старший рулевой и лоцман по всей Волге, — рекомендовался штурвальный шутливо-официальным тоном, протягивая руку Макарию Владимирцеву. — Стало быть, это с вами мы тогда на зимней дорожке к женскому скиту разминулись? Эх, вся-то ваша жизнь тогда на карте стояла. Приглядись я к вам в тот час получше или из ребят моей группы узнал бы вас кто-нибудь — все бы у вас иначе в жизни пойти могло... Бандита того, Павла Зурова в монашеской одежке, мы бы враз обезвредили, а вы... вернулись бы в школу, к матери в Кинешму, доучились, семью завели... Словом, если бы да кабы!

Пассажир утирал платком лицо, влажное от утренней росы.

— Спасибо вам всем на добром слове, — только и выговорить смог. — Поверил тогда, что с белыми офицерами я вернее России послужу, нежели с красными да безбожными... Спасибо, хоть на исходе лет сподобился Волге поклониться!

— Да уж досказали бы до конца! — попросили стажеры. — Что же с Шаниным стало и его дочерью? Неужто от ножевой раны так и погибла?

— Про это самого Александра Васильевича послушать надобно, — сказал пассажир. — Мне тут добавлять нечего.

Капитан уселся поудобнее.

— Что ж, буксир опаздывает, ночь тихая, редкостная... Слушали вы, ребята, пассажира, досказывать и впрямь приходится капитану...

2

От берега до шанинского «сопвича» на болоте — поболее сотни шагов. Участок был топкий, а требовалось скорее переправить летчика из кабины на сушу.

Александр Овчинников вышел из укрытия на своей высоте, поднял чужую винтовку: на болоте могли быть затаившиеся бандиты. Сашка взял на прицел дальнюю бровку и приказал обоим трактирщикам верхом приблизиться к самолету, чтобы помочь летчику выбраться на берег. Это оказалось не просто, потому что лошади боялись неведомой машины, чужого человека в кабине, непривычного запаха бензина и масла. Кони хрипели, бились и упрямылись, по грудь в воде. Комиссар бросил Степану-трактирщику веревку, дело пошло лучше. Перед тем как покинуть машину, комиссар обвязал веревкой стойку шасси, чтобы облегчить предстоявшие спасательные работы.

Выстрелов со стороны болота больше не было — Александр Овчинников отложил карабин и перевязал голову Сергею Шанину. Кровоточащая ссадина на голове была не очень опасна...

Тем временем группа Ивана Егоровича Ильина, что повстречалась со «слепцом» и мальчиком-поводырем, вышла к берегу, откуда банда начинала переправу. Овчинников отправил к ним Степана-трактирщика показать брод на болоте. Почти одновременно появился над болотом и самолет Петрова. Он уже успел до-

ставить в Яшму раненую монахиню Анастасию и вернуться за раненым комиссаром.

Петров на своем «Фармане-30» сделал круг над болотом, узнал группу Ильина и понял, что комиссар на берегу. На втором круге Петров сбросил вымпел, вернее, простую полевую сумку с запиской карандашом. Сумка упала очень удачно, на сухом месте. Петров писал:

«Ваня Ильин! Быстрее доставь комиссара Шанина к женским скитам на Ключовке. Там пойду на посадку. Согласие сигнализируйте зеленой ракетой».

Группа отсалютовала Петрову из винтовок и пустила в воздух зеленую ракету. Петров покачал крыльями — мол, все понял и ушел садиться на ручье близ женских скитов.

От Ильина и его товарищей Саша Овчинников и комиссар Шанин услышали про тяжелую рану Антонины... Саша впоследствии признавался комиссару, что от этого известия вся их победа на болоте показалась ему совсем пустым и несостоящим делом... Да и комиссар, прежде державшийся бодро, изменился в лице, стал спотыкаться — ведь крови потерял немало!.. Одолевать полусаженные сугробы сделалось ему вовсе не под силу.

А дел на болоте было еще много!

Все члены группы Ильина, оба тракторщика, Саша Овчинников и сам раненый комиссар, насколько ему позволяли силы, принялись собирать на болоте все, что осталось от разгромленной банды. Согнали уцелевших Сашкиных донцов, осмотрели на санях и во въюках запасы продовольствия, винтовки, патроны, документы. Поискали тела убитых бандитов, но смогли обнаружить только Стельцова и Губанова. Пришли к выводу, что остальные бандиты во главе с Зуровым на дне трясины, а с ними и несчастный Макарка Владимирцев... Но какой неожиданностью для комиссара Шанина явился осмотр стельцовских карманов и его вещевого мешка!

Там оказался поповский железный ларец с бумагами отца Николая Златогорского и среди этих бумаг — личные письма комиссара с запросами о судьбе дочери и хорошо сохранившийся фотографический портрет самого летчика Шанина. С этим портретом

никогда не расставалась покойная Мария Шанина, жена Сергея Капитоновича и Тонина мать... Было легко понять, что вещицы Марии Алексеевны Шаниной — серьги, часики, медальон, обручальное кольцо и пачка с пятью сотенными ассигнациями совсем недавно перекочевали из ларчика в стельцовские карманы, равно как и оба столбика золотых монет.

Комиссар высказал предположение, что отец Николай поручил подпоручику Стельцову доставить ларец в надежное место вместе с самой монахиней, а тот в минуту опасности решил вскрыть его и распорядился содержимым... по-своему...

Раненого комиссара так утомили все эти хлопоты на болоте, что пришлось поскорее запрячь одну из Сашкиных лошадей в брошенные санки и мигом домчать его на Ключовку. Уже начинало темнеть, когда Петров доставил его и Сашку на «фармане» в Яшму...

В больницу к Тоне Сергей Капитонович и Александр Овчинников явились еще в тот же вечер. Женщина-хирург сказала им, что операция окончилась недавно и малейшее волнение для больной губительно.

— Вы, вероятно, желаете получить следственные показания? — спросила докторша. — Я это категорически запрещаю по меньшей мере на неделю.

— Никакие мы не следователи... — ответил Сергей Шанин. — Просто, понимаете, доктор, надо... чтобы Тоня непременно... поправилась! И мы готовы сделать для этого все, что мыслимо, а коли нужно, то и... еще того больше!

Докторша поглядела комиссару в лицо.

— Не вы ли интересовались у нас осенью судьбою двух гражданок, матери и дочери, снятых с парохода, помнится, осенью 1912-го?

— Я самый, — ответил Сергей Капитонович.

— Так эта юная монахиня и есть...

— Да, да, — сказал Шанин, — она и есть. Я последний раз видел ее девочкой, весной двенадцатого... Что же прикажете нам делать?

— Самое главное — немедленно отсюда удалиться и большую ничем не волновать. Можете домой ко мне наведываться хоть по три раза в ночь, а сюда носа не показывайте, она может не пережить такого вол-

нения. Нет ли у вас какого-нибудь неотложного дела на неделю?

— Есть дело! — серьезно ответил летчик. — Мой подбитый самолет из болота выручать. Как раз на неделю хлопот хватит. И за новым винтом, верно, в соседний отряд, в Кострому, посылать придется...

— Вот и отлично, — обрадовалась докторша. — Как управитесь с этими делами — вот тогда и попробуем подготовить ее к встрече с вами. А пока — надейтесь и ждите терпеливо!

3

Комиссар Шанин хорошо сознавал, что по истечении назначенного докторшей срока ему предстоит новый бой, потруднее, чем выигранный на болоте!

Самая большая трудность заключалась в том, что Антонина в свои 19 лет искренне и глубоко верила, будто для «мира», то есть обыкновенной жизни, она бесповоротно и окончательно умерла.

Докторша потом признавалась Сергею Капитоновичу, что дочь его сперва даже и не очень хотела выздороветь. Но когда докторша попыталась заикнуться о том, что монашеский клобук можно бы снять и от свершенного над нею пострижения отречься, больная только сказала, что лечить себя не даст, если про это хоть единое словечко еще раз будет сказано. Дескать, господь не любит изменчивых и клятвопреступных душ, а она, мол, ушла в монастырь по доброй воле, когда поняла, что на земле у ней нет ни родной души, ни защитника: родители умерли, жених погиб.

Тем временем яшемская милиция сперва получила сообщение о таинственном исчезновении из дому яшемского протоиерея отца Николая Златогорского, а вскоре монахиня-ключарь заглянула в кладбищенскую часовню заправить маслом негасимую лампаду и наткнулась там на оледенелое тело.

Кого только не винули яшемские обыватели в этой таинственной смерти!

Обвиняли сельских активистов, приезжих летчиков, неведомых грабителей, даже злополучную Марфу-трактирщицу, хотя женщину эту давно отвезли в кинешемскую тюрьму. Ее осудили на шесть лет, и в родных краях она больше никогда не появлялась.

...Вскоре покинули их и остальные обитатели «Лихого привета», и даже память об этом придорожном тракте давно развеялась в окрестных деревнях... После реконструкции Волги самое место, где он некогда стоял, затоплено разливом речки Елнати..

Злоумышленников, убивших яшемского пастыря, так никогда и не поймали, но погребение усопшего было торжественно и благолепно, сам владыка архиерей отпевать приезжал!..

На второй неделе со дня ранения Тоня начала уже привставать с постели и подходить к окну палаты. Положили ее отдельно от других хирургических больных как особо тяжелую. Шанин втайне от больной настоял, чтобы при ней находилась особая сиделка.

И когда шанинский самолет был благополучно доставлен из болота на яшемское временное летное поле и механики приладили новый винт, докторша Зоя Павловна пришла к своей больной посидеть и намекнула, что появился в Яшме военный летчик в годах и разыскивает он Антонину Шанину. Не желает ли Тоня увидеться и поговорить с ним?

Тоня встревожилась, взволновалась, но сперва было наотрез отказалась от свидания с незнакомцем-мирянином. На том и кончилась первая попытка.

Когда докторша еще и еще раз стала просить больную поговорить с приезжим летчиком, Тоня в конце концов согласилась, но при условии, чтобы непременно при сем присутствовал протоиерей Николай и мать-игуменья.

Больной осторожно сообщили, что отец Николай почил в бозе, с присутствием же игуменьи Шанину пришлось согласиться.

Напуганная событиями мать-игуменья долго оттягивала встречу — ничего доброго она не ждала. Наконец на третий день после похорон отца Николая Шанин добился своего: настоятельница пришла в больницу.

Докторша Зоя Павловна сочувствовала отцу и подвиглась его выдержке, когда Антонина позвала к себе в палату одну игуменью, а ему пришлось долго-долго протомиться в мучительном ожидании у закрытой двери, пока там, за этой дверью, не наплачутся и не намолятся две инокини — младшая и старшая!

За окнами больницы падал хлопьями тихий январский снежок. На скамье с облупившейся белой больничной краской сидели Шанин и Овчинников. Они захватили с собой и железный ларчик отца Николая со всем его содержимым и даже с исправленным запором. Наконец Зоя Павловна позвала:

— Сергей Капитонович Шанин! Войдите, пожалуйста!

Сашка Овчинников провожал его взглядом до дверей, и докторша не сразу закрыла их. Сашка издали увидел Тонино лицо на подушке, ее удивленные глаза... Это бледное лицо осветилось милой Тониной улыбкой — и тут дверь закрыли плотно. Овчинников так и не дождался, чтобы позвали в палату и его...

В коридоре совсем стемнело, керосину не хватало на освещение служебных помещений... Овчинников прождал более получаса и ничего не слышал из-за плотных дверей...

Зоя Павловна на минуту вышла, взяла у Сашки железный ларчик отца Николая, шепнула:

— Вас, Саша, сегодня я пустить туда не могу. Хватит с больной пока и этого ящика сюрпризов!

Докторша вошла в палату с ларцом, и тут-то мать-игуменья сделала первый ошибочный шаг...

— Не знаю, чья эта вещь! — сухо сказала она. Ее ложь была для Тони очевидной, потому что вместе с игуменьей она бывала не раз в кабинете отца Николая... Когда игуменья пожелала уйти, больная не стала ее удерживать.

А отец, взявши дочку за руку, рассказал свою жизнь и открыл ей истинную роль яшемских пастырей. Как обманули они свою духовную дочь, как поначалу сделали ее нищей служанкой, чтобы потом привести в монашескую келью, всячески мешая родному отцу найти дочь. Но, закончил Шанин, это еще далеко не вся правда! Завтра, мол, ждет ее новая важная радость, тоже скрытая от нее обманом!

Потрясенную новостями и открытиями больную не оставили на ночь в одиночестве: сама докторша, дежурившая по больнице, осталась в Тониной палате. Так она обещала Сергею Капитоновичу. А тот вместе с Сашкой шагал по заснеженной сельской улице, напевал военную французскую песенку и несколько раз повторил одну и ту же фразу:

— Шахматную партию нынче мы у черных выиг-
рали, товарищ Александр Васильевич Овчинников!
Держись, держись, брат, готовься к партии завт-
рашней!

Докторша призналась Шанину и Овчинникову, что
именно этой «партии» приходится опасаться еще
больше, чем вчерашней.

Ведь про отца девушка просто ничего не знала,
а «гибель» жениха видела своими глазами. Как ни
готовила докторша свою больную к этой встрече, на-
звать заранее Сашкино имя не отважилась.

Сергей Капитонович сам открыл дверь в коридор
и за руку подвел Александра Овчинникова к Тониной
постели...

Опасения докторши оказались оправданными!

Больная еще шире раскрыла было удивленные
глаза, а в следующий миг застонала, закрыла руками
лицо, побелела и со стоном упала назад, на подушки.

Вот когда Саша Овчинников узнал, как это мож-
но среди бела дня свету не взвидеть! Кинулся на ко-
лени перед бесчувственной Тоней, руки ее сжал, сам
вроде без ума остался... Докторша сделала больной
впрыскивание. Тоня очнулась, вспомнила обряд в со-
боре, епископские ножницы, вечный обет отречения
от мира, черную свою рясу... Зарыдала в голос:

— Саша! Ну, что же ты так опоздал! Теперь уж
ничего не воротить! Ведь я для тебя — вроде как
в могиле!

— Истинная любовь даже с того света возвра-
щает, — сказал отец. — А ты, девочка моя славная,
не в могиле, а только в сетях.

— Но ведь я поклялась, я пострижена, — рыдала
Тоня. — Нельзя же мне постыдной расстригой стать?
Бог не любит обманчивых и клятвопреступных душ!

— Антонина, не отчаивайся! — убеждал ее Сер-
гей Капитонович. — Смотри, ты даже слова произно-
сишь не церковные, а светские. Ведь не кто иной как
церковные власти проклинали автора этих слов.

Дочь подняла на отца заплаканные очи.

— Как же не церковные эти слова? Мне их отец
Савватий, старец наш, часто повторял.

— Это слова Льва Николаевича Толстого, предан-
ного церковью анафеме. Но тебя эти слова никак ка-

саться не могут. Нет клятвопреступления там, где клятву вынудили обманом, где постригали несовершеннолетнюю при заведомо живом отце и живом жене ее.

— Никто не знал, что он живой! — рыдала Тоня.

Тут-то и рассказал Сашка Овчинников своей постриженной невесте, как отец Николай внезапно увидел его в костромской больнице... А Тоня вспомнила, что он внезапно заторопился с отъездом, потом так же торопил с пострижением...

Истина за истиной, одна тяжелее другой, падали на весы, и впервые за свою недолгую жизнь заронилось в Тонином сердце сомнение, правильным ли путем вели ее пастыри к спасению... Стала воскресать перед мысленным взором вся горькая, лишенная радостей жизнь. Медленно перебирала она в памяти события унылой этой жизни и попросила, чтобы оставили ее одну и дали спокойно разобрать бумаги и вещицы из ларца...

Попозднее больная снова попросила позвать к себе мать-игуменью и матушку Серафиму, вдову отца Николая.

Сколько воспоминаний, сколько событий детских лет поднялись с самого дна сознания, всколыхнулись что вода озерная от удара веслом!

Вот он, папа-летчик, частый и самый любимый гость макарьевского дома... И запах этого дома, запах детства, довольства, мамин запах... Тепло матери, чье тело зарыто было тайно от большой и неглупой девочки. Дедушка Алексей, учитель с вечными садовыми ножницами в руках... Его кончина. Весть о папином аресте и осуждении... Пароход «Кологривец».

При первом же взгляде она сразу узнала и пять сторублевых ассигнаций, и мамину нательную сумочку...

Собственно, разлука с матерью и была концом радостного детства и началом сплошных черных дней ранней юности. Трактирные будни, темные дела хозяйки-благодетельницы... И наконец — удар ножом этой же самой благодетельницы...

Так и провела весь день инокиня Анастасия, в миру — Антонина, за бумагами из ларца. Перебирала мамины вещицы, думала свою думу... Вечером ей со-

обцили, что мать-попадья и мать-настоятельница ожидают в коридоре.

И лишь только они обе вошли, Серафима Петровна — бух перед Тоней в ноги посреди палаты!

— Господи, сестрица, прости нас, грешных, меня и отца Николая, коли мы чем перед тобою согрешили! Ведь хранил-берег для тебя как для дочери духовной, любимой. Он тебе, Анастасия, как никто блага желал, через тебя хотел возвеличить обитель нашу убогую... А столбики-сверточки не твои, родненькая, не мамочки твоей усопшей, а наши кровные, горбом-потом выслуженные... Уж ты, голубушка наша, похлопочи перед властями-то, чтобы эти столбушки мне, грешной, возвернули!

— Обитель через меня возвеличить? О чем ты толкуешь, матушка Серафима?

— Так то самая заветная мечта его была — свою праведницу святую, чудотворицу, целительницу прославленную обрести в лице твоём. Что, скажешь, нешто это мечта не богоугодная?

Тут еще кое-что прояснилось для молодой инокини.

Она и не подозревала, что уготована была ей роль угодницы и святой чудотворицы... А мать-игуменья, страшно напуганная всеми разоблачениями, выразила полную готовность снять с Анастасии игуменской своей властью обет монашества...

Пожалуй, эта легкость в столь важном решении более всего и поразила Антонину-Анастасию. То, что ей казалось невысказанным, кощунственным, несправедливым и позорным, мать-игуменья представила ей как нечто нетрудное, поскольку обет, мол, был принесен по неведению Тониных жизненных обстоятельств.

Зоя Павловна присутствовала при этой беседе. Больная отвела взор от обеих собеседниц, а когда плачущая Серафима попыталась поцеловать руку Антонины, та руку отняла. И лишь только обе посетительницы удалились, докторша велела вынести из палаты Тонину ясу и клобук. Больная лежала, отвернувшись к стене, и ни слова не произнесла.

Еще через несколько дней Зоя Павловна выписала из больницы свою пациентку. Вышла Антонина Сергеевна в простом темном платье и белом пуховом платке...

Капитан «Лассалья», Александр Васильевич Овчинников, потрепал по плечу своего пассажира, Макария Владимирцева.

— Досказывать ли? — пошутил он. — Небось сам догадываешься, как у нас с Тоней дела дальше обернулись.

— Догадываюсь, — согласился пассажир. — А сейчас-то она... где?

— Сейчас она и впрямь Антониной-целительницей стала: детским врачом у нас в Горьком. Приедешь — может, заглянешь проведать ее. Рада будет земляка встретить!

В честь деда и старший наш Сергеем назван, и летает тоже, только повыше и побыстрее «фарманов» и «сопвичей» дедовых, хотя тем геройским аппаратам наша Тоня жизнью обязана. В отпуск сын непременно к нам, на Волгу, подается, а служит под Москвой, примерно там, где дед некогда служил. Мы с Тоней в том авиаотряде и свадьбу справляли...

Теперь взглядишь-ка получше вон туда, в левобережье. Видишь, где луна над лесом... Дорожка лунная по водной глади тянется. Вот это и есть бывшее Козлихинское болото. Теперь стало озером, вернее заливом обновленной Волги...

А что до всего, про что здесь говорено было, то в личном деле у меня об этом след сохранился: дескать, в 18—19-х годах участвовал в ликвидации белых банд. Коротко — а точнее не скажешь!..

...Протяжный сигнал с низовьев отдался эхом от волжских берегов. Сквозь прозрачные свитки речного тумана мелькнули близкие огни буксирного теплохода. Капитан «Лассалья» вышел на мостик и дал ответный гудок.

К о н е ц

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	3
Глава первая. Макарка-попович в корпусе и дома	11
Глава вторая. Госпитальное судно «Минин»	31
Глава третья. В небесах, на воде и на суше	51
Глава четвертая. Беглец	71
Глава пятая. В защиту Родины и Свободы	89
Глава шестая. Поволжская Вандея . . .	106
Глава седьмая. Скитница Анастасия . .	121
Глава восьмая. Плавающие и путешествую- щие	140
Глава девятая. «Лихой привет»	153
Глава десятая. По волкам	170
Глава одиннадцатая. Марфа-трактирщица	191
Глава двенадцатая. Падающие звезды .	212
Глава тринадцатая. Пассажир и капитан	228

Штильмарк Роберт Александрович

ПАССАЖИР ПОСЛЕДНЕГО РЕЙСА. Роман.

Редактор Е. Калмыкова

Художник Г. Комаров

Художественный редактор В. Недогонов

Технический редактор И. Соленов

Корректоры Л. Четыркина, Н. Павлова

Сдано в набор 25/XII 1973 г. Подписано к печати 15/IV 1974 г. А07672. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 3. Печ. л. 7,5 (усл. 12,6). Уч.-изд. л. 12,5. Тираж 100 000 экз. Цена 38 коп. Т. П. 1974 г. № 155. Заказ 2499. Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.